

Самуил Лурье

Железный бульвар

Железный
бульвар

Самуил Лурье



Издательство «Азбука»

Самуил Лурье

С а м у и л Л у р ь е

Железный бульвар



АЗБУКА

Санкт-Петербург

2012

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6
Л 86

Оформление Вадима Пожидаева

Лурье С.

Л 86 Железный бульвар: Эссе. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 448 с.

ISBN 978-5-389-02738-1

Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002), «Такой способ понимать» (2007) и др.

Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.

В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.

«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна». *Дмитрий Савицкий (Париж).*

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-389-02738-1

© С. А. Лурье, 2012
© ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2012
Издательство АЗБУКА®

**Очень
странное
место**

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕТЕРБУРГУ

Лично у меня — исключительно в солнечные дни. Верней — часы. Верней — минуты. В остальное время город — просто сумма препятствий на пути от точки А до точки Б. Перевернутое пространство: вместо неба — метро.

Но стоит сдернуть с Петербурга водянистый войлок и направить на обшарпанные стогны центральное светило — и я невольно замедляю шаги. Причем температура воздуха не имеет значения, как и угол падения лучей. Хотя увлекательней всего — закаты. Осенью и весной.

На рассвете не расслабишься, в это время от петербуржца требуется бдительность и поспешность. Зимний закат у нас угрюм. Летнего, как известно, практически не бывает.

А вот зато весной и осенью закат начинается рано, затягивается надолго. Свет убывает с отчетливой равномерностью, как бы напоказ, словно бы изображая Время. По фасадам, по воде и по листве пробегают разные гримасы: как мыслящее вещество, Город пытается что-то сказать; например — что жизнь проходит; или что это не страшно.

В конце сентября, часу в шестом пополудни, взгляните с площади Восстания в глубину Невского: сверкающие окна верхних этажей солнечной стороны меркнут одно за другим; отраженный закат, размахивая пестрой тряпкой, бежит по крышам к Адмиралтейству, обгоняя троллейбус; перемахнув перекресток Литейного, скроется вот-вот за Фонтанкой...

И вы опять один, точно и нет на свете никакого Петербурга.

СТОГНА МИРА

Самое петербургское существительное. Во множественном числе вбирает в себя наш город, словно взгляд из-под купола Исаакия белой ночью. Когда для смертного умолкнет шумный день.

Обычно — так сказать, по жизни — это гулкое слово мы впервые и в последнее встречаем у Пушкина. *И на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень...*

Но интересно, что и самый ранний, почти за столетие до Пушкина, образ Петербурга — стогна. В «Оде на день восшествия на престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1748 года» Ломоносов описывает всенародное ликование так, словно ему в Смольном заказали сценарий юбилейных торжеств: прибывает кортеж правительственных машин; петербуржцы встречают руководство страны бурными аплодисментами.

Подобным жаром воспаленный
Стекался здесь российский род,
И радостью восхищенный,
Теснясь, взирал на твой приход.
Младенцы купно с сединою
Спешили следом за тобою.
Тогда великий град Петров
В едину стогну уместился,
Тогда и ветер остановился,
Чтоб плеск всходил до облаков.

(Предусмотрены, как видим, даже спецметеозффекты, но это в скобках.)

В примечаниях к стихам Ломоносова читаем: *стогна* — площадь. Коротко и ясно. В примечаниях к Пуш-

кину: *стогны* — площади, иногда также и улицы. Но вряд ли сам А. С. был того же мнения, не то не написал бы в «Медном всаднике»:

Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы...

Слово, однако же, церковнославянское. Употреблено, например, в странной притче, пересказанной апостолом Лукой: один еврей затеял вечеринку, созвал гостей, а те в последний момент, словно сговорившись, отказались прийти, причем выставили предлоги совершенно нелепые — типа: я женился, поэтому не могу. И вот разгневанный гостеприимец послал раба на улицу — пригласить к ужину всех нищих инвалидов и бомжей данного местечка... Короче, притча о том, что много званых, но почему-то мало избранных. Речь к рабу начинается так: «Изыди скоро на распутья и стогны града...» В синодальном переводе: «Пойди скорее по улицам и переулкам города...»

Похоже, и Некрасов, сочиняя навзрыд:

В глухую полночь, бесприютный,
По стогнам города пойдешь, —

имел в виду скитания по улицам. Хотя и явно не по каким попало, а — по прямым, широким, торжественным улицам. Короче и попросту — по Петербургу.

Как бы там ни было — нет в России ничего прекрасней петербургских площадей. Нет и в Петербурге ничего величественней. Город из них возник, только из них поначалу и состоял — почти воздушный. Лишь впоследствии все эти овалы и окружности соединили прямыми.

Потом, конечно, принялись стачивать кривизну, сокращать диаметр. А на давнишних гравюрах как патетичны Марсово поле, Мариинская, Исаакиевская, нынешняя площадь Островского...

Сенная — другого происхождения. Младшая, незаконнорожденная сестра-чернавка. Не озеро из камня,

скорей — болото. К городской черте подступила извне. Здесь кончалась большая московская дорога, расплывалась, подтекая, вся в навозе и сене, к заднему крыльцу Петербурга: собор и гауптвахта изображали черный ход...

Многие из нас — такие чудаки! Чуть ли не физически страдают оттого, что над крепостью нет ангела, над Домом книги — глобуса и что часы на Думской башне который год стоят. А еще жила в городе — долго-долго жила! — тоска по Сенной площади. Всеобщая такая мечта, что вот уберут с Сенной кошмарную эту голубятню для нетопырей и нагло необъятный, крепостной вокруг нее забор — и замостят ямы — и подметут, — и всё! Можно гулять, не подчиняясь направлению стены. Смотреть вдаль. Чувствовать над головой небо. И все будет по-другому, не так, как раньше.

Эта площадь — такая несчастная. С дурной наследственностью. Торговые ряды, торговые казни. Некрасов якобы видел: били женщину кнутом. Рынок, эшафот, гауптвахта. Трущобы, ночлежки, притоны. Свидригайлов выслеживает Раскольников. Тут подавлен холерный бунт, взорван собор. Можно погибнуть среди бела дня под рухнувшим куском архитектуры. Зимой скользко, летом пыльно, всегда — грязно. И тесно, тесно... Всю Перестройку напролет все мы тут метались от ларька к ларьку, из очереди в очередь. Тут была вечно действующая модель российского воровского беспорядка. Унизительный такой, безнадежный лабиринт.

Вот и хотелось, чтоб стала — стогна. Как знак — что-то изменится. Как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба. Как будто жизнь качнется...

Ну, вот и дождалась. Жизнь качнулась, Сенная, б. Мира, благоустроена. То есть наспех заставлена мрачными приземистыми павильонами, разгорожена черными перилами. Новый какой-то недострой нависает. Трамваи с автомобилями крест-накрест пересекают. Грязь плещется.

Как был лабиринт, так и остался. Вместо площади — сколько-то извилистых коридоров, как бы ипподром для тараканьих бегов. Правда, об отстающих позаботились:

кое-где скамейки — почему-то в виде орудийных лафетов. А на месте гибели Сенного Спаса соорудят на скорую руку часовенку-модерн. А взамен скворешни начальство грозитя воздвигнуть какую-то «башню мира» высотой с пятиэтажный дом.

Нет, господа, никогда при вас Петербургу не бывать никакой столицей, не дождетесь. Мелко плаваете. Не умеете обращаться с пространством. Вам бы только стеснить его, набить хламом и халтурой, чем попало, лишь бы человек ни на минуту не забывал: справа — стена, слева — забор. Правильной дорогой идете, товарищи!

Потому что много званых, да мало избранных.

Ну и пусть. От нас-то Петербург никуда не денется. Стоит лишь открыть книжку старинных стихов, и мы опять столичные жители. Вот — Баратынский:

Стояла ночь уже давно.

Градские стогны опустели.

И не важно, что сюжет попался — из Москвы. Да хоть из Чечни (причем у Полежаева оборот вообще безумный: «В домах, по стогнам площадей, в изгибах улиц отдаленных...»). Все равно стихи не провинциальные. В провинции стогн не бывает. Там — пустыри.

23 декабря 2002

СКЛЕРОЗ, КРАСНЫЙ НОС

В детстве спасали вата, войлок, валенки. Разумеется, и дрова.

Наш двор на канале Грибоедова был уставлен поленницами — черный такой лабиринт, выводивший к помойке. Ума не приложу, как разбирались взрослые: где чьи дрова. И почему-то не помню поленьев этих горящими: не подпускали, должно быть, ребенка к открытой печке. Осталось только чувство, с каким обнимал ее круглые жестяные под блеклой краской бока.

Вата бесстыдными пучками пробивалась из всех щелей в оконной раме. Вот уж конструкцию зимнего окна я понимал досконально, послойно: сливочные занозы облупившейся краски — бурые кристаллы замазки (осенью была жирная, как халва) — бумажные ленты, отведавшие клеястера (осенью заваривали крахмал), — из-под них вата, вата... Ничтожные следы нешуточных усилий по краям ослепительной гравюры на темы тропической растительности: ледяной иглой по стеклу.

Одежда была теплая и тяжелая, потому что ватная.

Про валенки рассказывать нечего, и так все понятно.

Войлок рос на входных дверях, тяжело клубился под скользкой клеенкой, вытекая из порезов...

Жить было душно, но не холодно.

С тех пор климат стал мягче, одежда — изящней, вата — дороже, дрова и валенки петербургский ребенок представляет по картинкам, — и нынешней зимой разговоры такие:

— Лучше всего найти где-нибудь кирпич и раскалить его на газовой конфорке. Потом поставить в комнате на

что-нибудь железное. Кирпич, знаете ли, отлично держит тепло...

Наши сети, оказывается, прохудились: теплосеть, электросеть и прочие.

Наши сети совершенно неожиданно притащили нежелательного незнакомца.

Вдруг мы осознали, что под Петербургом ходит ходун, плещет черными волнами ледяная тяжкая грязь и наша сосудистая система в ней застывает и рвется.

Почти три века источником тепла был рабский труд и обеспеченная им дешевизна топлива.

Хотя уже полтора столетия назад иностранные путешественники предупреждали: ресурс не бесконечен, и рано или поздно Петербург придется обогревать бумагами из бесчисленных канцелярий. Правда, они недооценивали вклад Тимофея Ермака в нашу энергетику.

А теперь вот и линии, соединяющие дело Петра с делом Ермака, прерываются. Хозяйство — так называемое жилищно-коммунальное — поражено склерозом. И вся надежда — на раскаленный кирпич.

Судя по всему, и в умах начальников происходит то же самое, что с этими несчастными трубами и проволокой в зыбкой глубине, у нас под ногами. Все проржавело и перепуталось. И, поспешая по грязным улицам из холодного, темного жилья в холодную, темную контору, бедный петербуржец, пешеход поневоле (потому что не уловим и почти несовместим с жизнью так называемый общественный транспорт), Маленький Человек-2003 то и дело упирается глазами в огромную цветную открытку: яркощекий такой жизнелюб в ярмарочном халате, имея в одной руке бокал, кажет населению три пальца другой руки. Дед Мороз, он же — губернатор. И эта шарада обозначает, по-видимому, что все обстоит отлично.

Зима! Начальство торжествует! И мы тоже должны быть особенно счастливы в этом году: потому что ровно три столетия назад одному человеку пришла в голову одна безумная мысль.

Сама по себе, впрочем, красивая — даже слишком красивая для России — «страны, — писал Белинский, — где наконец нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Петр Великий, похоже, не умел мерзнуть. Бывают такие люди. Пушкин вот тоже совершенно не чувствовал холода. Знай ликовал: как жарко поцелуй пылает на морозе! как дева юная свежа в пыли снегов!

Гоголь был устроен — да и одет! — совсем по-другому; не выдержал, сбежал в Италию, оттуда рифмовал: Петербург — снега — подлещы — департамент; вполне современный, не так ли, пейзаж?

Но первым, кто сказал вслух, что Петербург — синоним холода и что холод — почитай, синоним смерти, — был Некрасов. В нищей юности как-то случилось ему провести на петербургской улице — в одном пиджаке или там сюртуке — чуть не всю ноябрьскую ночь напролет. При слове «Петербург» его стихи стучат зубами.

Помнишь ли день, как больной и голодный
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему?

Став богачом и знаменитостью, Некрасов не утратил чувства реальности — главного петербургского чувства: как бы ни блистали в театральной, допустим, зале хрустальные люстры и дамские декольте, не забывай — снаружи, на улице, смертельно холодно и не всем пешеходам суждено воротиться домой. Ночь и зима со всех сторон обступают сияющую столицу — и жаждут ее поглотить. Лови, лови световой день, беги, беги среди сугробов, горожанин!

Двадцать градусов! Щеки и уши
Не беда, — как-нибудь ототрем!
Целиком христианские души
Часто гибнут теперь...

И далее — все, как теперь, как в сегодняшней газете...

Что ж! Раскалим кирпич, запалим свечу и, пока телевизор, обесточенный, не лжет, будем читать Некрасова. Новые смыслы открываются, ей-богу. Вот, например, все думают, что труб заунывные звуки — это какой-нибудь духовой оркестр проходит под окном. Ничего подобного! Дело происходит в петербургской мансарде — и слышно, как завывает в дымоходах ветер. Прислушайтесь: органная сюита. Юбилейная. Исполняют петербургские дома под управлением Зимы.

15 января 2003

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ

Вот и с Башмачкиным известное несчастье случилось тоже на Сенной. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». Другой такой петербургской картинки на бегу от центра к окраине больше нигде было увидеть в том столетии: точно — Сенная! Так что будьте осторожны, водители автомашин, миновав эту площадь: в переулках, разбегающихся от Садовой улицы к Фонтанке и Мойке, а также и на набережных каналов — Екатерининского и Крюкова — не вздумайте тормозить, если в зеркале заднего вида вдруг покажется, страшно приблизившись, бледное, как снег, несчастное лицо. Не тормозите и ни в коем случае не приоткрывайте дверцу. Жмите, наоборот, на акселератор, или как он там у вас называется. Потому что в этих местах обитает городское привидение — Маленький Человек. Он попытается, пахнувши на вас могилою, завести такую речь: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» В этом случае улепетывайте не отвечая, не оглядываясь. И сразу же, сразу же позабудьте то ужасное, что он прокричит вам вслед, эти роковые четыре слога...

Дело в шляпе

На самом-то деле не надобна ему наша верхняя одежда. «Шинель» — это так, для завязки разговора, вроде

как пароль. Так уж получилось, что Маленький Человек при первом своем появлении в нашем городе (вернее — в нашем уме) выпал, с позволения сказать, из шинели:

И так, домой пришед, Евгений
Страхнул шинель...

Дело было 6 ноября (1824) — то есть в такое время года, что и по новому стилю холодно. А вообще-то, главный аксессуар Маленького Человека — отнюдь не шинель. Есть в его обиходе предмет гораздо необходимей, отсутствие которого — сигнал бедствия, социального либо стихийного:

...Он не слышал
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал...

Прибавив незабываемое деепричастие «пришед», получаем словесный портрет Маленького Человека, позволяющий опознать его на любой старинной литографии: это пешеход в шляпе. Тот, кто, подобно абсолютному большинству, передвигается по стогнам столицы в любую погоду не иначе как на своих двоих, — но выделяется из толпы головным убором: это не фуражка, тем паче не картуз и, боже упаси, — не шапка.

В шапках щеголял в XIX веке так называемый народ, на первых порах отличаясь от Маленького Человека также и тем, что не возбуждал в литературе сострадания. Когда Александр Башуцкий, первый русский социолог (между прочим, камергер и действительный статский советник), напечатал (1842) очерк, в котором намекнул, что разносить воду по петербургским квартирам — ничуть не легче и не прибыльней, чем, например, переписывать канцелярские документы, и, если вдуматься, оброчный крестьянин, занятый подобным бизнесом, влачит еще более печальную жизнь, чем какой-нибудь Акакий Акакиевич, — социолога распек не только Бенкендорф, но и сам Белинский!

Нечего, мол, выдавать правду факта за правду жизни. И вообще — с чего вы взяли, будто человеку в шапке бывает больно существовать?

«Может быть, в Петербурге и найдется один такой водовоз-горемыка, какого описал автор; но в каком же звании не бывает *горемык*? — А между тем никто не скажет, что каждое сословие состоит из одних горемык. Автор описывает водовозов хилыми, хворыми, бледными, больными, искалеченными. Мы, тоже имевшие и имеющие с ними дело, подобно всем петербургским жителям, привыкли видеть в водовозе мужика рослого, плечистого, крепкого, для которого лошадиная тяжесть — нипочем... Не бойтесь за него, видя, что он всегда на воздухе, на холоду, на сырости: оттого-то именно он в 80 лет и будет здоровее, чем вы в восемнадцать... Не приходите в ужас, видя, что он живет в такой конуре, где у вас закружится голова и жестоко оскорбится обоняние: это его вкус, его привычки; дайте ему пожить в ваших великолепных комнатах только три дня — он сделает из них свой подвал... Водовоз много и тяжело трудится: да кто ж мало и легко трудится? Уж конечно, не я, бедный рецензент...»

Тут не без лукавства: в действительности русская литература давно уже открыла именно сословие горемык — и олицетворила его в Маленьком Человеке. И облила его первыми слезами гуманности: бедный, бедный мой Евгений! низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»...

Переписывающее существо

Место жительства и род занятий?

— Живет в Коломне, где-то служит...

В смысле — переписывает бумаги. Копирует. Размножает.

То есть тоже трудится, и много — часов шесть в день, а то и восемь.

Государство требует от него чистописания и прилежания, ничего больше, — а взамен наделяет правом носить шляпу, каковой головной убор обозначает обладание личной честью, то есть как бы девиз — не тронь! не смей сказать мне: ты! а тем более — ударить! ни-ни!

В России такая привилегия, пожалуй, дороже самой жизни. Поэтому зарплата к ней прилагается почти символическая — сущие гроши. Конкретные цифры, впрочем, варьируют: Башмачкину платят в год 400 рублей или около того, Девушкину в «Бедных людях» — что-то такое 600, Мечтателю в «Белых ночах» — 1200, — в общем, на уровне прожиточного минимума.

Конечно, это как посмотреть. Для водоноса это деньги огромные. Но водонос-то ходит зимой в трехрублевом зипуне, а чиновничью шинель меньше чем на восемьдесят не построишь. Положим, зипун или там тулуп гораздо теплей, но в зипуне — какая вам честь? Натягивайте тогда уж и шапку и падайте, падайте, куда жутко и взглянуть — обратно в бессмысленную массу; будете, как тот, в изношенном картузе, бедолага, у которого утонула в наводнение невеста:

...ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Нет уж! Лучше смерть. Поэтому Маленький Человек — невольник формы.

Собственно, за эти-то муки литература и полюбила его (а он ее — за состраданье к ним): беден, как народ, а притом наделен сознанием — хотя бы сознанием собственной бедности. Выводит, несчастный, следствия из причин: типа того, что и невеста не просто так утонула — Бог дал, Бог взял, — а в результате внешней политики Петра I.

И некуда ему, прозябая в нищете, девать свою грамотность, и пресловутое чувство чести, да и просто — свободное время.

После службы валяется в коммунальной своей конуре — на пятом каком-нибудь этаже — на турецком так

называемом диване — клеенчатом, красноватом, в зелененьких цветочках, — и мечтает, представьте себе... о крестовых походах или о дружбе с Гофманом; «об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного», и прочий вздор. Собственно говоря, не мечтает, а фантазирует. Сочиняет в уме. Сам себе телевизор.

В хорошую погоду бродит по городу, разговаривает с домами. «Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!..»

Всегда одинок, и всегда один; а если как-нибудь случайно и познакомится, предположим, с девушкой, то непременно с падшей, либо, так сказать, падающей, — и ринется спасать и жертвовать собой, — и, разумеется, выйдет конфуз, и много горя от благородства, и в эпилоге — пронзительный аккорд: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

А жениться нельзя, никак невозможно: во-первых, не позволяет честь, во-вторых — бюджет, в-третьих — начальство.

И не только при зловещем Николае Палкине, но даже и в эпоху великих реформ, при Александре Освободителе:

«— Слушайте. Директор спрашивает его: „Сколько жалованья получаете?“ — „Двенадцать рублей в месяц“. — „Приданое большое?“ Оказалось, никакого. „У вас есть благоприобретенное, родовое?“ — „Нет, ваше превосходительство“. — „Так это вы нищих плодить собрались? — закричал директор. — Ни за что не дам свидетельства на женитьбу... Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять!..“»

Постскриптум

Такое странное существо, как Маленький Человек, могло возникнуть не иначе как из петербургских туманов...

Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев — пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника — говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила — спи спокойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.

После изобретения пишущей машинки Маленький Человек не то что сошел на нет, а как бы растворился в городской толпе, стал жить, как все. Последний раз он явился в литературу даже под женским именем Софья Петровна: в истории про то, как у машинистки издательства был сын, единственный и любимый, восемнадцатилетний, — а в 1937-м его посадили в тюрьму (естественно, за терроризм — за намерение убить Великого Вождя). И как она, в точности наподобие Акакия Акакиевича, обивала пороги значительных лиц...

Есть, говорят, где-то под Токсовом огромный полигон для корабельной артиллерии. Небозримый такой пустырь, по которому десятки лет подряд чуть не ежедневно бьют из всех калибров. На пустыре зарыты многие тысячи расстрелянных. И при каждом разрыве снаряда взлетают в воздух человеческие кости.

И там якобы тоже является иногда Маленький Человек: мечется под огнем, выкликая свою невнятную нелепицу. Все те же четыре слога: *у-жо те-бе!*

15 января 2003

ОГНИ БОЛЬШОГО ДОМА

Все думаю: стоит ли разрушать Большой Дом — злое творение Ноя Троцкого на Литейном, — этот собор, так сказать, Пляса на крови?

Разрушить до основания, вернее — вырвать с корнем, с подземными этажами — размолоть в щебень, вывезти и торжественно захоронить в безлюдной местности груды праха, впитавшего кровь, боль, унижение, отчаяние бесчисленных жертв, — да, это мечта заманчивая.

Здание, где совершено столько злодейств, как бы излучает угрозу, а точнее — внушает страх.

Это же не просто штаб-квартира преступной организации, погубившей значительную часть населения страны. И даже не просто фабрика смерти, где главный конвейер хоть и простаивает пока, но вполне исправен. Наш Ноев ковчег — архитектурный символ массового психоза, дирижируемого полицейским государством...

Но разрушать символы — утеха дикарей. Большой Дом сияет огнями в потемках души каждого взрослого советского человека. На Литейном в декабрьских сумерках ужасен он в окрестной мгле, но уж лучше пусть возвышается там Большой Дом, чем призрак Большого Дома.

Давайте устроим там самый поучительный в мире мемориал — Музей Большого террора. Пригласим лучших историков и дизайнеров. Какой для них откроется простор!

Кабинеты, камеры, карцеры, расстрельные подвалы с красным асфальтовым полом.

Столовая для начальников и костюмерная топтунов.

Орудия пыток и канцелярские принадлежности.

На стенах, на стендах, в специальных витринах — партийные постановления, газеты, плакаты, портреты сексотов и генсеков, картины и книги мастеров социалистического реализма, доносы, протоколы допросов, приговоры.

Для советских вход бесплатный, для иностранцев — за огромные деньги.

Давайте поспешим. Переоборудуем здание, пока оно еще только плачет по нас.

Декабрь 1993

ОФИС В АРЕНДУ

Сколько бы ни выдавали за городскую хронику — чехарду должностей с фамилиями, ничего в Петербурге нет, кроме архитектуры, и ничего не случается, кроме погоды. Вот выглянуло наконец-то солнце, осветило мою с Московским вокзалом окрестность — и опять укоризненно выпятился в небо искалеченный восклицательный знак на углу Миргородской и Полтавской.

Он виден из окна прибывающего поезда — взгляните направо: на серокаменную призму наброшен плашмя параллелепипед в желтой изодранной штукатурке. Увечье и абсурд. Ах, война, что ж ты, подлая, сделала, — мурлычете вы, заталкивая тапочки в дорожную сумку. И выходите в тамбур. Вагон уже плывет вдоль новехонького нарядного фасада, заслонившего неблагоприятный пейзаж и уродливую руину.

А это был последний шедевр дореволюционной архитектуры. Последняя православная святыня. Последний символ Российской империи. Последний сигнал исторического времени: дескать, всё! дальше не пойду! завод кончился, пружина проржавела, наступает юбилей... Триста лет царствующей династии. Триста лет с той весны 1613 года, когда в Ипатьевском монастыре, что под Костромой, инокиня Марфа чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери благословила своего шестнадцатилетнего сына, боярина Михаила Романова, на царство.

Отсюда и название: собор Божией Матери Феодоровской в память 300-летия дома Романовых.

«Мысль о создании юбилейного храма возникла в 1907 году у „Союза русского народа“, и через два года по

всей стране на постройку стали собирать пожертвования, которые принесли 500 тыс. рублей. В 1910-м был проведен конкурс, победителем которого вышел гражданский инженер С. С. Кричинский...»

Храм-памятник. Такая и архитектура: остов — железобетонный, а наружное убранство точь-в-точь древнерусское; первый этаж — в новгородском стиле, второй — копия надвратной церкви Ростовского кремля. Строительные леса убрали ровнехонько девяносто лет тому назад.

«Фасад храма, облицованный белым старицким камнем с орнаментом работы В. И. Траубенберга, украшали на северной стороне родословное древо Романовых и Феодоровская икона, которые по рисунку С. В. Чехонина исполнила из майолики мастерская П. К. Ваулина. Купол собора был покрыт золоченой медью, над входом размещался мозаичный Спас, копия с работы В. М. Васнецова».

Теперь угадайте с трех раз: куда девались майолика, мозаика, золоченая медь? Где расписная лестница со сценами из священной истории, с красивыми дверями из чеканной бронзы? Ажурное паникадило в виде шапки Мономаха диаметром три сажени? Серебряная дарохранительница? Мраморный иконостас? Насчет купола — верней, куполов — вы уже все поняли: храм обезглавлен, а на грудь ему повешен громадный ящик — тот самый параллелепипед; зияет из-под желтой штукатурки багровый кирпич.

Как известно, время тогда, девяносто лет назад, остановилось ненадолго: только чтобы так называемый Серебряный век прочувствовал, что ему — конец. Потом некто Принцип нажал на курок — и стрелки помчались по циферблату вспять.

Но тут, на подворье Феодоровского монастыря, до самого 1932 года было тихо. Оставалась горстка монахов: жили дружно и скромно. Последним настоятелем храма был архимандрит Лев (Егоров). Служил здесь и находившийся на покое архиепископ Гавриил Воеводин. Подвизался иеромонах Вениамин (в миру барон Эссен), отец Серафим Гаврилов, юный иеродиакон Афанасий...

18 февраля 1932 года, в воскресенье, явилось ГПУ. Все были арестованы. Почти все погибли, кто какой смертью — тайна; хотя известно, что священнослужителями занимались с удовольствием особенным. Возможно, кто-то из феодоровских монахов был среди тех шестидесяти, которых расстреляли в июле 1933 года на берегу реки Лены; там каждого, перед тем как убить, спрашивали: есть ли Бог? — каждый ответил утвердительно.

А уже действовал декрет за подписью Сталина: *имя Бога должно быть забыто* на всей территории СССР, крайний срок — пять лет. Декрет был подписан 15 мая 1932 года. Ленинградские власти тут, как и всегда, оказались на высоте; в частности, Феодоровский храм, в феврале закрытый, в мае был передан «Ленмолоку». И — достроен. И — переоборудован. Стал молочным заводом. От подробного описания перестройки увольте. Сами видите — оказалась эффективней бомбежки.

Теперь там вроде склад — не спрашивайте только, чей и что хранится. Машины шмыгают туда-сюда, охрана на чеку, над бетонным забором развевается желтое полотнище: *ОФИС В АРЕНДУ*.

14 апреля 2003

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ

Сколько же оказалось на свете любителей Петербурга, причем страстных! Наш несчастный город буквально осажден добрыми феями. Все наперебой, отталкивая друг друга, спешат подарить имениннику на зубок (увы, шатающийся!) что-нибудь совершенно необходимое для дальнейшего благоденствия. Вот только что передали объявление: приезжает эстрадный певец, популярный в эпоху застоя. Тогда-то и там-то состоится его концерт. Не пропустите! Торопитесь в кассу за билетами! Этот концерт — подарок артиста любимой Северной Столице. В книжных магазинах — реклама: если вы любите родной город, сейчас же купите книжку такого-то. Эта книга — подарок автора блистательному Санкт-Петербургу! Какой-то гражданин из Москвы прислал в мэрию стихи — чудовищные: *«Острошпильный, хладноволный, сексапильный, любви полный, белоночный, витормприливный, будь ты мощным, будь счастливым, будь веками награжденным, будь всегда новорожденным»*. Это, видите ли, тоже про Петербург, тоже в подарок. Растрогавшись, чиновники щедро наградили даровитого москвича.

Но такие трюки — они, в сущности, невинные. А вот когда на плакатах, отпечатанных по заказу мэрии, расклеенных повсюду, изображена, к примеру, площадь Труда и гордая подпись извещает: здесь сооружен подземный переход; этот подземный переход — подарок к юбилею Санкт-Петербурга... Чей, спрашивается? И вообще, не кажется ли вам, что это немного чересчур? Мост починили — кланяйся, петербуржец, в ножки начальству, чувствительно его благодарю. Яму на проезжей части залатали — тоже,

считай, великодушный подарок от любящего сердца к памятной дате, цени это! Бескорыстное руководство от сердца отрывает последний кусок, лишь бы ты как следует повеселился на юбилее.

Кстати, о бескорыстии. Все разговоры про воровство, про юбилей как самую прибыльную аферу века — так легко прекратить! Стоит лишь на заборе вокруг строительного объекта вывести четкими буквами, четкими цифрами: чьи расходуются деньги, сколько и на какие именно работы и материалы. Скажем, вот этот дом на Невском ремонтируется за счет Великого Герцогства Люксембургского. То есть Великий Герцог прислал такую-то сумму в евро. Из них на зарплату рабочим будет истрачено столько-то, а на кирпич, на цемент, на, не знаю, алебастр — столько-то. А как поступить со сдачей: пропить ее, или вернуть, или купить игрушек для сиротского дома, — это пусть решает городской парламент на открытом заседании. Вот и все. Казалось бы, так просто. Но почему-то невозможно. И каждый догадывается — почему. Ну а Великий Герцог — не станет же он требовать отчета. Неудобно ему. Подарок все-таки.

Смешные, добродушные иностранцы! Вот кто ликует и поздравляет от всей души. Пишут в своих газетах: Петербург возвращается в семью европейских городов. Перед глазами возникает душещипательная картинка, вроде иллюстрации к роману какого-нибудь Диккенса. В лондонского благородного семейства возвращается давным-давно похищенный, оплаканный наследник. Злые жулики украли его совсем малышом и научили всякому плохому, типа попрошайничать и никогда не умываться, — но вот решили вернуть в надежде на щедрое вознаграждение. Сбежались родня и прислуга, все рыдают и простирают объятия... Найденыш переминается с ноги на ногу, почесывается и смотрит с тоской: когда накормят? сколько денег дадут? небось воспитывать начнут? так-то веди себя за столом да так-то в гостиной... А вот интересно, где у них сейф с драгоценностями?.. Такие же мысли — у субъекта, который привел его в отчий дом; этот господин одет

вполне прилично, но как бы с чужого плеча, и кружевной платочек, которым он утирает притворные слезы умиления, не идет к его лицу с застывшим на нем выражением враждебности и алчности. В общем, сцена, что и говорить, эффектная.

Но ничего. Терпеть осталось недолго. Еще два месяца Петербург будут любить так бесцеремонно и назойливо. Потом центр города оцепят, чтобы знатные гости без помех полюбовались фейерверком (его и нам покажут по телевизору), потом оцепление снимут — и все кончится. И мы вздохнем полной грудью в наших загаженных дворах и сможем беспрепятственно передвигаться среди полуразрушенных зданий. До сих пор многие из них и в самом деле прекрасны.

Апрель 2003

ГОРОД НА СЛОВАХ

Есть же такие счастливики, что привыкли просыпаться на одной из Линий, а за зарплатой ездят на какую-нибудь Плуталову улицу — либо Бармалееву, — а не то в переулки: скажем, в Мучной или Соляной, на худой конец — в Масляный.

А вот вы попробуйте прожить всю жизнь на Чекистов — от Маршала Жукова до Пионерстроя и обратно.

И не позавидуешь мальчику — или девочке — с улицы Передовиков: название малой родины звучит насмешкой.

Советский словарь поясняет его примером из художественной литературы соцреализма: «Колхоз был передовиком по выполнению всех планов». Пример в своем роде удачный, но, согласитесь, предложение это само нуждается в переводе — да еще вряд ли поддается ему.

А если мальчик (или девочка) не удовлетворится бредовой фразой и дойдет в порыве любознательности до самого Даля, то смысл придется выбирать один из двух: «*Передовики на службе*, кои идут вперед, обгоняют других, отличаются» — либо «*Передовой баран*, передовик, вожак стада».

Вот, значит, под какими звездами ты рождено, прелестное дитя. Как если бы злая фея криво усмехнулась над твой колыбелью.

Но ты не бойся: Город рано или поздно ее перехитрит. Когда здравый смысл оскорблен, ему на помощь приходит фантазия. Скажем, проспект Ударников — кстати, перпендикулярный Передовикам — уже сейчас устремляется к джазу, минуя коммунистический труд. И проспект Метал-

листов все отчетливей прославляет одно из направлений рок-музыки.

Тоже и контекст — великое дело. Всем уже и сейчас абсолютно до лампочки, даже по барабану, что, допустим, Бармалеев и Подрезов были домовладельцы, Плуталов — кабатчик, а Подковыров, наоборот, — большевик. Теперь они — одна компания, неразлейвода, образуют неразрушимую геометрическую фигуру и призрачную зону повышенного риска, наподобие Бермудского треугольника.

Точно так же Чайковский, поместившись между Лавровым и Щедриным, перестал быть автором «Лебединого озера» — временно возглавил «хождение в народ».

Теперь, конечно, не то: народники и прочие революционеры упразднены, практически выключены из списков. А как аккуратно располагались, прямо по Евклиду: Желябов строго параллелен Перовской, Каляев — Лаврову. Под прямым углом — Чернышевский.

Этот еще существует: метро ему покровительствует. А прочие — нишкни, ведь чего удумали, злодеи, помимо равенства и братства: иные ведь покушались на августейших особ! А что умерли за народ — так им и надо, а нам все равно. Цареубийцам в нашем городе не место. Не желаем больше слышать их имен.

То ли дело — герои Гражданской войны. Олеко Дундич умел одним махом шашки разрубить человека пополам. И Пархоменко — в Первой конной отважный комдив! Бела Кун расстреливал пленных белогвардейцев тысячами. А Дыбенко — кронштадтских мятежников. Отлично спится в спальных районах под сенью столь славных имен.

Однако и тут Город берет свое: понемножку, потихоньку вытесняет из них идею душегубства. Иные жители улицы Трефолева (когда-то Петергофской) искренне думают, что *genius* ихнего *loci* сочинил «Дубинушку» и «Когда я на почте служил ямщиком...», а не то что проявил себя стойким чекистом в Реввоентрибунале, где «осуществлял большую работу по очистке воинских частей от враждебных элементов».

Равно и про мадам Коллонтай: какие бы ни числились за ней комзаслуги — она работает у нас как бы символом вечной женственности. Любовь к матросам. Теория стакана воды. Да что говорить: неутомимый был у старухи моральный облик!

И вполне соответствует окружающему пейзажу.

Красивые-то улицы освобождаются от надуманных имен легко. Гороховой уже наплевать на железного Феликса, Кронверкский забывает беднягу Буревестника, Вознесенский знать не знает, кто такой был Майоров. Не всякий с ходу скажет, как назывался еще недавно Троицкий мост или где находилась такая площадь — Брежнева.

Надо надеяться — и Лештуков переулок выберется как-нибудь из-под акына. И также исконный Скорняков (ныне пока Остропольский) вернется в историю Петербурга. И Шуваловская — ныне именуемая Чистяковской: в честь донбасского города Чистякова, которого, кстати, не существует, поскольку и он, в свою очередь, переназван; он теперь — город Торез.

Интересно, что эти три псевдонима — и еще штук шестьдесят — придуманы, исключительно чтобы сделать приятное г-ну Джугашвили — ко дню его рождения в декабре 1952 года. Узаконены одним постановлением Ленгорисполкома. Пятнадцать лет твержу, как попугай: похерьте варварскую эту резолюцию! что вам стоит? а Город сразу как похорошел бы! Начальники — ноль внимания.

Но ничего. И богиня Случайность, и богиня Глупость, каждая по-своему, тоже обогащают местный колорит.

Взять хоть каналы. Крюков — Крюковым же и прорыт, на Грибоедова — классик от большого ума баловался с танцорками (что характерно: у Комсомольского — вообще-то Харламова — моста); что же до Круштейна — в нем, говорят, одноименного эстонца утопили (приняв, должно быть, за еврея)... Ну так что ж? Вода в каналах все равно блещет, и листва по ней плывет.

ИДИЛЛИЯ

Некоторые судебные учреждения вот-вот переведут из Москвы в Петербург: чтобы наш бедный город почувствовал себя тоже немножко столицей.

Как это лестно! Дежурный пикейный жилет по местному радио полностью одобрил:

— Это, — говорит, — очень, очень повысит статус Петербурга!

Представляете? Прибываешь в отдаленную местность — или не столь отдаленную — хоть в Магадан, хоть в Лондон — и при первом удобном случае скромно так вставляешь — мол, Санкт-Петербургские мы. А в ответ — взрыв ликования: ну как же, как же, кто же не знает Санкт-Петербурга! Это город, где функционирует Высший арбитражный суд!

Только, думаю, на этом останавливаться нельзя. Больно момент подходящий. Надо попользоваться, пока не пролетел. Похоже, у руководства проснулась историческая совесть.

Вспомнили, видать, что Москву произвели опять в столицы не от хорошей жизни. Что ленинский Совнарком поступил с Петроградом, как Остап Бендер — с мадам Грицацуевой: тайно сбежал, когда запахло жареным. (Серебряных ложечек прихватил — не сосчитать.) Ну а как опасность миновала, к тому времени Сталин уже оценил преимущества кремлевской стены. Нет ведь в Европе, да и в Америке, другой такой правительственной резиденции: ни Тохтамыш не страшен, ни Руцкой.

(Для полного комфорта немножко недоставало большой тюрьмы: приятней, когда все необходимое — под

рукой. Но на секретном метро до Лубянки — минута лёту.)

Теперь уже смешно было и думать о переезде: в Зимний, что ли, дворец? К которому каждый может подойти буквально вплотную — не с набережной, так с площади? Тем более, скоро изобретут гранатометы и «стингеры»... Нет уж. Мы не цари. Цари не мы. Дураков нет. Да к тому же, по словам Горького, съезд крестьянских депутатов покрыл весь дворцовый паркет плотным и высоким слоем кала. И вазы все наполнил. Конечно, если приказать — отмоют, а все равно противно.

Так и осталась Москва столицей нашей родины. А теперь, значит, вздумала выплатить просроченные алименты? Отлично. Мы — за.

Но только, как писала (и напечатала) в 1970-е годы одна ленинградская поэтесса:

Посиди со мною вместе в лопухах.
Ничего не надо делать впопыхах.

Давайте правда составим разумный план совместных действий. Чтобы потом опять всё не переигрывать.

Судебные учреждения мы, разумеется, берем. Место для них предуготовлено самой судьбою. Но об этом чуть ниже. В первую очередь необходимо вернуть на место прописки те госорганы, по которым до сих пор тоскуют их, так сказать, каменные футляры. Сохраняя, между прочим, как верные вдовы, бессмысленный звук дорогих имен... Короче, вы всё поняли: не будет счастья ни Москве, ни Петербургу, пока Главный штаб не вернется в Главный Штаб, и Академия художеств, ясен перец, — в Академию Художеств. Точно так же понятно и ежу, что Совет Федерации, коли он у нас сенат, должен заседать в Сенате. И кого дожидается здание Священного Синода — тоже, знаете, не бином.

Переезд осуществится, уверяю вас, легко. Никаких особенных препятствий. Оперативная связь, конечно, не нарушится — все-таки на дворе XXI век, даже духовные лица, не говоря о военных, без ноутбука никуда. Ну а если

кто физически страдает от невозможности поцеловать руку патриарху или еще кому, — Октябрьская железная дорога обещает прямо с этой осени пустить новые, комфортабельные, скоростные поезда специально для деловых людей. Там, наверное, даже туалетной бумаги хватит на всех: скоростные же. Раз в неделю съездил — приложился к руке или плечу — вернулся. Чаше-то, я думаю, и сейчас не получается: много вас таких.

Вы скажете: в Академии художеств только московских и не хватало, там такая теснота. Не спорю. Но на этот случай у нас приготовлен очаровательный сюрприз. На Мойке, где она встречается с Пряжкой, пустует, неуклонно разрушаясь, дворец великого князя Алексея Александровича. Чудное здание. Работал архитектор Месмахер с командой учеников барона Штиглица. Приют сказочного принца! Какие башенки с флюгерами! Г-ну Церетели — или кто там главный — понравится. Конечно, окна разбиты, по залам гуляют ветер и дождь, вензель великого князя на каменных гербах переделан в серп с молотом, — но мраморные лестницы сохранились, и уже сняты со стен, обитых телячьей кожей, фотографии членов Политбюро. Помещался НИИ, потом здание досталось московской фирме, уже частной; та вот уже лет пятнадцать спокойно ждет, когда шедевр архитектуры совсем разрушится, чтобы освободившийся участок выгодно перепродать. А вот фиг им! Кстати, дворец окружен прекрасным садом: словно нарочно для Церетелиевых скульптур...

Теперь насчет судебных учреждений. В Сенате им, разумеется, делать нечего. У них есть свой петербургский адрес: Литейный, 4. Да, взамен сожженной в 1917-м Судебной палаты там возвышается сами знаете что. Но это же просто смешно — типичная бесхозяйственность: для чего конторе такие апартаменты? Если бы, как в прежние годы, через них проходили, превращаясь в трупы, по соткам тысяч человек в месяц, — другое дело. А то прохладятся — да еще и аренду небось не платят. Я на месте нового губернатора так и отрезал бы: попрошу на выход!

Например — на дачу депутата дореволюционной Госдумы Чернова, это в Веселом поселке, на холме над Невой. Домик-пряник в стиле модерн. Всю дорогу размещалась глушилка: чтобы вместо Би-би-си до нас доносилось Ж-Ж-Ж. Городу армия эту виллу не отдаст — боевое дежурство продолжается: книги, шашки, домино, — а вот в интересах госбезопасности, пожалуй, съедет.

И тогда останется только снести заподлицо роковой символ позора — и построить Дворец Правосудия. Это будет недешево, — но не дороже денег. Не дороже Константиновского дворца.

И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И запиру-ем на просторе. И все флаги будут в гости к нам.

20 октября 2003

УЖАСНАЯ ПОРА

Петербургская повесть в цитатах

Накануне вечером

Четверг, 6-е по старому стилю ноября 1824 года, был в рассуждении погоды — даже петербургской! — совсем скверный день. Крайне неприятный.

«Дождь и пронизательный холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно возвысилась в Неве...»

«Дул сильный ветер от Финляндского залива при великом дожде, вода в Неве стала сильно возвышаться, в 7 часов вечера на Адмиралтейской башне выставлены были сигнальные огни...»

В то время, —

часов, думаю, в 10, в 11, —

...из гостей домой

Пришел Евгений молодой,

герой поэмы Пушкина.

Скорей приплелся, притащился, — но стих лёгк — скок-поскок, — словно ливень и ветер нипочем. Из каких таких гостей? Там же, в МВ, сказано, что знатных этот Евгений дичился. А вечеринка насекомых сослуживцев — чаек с картишками — потомку фамилии, блеснувшей под пером Карамзина, — как-то не личит.

То-то и нет у него фамилии. А также лица: не получалось у Пушкина его разглядеть. Просто не было таких знакомых: старинный дворянин — коллежский регистратор? Коломна, пятый этаж? Сотрудник «Соревнователя»

с идеей теплого местечка в департаменте? Не пушкинского опыта человек. Скорей уж — Поприщин, которого Гоголь сочинит через год после МВ. А впрочем, все это вымарано. Проставим единицу, как будто извлечем из множества:

Собою бледный, рябоватый,
Без роду, племени, связей,
Без денег, то есть без друзей,
А впрочем, гражданин столичный,
Каких встречаете вы тьму,
От вас нимало не отличный
Ни по лицу, ни по уму.
Как все, он вел себя нестрого,
Как вы, о деньгах думал много,
Как вы, сгрустнув, курил табак,
Как вы, носил мундирный фрак.

Вот и анахронизм, крохотный такой: мундирные фракы — know-how Николая Павловича, месяцев через тринадцать.

Это все тоже будет вычеркнуто, как только пройдет октябрь 1833-го и с ним — хандра и головная боль. *«Начал многое, но ни к чему нет охоты; Бог знает, что со мною делается. Старам стала и умом плохам».*

Останется только вот это:

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель,

как обошелся бы сам Пушкин с плащом или шубой. Но нашему бедняку, за неимением слуги (в черновиках — предполагался, звался Андрей), при таком состоянии атмосферы разумней было бы — сгрустнув — шинель отряхнуть, а еще лучше *в*стряхнуть как следует: промокла, наверное, насквозь.

Почему и спрашивал я: из каких гостей? Он одинок и (через минуту нас поставят в известность) сильно влюблен, — где, как не у *нее*, проводить вечера? Оно бы правдоподобно, если она, как замышлялось, лифляндочка по соседству, в Коломне, — а если на правом берегу? — тогда пропадает прекрасное «пришед» и от плаванья через обез-

умевшую Неву не отделаться отсыревшей шинелью; и он увидал бы огни на башне Адмиралтейства и не думал бы,

...что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он —

решилось! это будет опять Параша — стало быть, не лифляндочка, — но в домике на Острову! —

Дни на два, на три разлучен.

И наплевать, у кого был в гостях, а важно, что, засыпая, воображает счастье: штатную должность с окладом жалованья, Парашу и детей от нее за сытным семейным обедом, а там, далеко впоследствии, — скромный памятник с надписью типа: дедушке Евгению и бабушке Прасковье — благодарные внуки.

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Ночью

Действительно — «в ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна; стекла звучали от плесков крупных дождевых капель».

Но также и от канонады: из Петропавловской крепости непрерывно палила пушка; число выстрелов обозначало уровень воды.

Такой порядок был заведен после наводнения 11 декабря 1772 года. Пушкин о нем запомнил — или не знал. Он ведь описывал катастрофу по сообщениям газет — пересказывал главным образом отчет Булгарина; у Булгарина про стрельбу — ничего.

Ночка была, короче, еще та. Пока наш Евгений строил свои пасторальные планы, «ужасные бури свирепствовали

как в Немецком, так и Балтийском морях, от которых прибрежные города и порты много претерпели».

Далеко на западе, в Гельсингфорсе, другой Евгений — унтер-офицер Баратынский — описывал метеорологическую обстановку как результат активизации дьявола:

Чья неприязненная сила,
Чья своевольная рука
Сгустила в тучи облака
И на краю небес ненастье зародила?
Кто, возмутив природы чин,
Горами влажными на землю гонит море?
Не тот ли злобный дух, геенны властелин,
Что по вселенной рбзлил горе,
Что человека подчинил
Желаньям, немощи, страстям и разрушенью
И на творенье ополчил
Все силы, данные творенью?
Земля трепещет перед ним:
Он небо заслонил огромными крылами
И двигает ревущими водами,
Бунтующим могуществом своим...

Утро пятницы

Мощная волна, какие, вообще-то, бывают от подводных землетрясений, втеснилась в Финский залив. И слизнула первую сотню жизней, не достигнув еще Петербурга.

«На четвертой версте, по Петергофской дороге, находился казенный литейный чугунный завод; оный стоял на самом взморье; деревянные казармы были построены для жительства рабочих людей, принадлежащих заводу. В 9 часов утра 7-го ноября ветер стал подниматься, вода прибывать, ударили в колокол, чтобы распустить с работы людей: все бросились к своим жилищам, но было уже поздно, вода с такой скоростью прибыла, что сим несчастным невозможно уже было достигнуть казарм, где находились их жены и дети; и вдруг большую часть сих жилищ понесло в море».

— Я бывал в кровопролитных сражениях, — сказал Александр Павлович, император, посетив через день деревню Афтову, — видал места после баталий, покрытые бездушными трупами, слышал стоны раненых, но это неизбежный жребий войны; а тут увидел людей, вдруг, так сказать, осиротевших, лишившихся в одну минуту всего, что для них было любезнее в жизни; сие ни с чем не может сравниться.

Надо полагать, что все одноэтажные деревянные строения на взморье Васильевского острова погибли так же мгновенно и тогда же — около десяти утра.

Только караульня Финляндского полка в Галерной гавани держалась, раскачиваясь на сваях, до самой темноты; рухнула, когда вода, плескавшаяся всклянь с крыши (на которой спасались солдаты и с ними П. И. Греч, брат писателя), стала уже сбывать.

Так что если Параша с маменькой проживали «почти у самого залива» — за Кожевенной хотя бы линией, — они, более чем вероятно, умерли впотьмах, еще прежде, чем Евгений проснулся. Черт их догадал поселиться в таком опасном, почти безлюдном месте — фактически на болотистом пустыре, кое-где вскопанном под огороды! Про угрозу затопления не говорю — хотя, с другой стороны, декабрь 1772-го, а тем более сентябрь 1777-го на Васильевском должны были помнить... В общем, косточки жены и дочери на дне Маркизовой лужи — укор покойному главе семьи, нечего все валить на Петра Великого. Кстати, сам-то Евгений, обожатель добродетельный, без году зять, куда смотрел, если на то пошло?

Пушкин — другое дело: он прописал Парашу по такому безнадежному адресу для топографической наглядности сюжета.

Тем же утром, позже

К десяти часам взморье было уже на 16 футов под водой, а в городе ничего еще не знали.

Даже на Васильевском — с Первой линии до Тринадцатой включительно — шла жизнь, как в обычный ненастный день. Скажем, г-н Иордан, ректор Академии художеств, отправился как ни в чем не бывало в Академию наук: было одно дело к тамошнему печатнику. Нева поднялась уже к самому основанию деревянной балюстрады, ограждавшей набережную, но почтенный академик старался в ту сторону (правую) не смотреть, тем более что дождь заливал лицо. Однако — «дойдя до кадетского корпуса при сильном бурном ветре, увидел я, что из водосточных труб (из-под земли) бьют фонтаны и по Первой линии образовался длинный ручей, который я не решился переступить и воротился домой».

В других линиях ВО тоже потекли ручьи, по ним плыли «дрова, ящики, шляпы и разная мелочь», развлекая зевак, толпившихся на тротуарах, приблизительно до четверти двенадцатого.

На Адмиралтейской стороне «вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась». Паноорама странно искажена как бы тревогой. И темный такой — петербуржцы знают — ветер, из-под самых ваших ног бросающий в лицо прах и мертвые листья.

Толпы любопытных — среди них, должно быть, и пушкинский герой (трудовая дисциплина в то царствование была совсем никуда) — сгрудились у Невы, «которая высоко вздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега...».

Фигурки обывателей у гранитного парапета, через который вот-вот перехлестнет вода, — зловещая черно-белая карикатура на известный пассаж из «Онегина» про волны и ножки m-lle Раевской — гравюра пером Булгарина. Эти строфы МВ — чистый, неразбавленный, хорошо зарифмованный Фаддей Венедиктович. А вот и приближение роковой минуты:

«Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною, над которою распростерт был туман от брызгов

волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег...»

Днем

На часы никто не посмотрел, но все сходятся, что это случилось — вот что Нева, *«как зверь остервенясь, на город кинулась»* — где-то между четвертью и половиной двенадцатого. И что всё происходило с огромной скоростью и очень страшно.

«Ничего страшнее я никогда не видывал. Это был какой-то серый хаос, за которым туманно очерчивалась крепость. Дождь косо разносился порывами бешено завывающего ветра. В гранитную набережную били черные валы с брызгами белой пены — и все били сильнее и сильнее, и все вздымались выше и выше. Нельзя было различить, где была река, где было небо... И вдруг в глазах наших набережная исчезла. От крепости до нашего дома забурлило, заклокотало одно сплошное судорожное море и хлынуло потоком в переулок» (в Мошков, на углу которого с Дворцовой набережной проживал одиннадцатилетний автор мемуара, граф Соллогуб).

Люди с набережной бросились кто куда. Евгений, повидимому, забежал за Адмиралтейство (Нева гналась за ним) и направо бульваром — сперва по колено, затем по пояс, пока не взобрался на знаменитого каменного льва. О том, чтобы вернуться домой, в Коломну, нечего было и думать.

«Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невою составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединилась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебель...»

В Торговую улицу, как раз Грибоедову под окно, занесло из устья Невы корабль, ходивший между Петербургом и Кронштадтом.

Суда, барки с сеном и углем, сорванные с якорей и точно по воздуху перенесенные в улицы и дворы, поражали взгляд сильнее всего.

На Петроградской стороне две барки налетели было на ограду Троицкой церкви. Они были такие огромные, что в церкви сделалось темно, как ночью. «Между тем вода начала уже входить в церковь; священник предложил всем находившимся в одной, чтобы их исповедать и причастить, полагая, что сии барки, ударясь об церковь, разрушат оную и что их смерть неизбежна; но, к счастью, в ограде было несколько больших берез, которые, вероятно, остановили стремление барок...»

После полудня

Около двенадцати часов показалась царская скорая помощь: восемнадцативесельный вельбот и двенадцативесельный. На корме одного сидел генерал-губернатор Милорадович, на корме другого — генерал-адъютант Бенкендорф. Это вошло в миф и в анекдоты. Миф — Пушкин записал:

Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным,
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы...

Но что значит — царь молвил? По факсу, что ли, передал? Надо так понимать, в гвардейском морском экипаже с вечера объявлена была боевая готовность на случай эвакуации августейшей семьи. Но уже к часу пополудни стало ясно: дворец устоит. Разлившись на обширном пространстве, вода прибывала медленно. Вельботы курсировали вокруг Зимнего, кое-кого спасая: то с разбитой барки, то из тонущего деревянного этажа. Не забыть и часового,

унесенного прямо в караульной будке от Летнего сада: будто бы течение швырнуло солдатика под дворцовые окна и будто бы он ружьем отдал монарху честь!

Про часового Пушкин начал, да бросил. Другой анекдот зарифмовал было, но тоже убрал. А слышал его от Вяземского. А у Вяземского он записан так. Граф Варфоломей Васильевич Толстой имел привычку просыпаться всегда очень поздно. «Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он в Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит посмотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. „Граф Милорадович изволит развезжать на 12-весельном катере“, — отвечает слуга. — „Как на катере?“ — „Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение“. Тут Толстой перекрестился и сказал: „Ну слава Богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла“».

Как видим, в центре города никакой паники. Страх скоро улегся. Кто утонул, те утонули на окраинах и сразу же. Трупы найдутся под завалами завтра. Сосчитают: погибло 480 человек (правительство поначалу полагало — тысяч пятнадцать), домашнего скота 3609 голов, разрушено и снесено домов и строений 462, повреждено снаружи 2039 и внутри 1642.

Вообще суббота, Михайлов день, будет самая угрюмая. Нынче же, 7-го, в пятницу, из этажей выше второго — зрелище увлекательное, прямо библейское, 7-я глава Бытия.

С балкона Зимнего, а еще лучше с крыши Академии художеств, куда, пообедав, взобрался наш знакомец Иордан: «Ужас представлялся глазам: барки с сеном и другие суда не плыли, а летели против течения, ни дорог, ни набережен не было видно, и только дома торчали из серой бушующей стихии».

Грибоедов на чердаке в Коломне, растворив слуховые окна, перебежал от одного к другому:

«С правой стороны (стоя задом к Торговой) поперечный рукав на место улицы между Офицерской и Торговой; далее часть площади в виде широкого залива, прямо и слева Офицерская и Английский проспект и множество

перекрестков, где водоворот сносил громады мостовых развалин; они плотно спиральлись, их с тротуаров вскоре отбивало; в самой отдаленности хаос, океан, смутное смешение хлябей, которые повсюду обтекали видимую часть города, а в соседних дворах примечал я, как вода приступала к дровяным запасам, разбирала по частям, по кускам и их, и бочки, ушаты, повозки и уносила в общую пучину, где ветры не давали им запружать каналы; все изломанное в щепки неслось, влеклось неудержимым, неотразимым стремлением...»

По бульвару мимо Евгения проплывали заборы, «плоты, мосты, двух этажные даже дома», кареты, сундуки, туши лошадей и собак, «мебель, гробы и простые надгробные кресты, смытые со Смоленского кладбища...». Но он смотрел, мы помним, в одну точку.

И сам сделался за эти часы достопримечательностью. Многие видели его и рассказывали о нем, прибавляя подробности по вкусу:

«Другой случай в день наводнения был с каким-то Яковлевым: он прогуливался по городу и, когда вода начала уже прибывать, спешил домой; но, подойдя к дому князя Лобанова (теперешнему военному министерству), он с ужасом увидел, что вода препятствует ему идти далее. Для спасения жизни Яковлев решился влезть на одного из львов, стоявших у этого дома, и там просидел все время наводнения».

После трех, говорит Иордан, — а Булгарин говорит — еще раньше, в третьем часу пополудни, — нет, ровно в три, говорит Венецианов, — пробило четыре, стоит на своем Соллогуб, — вода начала убывать. И одновременно смерклось.

В сумерках

Природа живет по новому стилю. То есть петербургское солнце 7 ноября в XIX столетии заходило, как 20 ноября в нашем, — в 16.14.

Но условного, т. н. поясного нынешнего времени еще не существовало. Как и советского декретного. Наш циферблат не годится. Только ясно, что, когда Евгений слез со своего льва и похлюпал через Сенатскую площадь, — смеркалось. А когда, обогнув Медного, вышел к Неве, — тьма наступила кругом, как выражается граф Соллогуб, — гробовая. Фонари были все опрокинуты и разбиты, вместо неба — черные эшелоны тяжелых стремительных туч.

Тут единственная в МВ недостоверность, по-современному сказать — лажа. Разумею встречу с беззаботным перевозчиком. Неоткуда было ему взяться, — нелепо было и звать, — и лодок целых не осталось. И чрезмерная все-таки беззаботность (если только это не был Харон): такие волны, такой ветер, и хоть глаз выколи, ни единого ориентира. Как бы ни был нужен гривенник.

Но Пушкину еще нужнее был эффект: как бродит несчастный по взморью в абсолютной темноте, в леденеющей грязи, среди развалин и обломков и громко разговаривает сам с собой,

И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захотел.

А вот как было на самом деле:

«Капитан Луковкин, имевший домик на Канонерском острове, 7-го числа отправился в Адмиралтейскую сторону за покупками к имянинам (он — Михайло), оставя дома жену, сына-офицера, накануне из полка приехавшего, трех дочерей и человек трех людей; был там остановлен водою до утра 8-го числа, потому что перевоз не учредился; дома своего не нашел и места не узнал, а отыскал дом на Гутуевом острове и в нем жену в объятиях детей мертвыми, людей также, — бедной доброй Луковкин потерял разум».

Потом

Низы еще долго — до самого, полагаю, Рождества — судачили, умиляясь и завидуя, про неслыханные денежные

компенсации родственникам утопленников, малому и среднему бизнесу.

«Государь учредил комиссию: 1-е, дать приют лишенным своих кровов; 2-е, снабдить пропитанием; 3-е, пожаловал миллион рублей более потерпевшим, в соразмерности каждого состояния. Вся Россия приняла участие, и каждый класс людей по силе возможности делал приношения, в городах открыты подписки и собраны великие суммы. Между прочими пожертвованиями в Москве благородные обоого пола любители музыки дали концерт, в числе отличившихся своими дарованиями были: пением княгиня Зинаида Александровна Волконская, граф и графиня Ричи; на фортепьяно сенаторша Рахманова и дочь сенатора девица Катерина Петровна Озерова. Сим концертом собрано 22 000 рублей».

Чайльд-Гарольды подсвистывали насмешливо, как Пушкин из Михайловского по молодости лет: ничто проклятому Петербургу! вот прекрасный случай вашим дамам *de faire bidet!*

Верхи обдумывали бедствие: возможно ли было предусмотреть, предотвратить? Божья воля или градостроительный просчет?

Государь был так огорчен, что, по-видимому, позволил себе вслух — конечно, с присущей ему деликатностью, — слегка усомниться в непогрешимости прашура: не действовала ли в нем по временам — вздохнул — недалёковидная гордыня? Что бы кто ни говорил, а мы должны ждать милости от природы, поскольку

С Божией стихией
Царям не совладеть.

Соответственно, в высшем обществе так и установилось: Александр — ангел («душа нашего Александра, кажется, имеет что-то нечеловеческое, в нее сам Бог преселился; никакой отец не может более иметь попечения о детях, как он; он в бурю хотел сам броситься на катер спасать плывущих в домах по Неве, для которых отправил Бенкендорха. Никаких не оставил развалин, не

осмотря, и трупов, не орося слезами. Народ говорит: „У него, у батюшки, слезы замирали, уста запекались, глядя на беды наши“»), а Пьер Легран, *entre nous soit dit*, не всегда имел достаточно масла в своем фонаре.

И очень даже верноподданные, номенклатурные люди баловались этой дозволенной фрондой:

«Страшно подумать об участии Петербурга; если уже было два наводнения, а последнее сильнее, то кто может ручаться, что не будет последующих. Кажется, Петр Великий лучше бы сделал, если бы основал свою столицу на Пулковской горе, десять верст от Петербурга по дороге к Царскому Селу, и будто один тамошний старожил сказывал ему, что вода нередко потопляла в прежние времена все до самой сказанной горы; но сие сказание есть только одно предание, думать надобно, что столь прозорливый и осторожный монарх, быв предупрежден, не решился бы свою столицу подвергнуть таковым угрожающим бедствиям».

При Александре это был хороший тон, при Николае сделался плохим, отчего и МВ напечатан лишь после смерти автора, да и то испорченный Жуковским в полную силу трусливой дружбы.

А тогда, в первые по наводнении дни, даже какая-нибудь графиня Толстая, Анна Петровна, супруга вышеупомянутого графа Варфоломея с Большой Морской, могла безбоязненно наградить Медного неприличным жестом. Наводнение, пишет Вяземский, «произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что еще задолго до славянофильства дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть перед ним язык!».

Эту вздорную выходку неумной барыни Пушкин преобразил в бред безумного бомжа. Сам же, по-видимому, остался при догадке, разбившей тому рассудок: что, быть может, и вся-то человеческая жизнь не что иное,

как сон пустой,
Насмешка неба над землей.

Царь и герой не сошлись мечтами, — кто же виноват? И насчет Бога никак не споешь диаконским басом: благ и человеколюбец — иначе как в шутку. Читайте Вольтера — «Поэму о Лиссабонском землетрясении» (которое, между прочим, поглотило 30 тысяч человек в 1775 году, по новому стилю 1 ноября.) Не стоит, значит, грозить ни воображаемому шведу, ни металлической кукле, — и ссориться с мертвыми, и строить города *назло*, и вообще сходить с ума. Все и так слишком грустно, слишком таинственно, слишком красиво. Счастья, разумеется, жаль.

«Коли царь позволит мне Записки, то у нас будет тысяч 30 чистых денег. Заплотим половину долгов и заживем припеваючи».

Согласив судьбу с геополитикой на ничью — не ради них, в конце-то концов, страдал и наслаждался, — заглушил, как мог, траурную флейту гвардейским маршем и возле последней строчки Вступления («Печален будет мой рассказ») приписал точное болдинское время: *1 ноября 1833 года, 5 часов, 15 минут.*

ПРАЗДНУЕМ ЮБКУ

В нынешнем сезоне, в нашем регионе мода на Петров Великих совсем прошла.

Теперь если петербургское население желает выразить всю радость гражданского бытия, оно пускает по Невскому колесницы с Екатеринами Вторыми. Наблюдатели насчитали восемнадцать штук — и ни единого Петра (в прошлом году Петров было триста).

Давайте подчеркнем: это именно восторг, а не протест. Иноплеменный гордый взор, вооруженный, как всегда, инструментом ни к черту не годным, может понять неправильно, — да и фиг с ним. Но лишь бы другой кто не подумал, будто мы таким хитрым образом — используя аллегорический намек — грубим богоданному начальству. Типа — ассоциируем дорогую Валентину Ивановну с «Тартюфом в юбке», как обозвал Мать Отечества вольнолюбивый А. С. П. Ни боже мой! Ни в коем разе!

Поголовно же все со средним образованием — знаем, что ужасная женщина была.

Во-первых, инородка. Иногородняя, притом еле-еле русскоязычная: владела нашим правдивым и свободным хоть и лучше, чем ныне действующий министр образования («к осени двух тысячи четвертого мы должны иметь позицию»), — но зато шепелявила: вставные зубы из воска, все такое.

Мало этого: прекратила собственного законного мужа. Загасила. И спала с его убийцей, а впоследствии практически со всеми должностными лицами категории «А» (см. пьедестал напротив Елисейевского магазина).

Поработила, помимо всего прочего, братский украинский народ — чего, например, не мог ей простить компатриот дорогой Валентины Ивановны, граф А. К. Т.:

«Madame, при вас на диво
Порядок расцветет, —
Писали ей учтиво
Вольтер и Дидерот, —
Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать».
«Messieurs, — им возразила
Она, — vous me comblez», —
И тотчас прикрепила
Украинцев к земле.

Короче, отрицательная была тетка. В то время как В.И., мы уверены, совершенно наоборот. Ничего общего.

Кроме юбки.

Не то чтобы советский человек был от природы феминист, с позволения сказать, ясный сокол. Вот прямо сейчас, пока я вывожу этот текст, московский вельможа по радио произносит:

— В слове «мужчина» заложены «муж» и «чин»!

Это он от большого, значит, ума так мотивирует необходимость сохранения рекрутской повинности на веки вечные. По умолчанию получается, что чин — как бы половой признак, и чуть ли не первичный.

Питерские тоже хороши. Редакция одной газеты явилась на праздник, хором скандируя:

— Не все бабы — дуры!

Опять-таки по умолчанию допуская, что есть, есть у нас (в отсталых, конечно, слоях) — как родимое пятно социализма, идиотский предрассудок насчет классовой принадлежности несущек.

И с отвагой, как бы крамольной, возражая победоносно: нет! отнюдь не все! чины дают не только вашему полу! вот и наша наконец взяла!

Собственно, в этом и пафос торжества, повод к умилению сердец: доверие к власти, во что бы она, душенька, ни рядилась, чем бы ни прикрывала свое средоточие.

И административный ресурс тут ни при чем: свободное волеизлияние коллективного бессознательного. Постороннему, и точно, удивительно: с какого перепугу гордые правнуки крепостных козодоев рифмуют номенклатуру демократической республики с фигурами самодержавных самодуров и самодур, к тому же отбирая наиболее отчаянных?

Но мы, люди местные, на это отвечаем с достоинством: таков наш организм! Национальная мечта о ведре и палке. Безродный верхогляд ляпнет сплеча: Петр, дескать, пил, а Екатерина была слаба на передок. Но народная мифология конкретна, как истина: Первый Петр был Великий, потому что запросто мог выпить ведро, а за коррупцию колотил генералов дубинкой. Екатерина — хоть и Вторая, но тоже Великая, потому как ее генералы обладали такими рычагами (власти), что вздевали на них полные ведра.

Кстати, юбка, если вдуматься, ведру несколько сродни.

Но идеальным правителем, вот увидите, — и тоже Великим! — рано или поздно провозгласят все-таки Николая Палкина: при нем был порядок!

Хотя тоже разъезжали среди ликующих толп колесницы с живыми картинами.

Только их мне в День города и не хватало. Приходилось воображать: вот, скажем, Григорий Орлов с табакеркой — объявляет Петру II импичмент. Вот Потемкин в темных очках — естественно, с ведром. Вот депутация петербургских обывателей — разумеется, на коленях и с плакатами: «Спасибо за счастливое детство!» — «За беспокойную старость!» — «За рачительное ЖКХ!» — «За помрачительные тарифы!» Вокруг крылатые купидоны правопорядка. На заднем плане — назидательная карикатура: иждивенец-пенсионер (желательно — смуглый, с большим носом) и крупно подпись: *МОЧИТЬ В КВАРТИРЕ!*

АРХИПЕЛАГ ГУЛЯК

Верней, зевак. Точней — фланеров.

Городские, короче говоря, сады.

Все эти странные места, где вокруг не столбы, а стволы; и небо не разграфлено проводами, а раздроблено листвой. Под ногами, опять же, не асфальт — и блестит, причем не только сквозь туман. Лермонтов не знал биохимии: собаки так устроены, что, как их ни корми, выделяют, извините, исключительно кремний, практически чистый кремний. Какое-то есть для этого собачьего вещества специальное латинское слово, да я позабыл. С песком и ветром оно (вещество, конечно, — не слово же) образует кремнистые пути, а также темную такую поземку, смерть туфлям. В ней купаются голуби, воробьи, вороны и примкнувшие к ним (под конец советской власти, где-то при Андропове) чайки.

Эти самые, значит, пятна обобщественной природы желаю воспеть.

Проказа истории

Как это у Помяловского: «Где те липы, под которыми прошло мое детство? Нет их, и не было».

В моем случае — были тополя.

Про них и ля-ля.

Главным образом — про черные. Которые, вообще-то, повсюду, кроме здешней местности, зовутся — осоками.

Да как бы ни звались. Главное — в принципе возможна в жизни петербургского человека такая минута: при-

мостившись на коряге или пне по-над берегом полудоходной речки, на краю пустыни жирного мусора, проросшего загаженным бурьяном, — смотришь в июньский сияющий воздух, по которому плывет тополиный пух. Осокоревое семя. Тонны и тонны, со скоростью облака, — но растворены в пространстве такого объема, что беглому взгляду мнится невесомость и неподвижность. Пристальному — взамен открывается неуклонность. И сам себя вдруг чувствуешь такой же частицей в потоке непостижимой Воли. Пылинкой каких-нибудь Плеяд. Видно, прав был в Публичной библиотеке древнегреческий Гераклит: *τὰ σπέρματα* (ta spermata) — не что иное, как обрывки души. Покорная рассеянность. Замена счастьем. (Боже мой! и далее по тексту.)

Хотя все равно слышишь сиплый лай ворон, истеричный визг чаек. И помнишь за восточным плечом Благовещенскую церковь (волшебный золотой восьмигранный купол — а в сыром подвале скелет Ломоносова), за плечом же западным (не стоит, не стоит лишний раз оглядываться!) — бурокирпичную тюремную больницу, в которой, говорят, кончился Хармс.

Да, вы угадали, мы на задворках Лавры. В бывшем монастырском саду. Где бессмертное лицо природы поражено проказой истории сильнее всего.

Правда, Лавра и поставлена здесь по исторической ошибке. Петр I вообразил, будто битва 1240 года, после которой князь Александр Ярославич обзавелся таким славным псевдонимом, случилась поблизости — так сказать, на набережной, шагов полтора от одноименного моста.

Дело было в устье Ижоры. А Петр этого не знал, Петр думал — в устье Черной.

Которая теперь — после того как ее задавили в истоке и свернули ей русло — превратилась как бы в ров, окружающий Лавру, называется Монастыркой и непонятно куда течет — не то в Неву из Обводного, не то вообще вспять.

(Иногда пересыхает: лично я однажды каким-то жарким летом распивал с приятелем четвертинку прямо на дне.)

Вспомнил! все-таки в Неву! Полвека назад сплавлялись из Обводного плоты на лесопилку, которая была у сада за стеной. За той самой стеной, где граффити: *ЧЕРНАЯ СОТНЯ*, — и у которой лакомятся шашлыками бомжи.

Лесопилка основана еще в XVIII веке. Теперь не фурычит: стала обширной свалкой, замаскированной под склад.

Но и с нашей стороны — пляж нищих на помойке — был когда-то монастырский огород. При зрелом социализме — стадион для мотобола: ворота еще стоят. Между ними раскинулась блистающая лужа. Окруженная кустарником специального назначения. Где почва дышит, правильно, тем же, что и судьба.

Давно уже не сад — проходной перелесок. Муравьиная тропа для бюджетников: из ящиков и шарашек на Обводном — к ослепительному Невскому. Мимо незрячих нищих фасадов — скорей, скорей!

Везде следы отвращения и безделья. И многолетней погони Государства (в железных сапогах) за Церковью. И нынешнего самодовольного реванша.

И наползает из всех углов хищной тенью хитрая Частная Собственность.

Кто-то из них троих, предчувствую, скоро запрет навеки этот пустырь, этот провал, этот рай захламленных руин.

В котором я расцветал так безмятежно.

А не хвати тогда (1240) святой благоверный ярла Биргера копьем по лицу, — глядишь, разгуливала бы тут шведская королева между розовых клумб, под фото-вспышками русских интуристов из близлежащей гостиницы «Mosku», под тривиальную флейту из неразломанной беседки, — тоска! тоска!

Овсяшка

Не сад, и подавно не парк, но и не сквер, а вот именно садик. Толпу деревьев построили на пустыре, унтер (из

Вольтеров) скомандовал: смирно! — и убыл на войну — мировую, гражданскую. А тополя и клены с березами так и стоят. Как вкопанные.

Самое безветренное место на Песках. И сколько нас тут ни проживало — на Херсонской, на Мытнинской, на Старорусской, Конной, на Бакунина, и в половине Советских, и в Перекупном, — практически каждый хлебнул свою пайку идиллии тут: лежа в коляске или толкая ее перед собой. Исколесил, значит, здешние дорожки, числом две: окружность и стрелу.

Честнейший русской литературы человек — И. К. Подколесин, — и тот, я думаю, поддавшись в конце концов закону вещей, сиживал под старость лет на одной из тутошних скамеек (впрочем, их слишком мало, мог и места не найти), посматривая, как внучка копошится в песочнице.

Тоже был в нашем квартале прописан постоянно. Внучку-то, само собой, впоследствии уплотнили, а затем и выселили. Квартиры стали коммунальные — а садик и был.

Н. А. Заболоцкий (с Конной, 15) про что-то другое написал: «курятник радости», но пару пива в солнечный день да в компании с Д. И. Хармсом (Миргородская, 3/4) приговаривал, конечно же, в Овсяшке.

Судите сами: на востоке вместо ограды — глухая стена Мытного двора, мощного такого каре амбаров, XVIII век. На западе — тоже стена, полицейского управления с пожарной частью, век XIX (граффити *Менты — козлы!*). С юга на север, оперением упираясь в бывший Калашниковский, а наконечником в Старорусскую, лежит упомянутая стрела, попросту дорожка — песок, разбитый в грязный прах. Она вписана в окружность из такого же материала. Все остальное — зеленка. Впрочем, у восточной стены еще вольеры за проволочной сеткой: для новых — теннис, для бедных — футбол.

Я застал еще на юге домино, на севере — шахматы. Все это летом, разумеется. Зимой за проволочной сеткой до сих пор бывает каток. А также горка, санки, счастливый

визг и все такое, а если ты родитель и зарабатываешь 105 советских р., то жутко, просто до сердечной тоски, до смертного уныния, мерзнут ступни.

И само собой, не выходит из головы «Детская площадка» Рэя Брэдбери: что поменялся бы с ребенком, принял бы на себя всю эту дьявольскую жестокость — толчки, удары, обиды. «Детство — это ад»? Не у всех, наверное, не у всех. Но снежная горка в Овсяшке — была точь-в-точь.

Категорически не являясь краеведом, не скажу, чей это огромный желтый дом напротив северного входа. Т.е. которого из Овсянниковых. С петербургской недвижимостью из них играли двое. Один в 60-х девятнадцатого просто осваивал пятна застройки в разных районах (на Галерной, на Малой Итальянской и т.д.) и спокойно жирел, собирая квартплату. Другой, в 70-х, прославился крупной аферой: арендовал паровую мельницу (будущую — Ленина) на Обводном канале, застраховал ее и спалил. И пошел под суд и на каторгу, дав Салтыкову и Достоевскому повод для ярких страниц: дескать, новый русский немногим лучше жида, и поэтому долой капитализм.

Короче, какой-то из этих Овсянниковых (мне приятнее думать, что лихой) насадил тут на помин души всю эту природу и благоустроил красотой. В смысле — выдал спонсорские городской управе. И любовался из окна (каторги еще не предвидя). И увековечил фамилию — ближайшим потомкам, вероятно, на беду, — зато на зависть Салтыковым и Достоевским.

Хотя официально — вы будете смеяться — садик считается имени Чернышевского, Николай Гаврилыча. Именно в этом пункте — примерно над песочницей — стоял эшафот, где палач сломал над головой бедняги казенную железку: в знак того, что отныне любой желающий имеет полное право данному доктору отношений искусства с действительностью дать пинка или по уху, звать не иначе как «ты».

Вы, должно быть, помните всю эту историю: в 1862-м в здешней столице произошли теракты. Апраксин двор

загорелся, и Щукин рынок. По сию пору неизвестно, кто поджег, но газеты, как-то все хором, напали на польский след, приплетая «Колокол» Герцена, петербургские журналы и прокламации.

Прокламаций было по меньшей мере три, общим тиражом экземпляров двадцать, их сочиняли, набирали, распространяли — то есть дали друг другу почитать — человек шесть демократов и прогрессистов, с которых полиция не сводила глаз, дожидаясь: авось дотронется до блесны рыба покрупней. Так он и попался, Чернышевский.

Улик не нашлось, но оперативные данные были, а лжесвидетель и поддельные улики — вообще не дефицит. И в июне 1864-го привезли голубчика сюда — на бывшую Мытнинскую, бывшую Конную площадь, где раньше публично били кнутом нехороших женщин. (Но перестали, поскольку наступила эпоха великих реформ. Эмансипация, блин, гуманность.)

«И умник стоял на коленях, пока ломали над ним заранее подпиленную саблю, и послушно сунул руки в железные кольца у позорного столба, и дождь заливал ему очки, и молча глазела на эшафот толпа читателей (а литераторы, как слышно, не явились) — отлично было!»

Потом капитализм победил, случился строительный бум, и площади не стало: со всех сторон надвинулись доходные дома — до сих пор донашивают тогдашнюю штукатурку.

В четвертом этаже одного из них, на Херсонской, ночью 7 ноября (по новому стилю) 1917-го сидел у окошка В. И. Ленин с приклеенной рыжей бородой. Переждал штурм Зимнего и строчил так называемый декрет о так называемой земле. Услыхал так называемый залп «Авроры» — взгляделся сквозь отражение лампы в дрогнувшее стекло. Из Овсяшки деревья протягивали к нему голые черные руки. Утром оказалось, что этим садиком в Смольный короче всего.

В день солнечный тут благодать. У кого нет приусадебного, ни в деревне родни, выгул собак и младенцев — лучше не надо. Мальчики с мячиками, мамы с сигаретками,

старушки с вязаньем, бомжиха в расстегнутой кофте (топлесс) с мешком, — человек сто потихоньку проводят жизнь.

Вот только с западной стороны мрачный запашок. Не знаю, как при Ленине, а при Хрущеве сортир хоть и не действовал (то есть действовал, конечно, — без воды и электрического света), но был открыт с обеих сторон, честь по чести: слева — М, справа — Ж. В наши славные дни милиция (к чьей стене все это приникло) каким-то хитрым архитектурным приемом заблокировала М (чем, возможно, отчасти объясняется пафос граффити, см. выше). Ж зато распахнута настежь, и за нею в зловонной тьме угадывается что-то такое невообразимое, словно там давным уже давно осуществлена по афоризму президента национальная мечта.

Войти, безусловно, нельзя. И над дверью крупным, явно девочкиным почерком — фломастер: «Ничего не понимаю!»

Действительно. А впрочем, вырастет — поймет.

Отчетливые призраки

Я — к Юсуповскому саду, перепрыгнул чрез ограду, а она — за мной, за мной (кто была эта она? мочалка? швабра? чего хотела? — забыл), по Садовой, по Сенной...

Стоп! Советская, значит, топонимика гражданину Чуковскому не по хорею? Без затей зарифмовать — слабб? Типа: я к Детскому парку Октябрьского района, а она за мной, за мной, по Третьего июля, по Сенной...

Шутка. Так и быть: Садовую и Сенную — под вашу ответственность. Но сад переменить сию же минуту! духу чтоб не было б. Юсуповой, так наз. кн., с б. Литейного, ныне Володарского, где устроим впоследствии ц. лекторий! *Les aristocrates à la lanterne*, в смысле: олигархов — на осветительный прибор, или вы не согласны? Шутка.

Ничего не попишешь. Мойдодыр! Гони по Садовой к Таврическому!

А я — в Юсупов.

Да, без суффикса — как Аничковы: мост, дворец, а теперь и лицей (хамы говорят: Аничков, — меланхолично замечает Бунин, правнук, между прочим, турчанки, ногайки, — кто разберет).

Суффикс маркирует право собственности. Этот сад и в нем дворец скоро двести лет как Юсуповым не принадлежат. По правде говоря, и князей Юсуповых настоящих не большевики истребили, а за четверть века до них судьба. Последний по мужской линии потомок Юсуф-мурзы, владетельного Ногайского князя (умершего в 1556-м), князь Николай Борисович скончался в 1890-м. И тогда же зятю его, гвардии поручику графу Феликсу Феликсовичу Сумарокову-Эльстону было высочайше разрешено именоваться князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном, с условием, чтобы княжеский титул и фамилия Юсупов переходили только к старшему в его роду.

А с дворцом и садом те, настоящие Юсуповы расстались еще при дедушке Николая Борисовича. Будучи членом Госсовета, дедушка эту недвижимость в 1810 году по благу втюхал казне: жить ему было где и помимо, а попробуйте протопить помещение в три дюжины окон — а там еще и двери стеклянные! — да прокормить секьюрити, хоть и крепостную. Строились-то в столетии XVIII, практически в сельской местности, но прогресс не дремал, город расползся, как ртуть, Сенная превратилась в крупнейшую ЗС для гужевого транспорта. Это бы куда ни шло, но к запаху конского навоза прибавился человеческий: петербуржцы, так уж повелось, обожают гадить под купами деревьев, — и сад уже не в силах был сопротивляться набегам первобытного коммунизма.

Заботу эту взвалили на полицию. Во дворце разместились вновь учрежденный Институт путей сообщения. В 1823-м отдали г-ну главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями под казенную квартиру.

— Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

Точно. С конца 1842-го по октябрь 1855-го. Строитель Николаевской железной дороги, Николаевского же

моста и Нового Эрмитажа. Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному, граф Клейнмихель развел в своем ведомстве повальное казнокрадство в особо крупных размерах, а откат с подрядчиков взимал через супругу. Николай I благоволил к нему необычайно. Какое чувство, между прочим, и свело его в могилу.

В этом самом дворце 27 января 1855-го, на свадьбе старшей дочери Клейнмихеля, Елизаветы, царь простудился. Венчание совершилось в домовых церкви. Жених, флигель-адъютант Пиллер фон Пильхау, «считался в кавалергардском полку, — пишет современник, — а потому государь, бывший его посаженным отцом, надел мундир этого полка. Найдя поданные ему сапоги некрасиво сидящими, он приказал подать другие, но для того, чтобы их надеть, надо было снять шерстяные носки...».

Ну, и бронхит. Не угодно ли — мазурку на январском паркете без подогрева? К тому же Кваренги, всем известно, большой мастер сквозняков. Новобрачные, не исключено, упростили государя сфотографироваться с ними на фоне чугунного Ленина, это в другом конце сада, у самых ворот. Как бы то ни было, император тем же вечером занемог и недели через две почил в Бозе. Таковы факты, остальное — сплетня.

Ленина, во всяком случае, отволокли в металлолом совсем недавно. Высоко стоял, далеко глядел. Полированными шарами с ласковым прищуром сверлил вам затылок при переходе улицы, когда у вас повестка в здание напротив — нет, не к Майковым на первое чтение «Обыкновенной истории», а в райпрокуратуру на допрос.

Сам же оборачиваться не умел. За его спиной на льду фигурного пруда к семилетнему на коньках — двое больших, улыбаясь, как незнакомому другу: прокатимся? один за левую руку взял, другой за правую — да и растаяли в метели под музыку из репродуктора. С тех пор мамы научились связывать рукавички резинкой, пропускаемой сквозь рукава. Впрочем, в 1949-м Ленина тут, может, и не было, лично я внимания не обратил. Момент экспро-

приации помню, обиду от обмана, — варежек ни капельки не жаль. Я любил плюшевую муфту — медвежонка с прозрачными глазами, с высунутым кончиком нежно-алого суконного языка.

Сейчас 2004-й, лето, жизнь прошла, в саду красиво. Словно прорубили большое окно в природу и забрали решеткой. Дышится легко, и вообще похоже на кладбище, с той разницей, что тела обнажены и валяются на поверхности, принимая соблазнительные позы. Много зелени, много мяса, чуть-чуть белья.

Но все это призраки. Нельзя изменить место смерти. А также время. В Юсуповом теперь всегда будет февраль, 9-е, вечер, электрический мрак. Убитому ребенку так и останется девять лет.

Чертова дюжина негодяев, столько же ударов — одним и тем же ножом.

С паузами, стало быть. Как бы в порядке живой очереди.

Я вот все думаю — думают ли дети? Мелькают ли у них в голове предложения, одно за другим? Или мир входит в детский ум как есть, без титров? Достоевский (кстати, случалось и гению забегать в Юсупов по нужде): «Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой». Чуковский полагал: все дети — сумасшедшие.

Петер Вайс извлек из протоколов процесса над администрацией немецкого концлагеря показания охранника. Который, стоя на часах у ворот, наблюдал в начале лета 1942-го за посадкой еврейских детей в грузовик, обслуживавший печи крематория.

Выделялся один мальчик лет девяти.

— Не бойтесь, — успокаивал младших, — не плачьте. Там, — показывал в сторону дымящих труб, — там наши родители, они приехали за нами, они ждут, через несколько минут мы все будем вместе.

Забравшись в кузов грузовика, мальчик вдруг поймал взгляд этого, у ворот, солдата. И крикнул ему, — машина уже тронулась:

— Это вам даром не пройдет!

Одну эту фразу и твердишь про себя в Юсуповом саду. Современники мои, цветики степные! К вам обращаюсь я, друзья мои! Все эти злодеяния не пройдут нам даром!

Пройдут, пройдут, уже прошли. Была ли девочка по имени Хуршеда? Призраки резвятся, как ни в чем. Загорают, выпивают, помаленьку пакостят. На перилах дворцовой балюстрады пишут, естественно, черт знает что.

На одной из колонн: «10 июня 2004. Здесь были Виктория Черкашина и Услам Юсупов». Уж не наследник ли запоздалый?

СНЫТЬ

— Фу! — сказала веселая Елисавет. — Нечего покойникам делать в моей столице! Ужаси какие! Не люблю!

И выслала бедных мертвецов из города — к волкам и финнам. На необозримое болото, простиравшееся за речкой Сутиллою, то есть, собственно, Волчьей, в сторону села Купсина.

Огородили сто двадцать саженей на сто двадцать. Через пятьдесят лет прирезали еще тридцать тысяч квадратных саженей, еще через тридцать — еще двадцать с половиной. Пять тысяч могил в год. Пять каменных церквей. Сто двадцать дорожек: вокруг церквей — плитняк, остальные — в пять досок, в четыре. В три. В две. В одну. Хлюпало, конечно, под ногами.

Первый разряд — 200 рублей. Второй — 150. Третий — 30. Четвертый — 20. Пятый — 5. Шестой — рубль за место. Седьмой — даром.

Радищев попал случайно: спасибо, вообще взяли, не посмотрели на причину смерти.

С Дельвигом тоже история темная, к тому же его буквально, так сказать, на одре обокрали. А вдова страшно спешила износить башмаки. Сплавили, короче, беднягубарона куда поближе да подешевле. Однокурсник навес-

тил — ахнул. Стихи написал — про мертвецов, теснящихся в болоте,

Как гости жадные за нищенским столом...

Настоящие литературные похороны впервые случились в 1846-м: Николая Полевого зарыли при всей словесности, под гул анекдотов и каламбуров. Что-то вроде того, что Булгарин рвался: дайте я понесу! А Каратыгин ему: довольно вы его и при жизни поносили!

Через год привезли Сергея Глинку, лучшего из цензоров: подписывал в печать, не читая, вот и умер в отставке и бедности.

Еще через год, в мае 1848-го, сбросили в яму с водой гроб несчастного Белинского. И это конец первой главы.

Содержание второй — школьная программа. В 1861-м положили вплотную с Белинским — этак по-семейному — Добролюбова. И оградкой общей обнесли (деньги Некрасова, надо полагать, идея — Чернышевского). В 1868-м напротив, через дорожку, поместился Писарев. И эта, в три доски, дорожка окончательно превратилась в Литераторские мостки, дав кладбищу — Волковскому — как бы второе имя, интимное, только для своих. Остальное сделали солидарность и тщеславие. Благосветлов, Павленков, Елисеев, Николай Курочкин, Решетников, Гаршин, Глеб Успенский, Михайловский, Лесков, Надсон... Кое-какие имена кое-кому еще и сегодня о чем-то напоминают. Хоронили кого где: забронировать места в одном ряду не догадались. Самых знаменитых — возле Спасской церкви: Тургенева, Салтыкова, Григоровича. Но и распоследний автор каких-нибудь научно-популярных брошюр, ежели только страдал любовью к народу, надеялся про себя, что в конце концов окажется здесь, хоть с краешка примостившись. И над могилой кто-нибудь продекламирует: «Мир памяти скончавшегося! Он писатель был талантливый и честный...» И на плите выбьют заветный титул: *литератор*. И это будет пропуск в историю русской литературы. Писанную лопатой по болоту.

Потом разные профессора и адвокаты пожелали участвовать в этой складчине славы. Короче, в начале XX века очень даже престижно считалось вкусить вечного покоя на берегу Волковки.

Потом — тишина.

Еще потом — партия сказала: чего это они все тут лежат? столько полезной площади занимают? А давайте-ка разобьем здесь парк! Карусели, площадка для городков, летняя эстрада, комната смеха, все такое. Комсомол ответил: есть! И ГПУ в стороне не осталось. Первым делом будущие — то есть нынешние — ветераны труда обломали кресты, вылушили иконы, свинтили бронзовые доски, раздробили мраморных ангелов. Спецподразделение обшмонали домовины первого-второго разрядов: на предмет орденов, перстней, нательных крестиков из драгметалла. Надгробия сортировали, складывая в штабеля, чтобы наиболее ценными облицевать Большой Дом. Три церкви, само собой, снесли напрочь, а четвертую приспособили под литейный цех завода «Монументальскульптура». Иов Многострадальный, однако же, уцелел. А также и Воскресенская — в качестве конторы. Что же до покойников из разоренных склепов и могил — их побросали в несколько братских ям и поверхность над ними разровняли.

Все это, кстати, был *бесхоз*: потомки данных покойников, официально считаясь бывшими людьми, сами подлежали, так сказать, сносу.

Но вдруг — хотя за оградой кладбища Варфоломеевская ночь продолжалась — внутри она сменилась Вальпургиевой. Некто сумел убедить начальников, что кое-что стоит сохранить. И даже приумножить. Не обязательно могилы. Достаточно имен на камнях. Потому что Григорович, например, ненавидел крепостное право. Белинского убило самодержавие. Добролюбов был революционер. А Щедрина постоянно цитирует сами знаете кто. Собрать всех таких вместе, положить рядом — есть не просят, а пригодиться могут. Иностранцам напоказ или для дру-

того чего. И это будет никакое не кладбище — а музей скульптуры под открытым небом. На крохотном таком полуостровке.

Проект понравился. Про парк забыли. Оскверненное кладбище оставили как есть. Знаменитостей сволокли к Литераторским мосткам. Не всех, разумеется. Радищева след простыл. Насчет Дельвига имеется рапорт: *«памятник преступно был сломан по почину рабочих, производящих уборку бесхозных памятников и заинтересованных в скорости и мерности укладки материала в кубометры...»* Скелет барона отвезли в Лавру и там накрыли надгробием незнакомой дамы. Зато из Лавры доставили Анатолия Кони, а впоследствии — Апухтина, Гончарова, Мамина-Сибиряка. С Митрофаньевского кладбища — Аполлона Григорьева и Мея. С Фарфоровского прибыл Панаев, к Авдотье Яковлевне и ее следующему супругу под бочок. С Малоохтинского — Помяловский. Для полноты коллекции прибавили парочку эмигрантов: Куприн явился добровольно, Леонид Андреев — как военный трофей.

Каждого — в комплекте: к надгробию прилагается прах. Собранный со всем благоговейным тщанием, на какое только способны могильщики. См. пьесу Шекспира «Гамлет, принц Датский». Иногда привлекали общественность. Один мой знакомый лично — в собственных руках — вез на Литераторские со Смоленского череп Блока. Или челюсть, не помню.

А что в России надгробные памятники прыгают с места на место — заметил еще маркиз Астольф де Кюстин. Был поражен.

Если ничего этого не знать — симпатичный уголок. Знакомых — скажем, у меня — чуть ли не больше, чем в остальной подлунной. И что ни говорите — памятник, все равно как сургучная печать, удостоверяет: человек — существовал. Рухнул в бездну, а каменный поплавок своей тяжестью держит его на виду. Не всегда, значит, был только голосом из текста. И прошлое, значит, хоть отчасти реально.

Вместе с тем в распределении пространства чувствует-ся как бы шизофрения. Личный состав рассчитался на пер-вый-второй, а после команды «вольно!» сгрудился в кучки по интересам. Вот естествоиспытатели, вот народовольцы, отдельно — родственники тирана, поодаль — публицисты, на фланге — сатирики. Группы — тесные, а между ними — пустыри (не скажешь: поляны, или — лужайки): тут по-резвилась советская власть — теперь наслаждаются бес-контрольным размножением сныть и лопухи. Ступить по-чему-то жутко.

Главные беллетристы обведены одиночеством. Изда-лека сверлят друг друга мрачными глазами. Изо всех сил стараются отвернуться.

Есть еще только одно такое — тоже место лишения свободы, — где реальность реорганизована в учебных це-лях и не срослась: наш зоопарк. Мимо журавлей идешь к жирафу, боковым зрением замечая: а вон за той решет-кой — тюлень!

Но здесь — душно, даром что пленер. Слишком много фальши. Разбой замаскирован под культуру, музей при-творяется кладбищем, кладбище — музеем. Блат и Взят-ка бродят взад-вперед, как по закрытому распределите-лю, присматривая участки. В музеях, вообще-то, людей не закапывают. Зато свежие могилы несравненно шикар-ней — хорошо, Тургенев не видит. А Писареву плевать.

Вандалон

Место, прямо скажем, срамное. Язвенная прореха на театральном мундире. Как разлетится Хлестаков-Петер-бург на коленках по эрмитажному паркету: с пламенем в груди прошу руки вашей! — и валюты, о, валюты! ес-ли вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я не до-стоин земного существования! — сразу расползается над мнимым сердцем бумажный цветной жилет, и, словно в тележастике, прядает из дыры адское не то щупаль-це, не то жало. И отшатывается в ужасе губернаторская

дочка. И глупый спонсор робко прячет тело жирное в утесах.

Кроме шуток — любого, кто только проблекочет: европейский город, северная столица, — надо сразу в машину с мигалкой и сюда, на Московский, 100, на Новодевичье. И отсюда, если что, в другой машине — на Пряжку.

Но лемма Венички Ерофеева действует безупречно: как разводится политура — это всякий младенец знает, а где похоронен Тютчев — никто. И где — Некрасов. И где — Врубель.

В двадцатый — в тридцатый — как бы то ни было, в последний раз погружаюсь в этот стереокошмар, впоследствии попробую изобразить. К ничьей, однако же, культуре или морали не взываю более. Тут все так непоправимо, так непристойно скверно, что следовало бы оставить как есть. Да только не оставят: Пошлость и Деньги уже прихлынули, поглощая поверхность, за участком участок.

И, скажем, где была церковка, поставленная славной красавицей Авророй Шернваль фон Валлен (стихи Баратынского, демидовские миллионы) над могилой Андрея Карамзина (смертью храбрых на Крымской войне, в какой-то особенно неудачной атаке), — уже разлегся нынешний номенклатурный гранит.

Выплывают из углов бордюры да палисаднички — как бы надувные спасательные плоты. Над хлябью, в которой перемешались петербургские косточки — сколько их, Ванечка? двадцать две тысячи скелетов, вестимо, — и пила дровосека раздается.

Это, знаете ли, такой лесоповал на каменоломне.

В последней четверти XIX века сей приют облюбовал для себя средний класс, военно-ученая прослойка. Люди солидные, с заслугами: кто бухту открыл на Тихом каком-нибудь океане и своим именем назвал, кто Повивальный институт в Петербурге придумал и устроил, кто словарь составил, кто бригадой артиллерийской командовал, кто издавал журнал. А также их жены, дети, родня, короче — круг.

Типа Екатерины Керн — дочери гения чистой красоты от боевого генерала. Которой Глинка написал романс про чудное мгновенье.

Или Михаила Давыдова — измайловского просто поручика, но чей дедушка был знаменитый гусар.

Не великосветские (те пожалуйста в Лавру), не демократы, по которым плакало Волково, — сплошной Чехов, скучная история.

Перебирались они сюда из приличных квартир и располагались прочно, надолго. Над могилой, на высоком каменном фундаменте — часовенка или склеп, а если просто памятник — то тяжкая скульптура. Вокруг — решетка, само собой.

Дешевых и бесплатных участков не было. Цены — от 500 до 50 рублей. Плюс уход. Новодевичий монастырь и городская управа гарантировали вечность. Сохранились квитанции.

Например, дочь действительного статского советника профессора Полотебнова в 1915 году внесла за вечный уход за могилой родителей 600 рублей и за вечную окраску решетки — еще 600.

Не знаю, как вам, а мне зрелище разверстой — вскрытой и так брошенной — могилы представляется неизъяснимо непристойным. Словно изнасилована сама смерть.

Из двадцати двух тысяч могил — двадцать тысяч снесены до основания, бесстыдно заросли жадной травой. Разве что блеснет под ногой грань опрокинутого, захлебнувшегося грязью камня: «*Господи, да бу...*» А главный жанр такой: прямоугольный фундамент — наподобие то ли колодца, то ли корыта, — могила вычерпана до дна — из обломков ржавой арматуры, из каких-то бутылок растет себе древесный ствол (чаще почему-то клен) — и все подернуто опять же сорняком — долговолосым, цепковолокнистым. Рядом валяется одорукий крест — или обезглавленный; обломок мраморной доски с обесцвеченным шрифтом.

С десяток надгробий уцелело. Еще десятка три нахлобучены на могилы кое-как. С Аполлона Майкова свин-

чен бронзовый медальон. С Врубеля срублен — не знаю, кто там был — мраморный, черный?

Сколько-то могил фальшивых. Раз уж по бумагам числятся за Новодевичьим Андрей Дельви́г, Константин Фофанов, Михаил Чигорин — извольте получить: каждому по дощечке, только правописание, уж не взыщите, советское.

Тютчева, и с семейством, подновили. И только Некрасов — один-единственный — стоит, как был. И надпись цела — что-то такое: мы, прогрессивные твои современники, торжественно обещаем, что когда-нибудь русский народ, прозревший и просветленный, прочитает тебя, и поймет, а может статься, и полюбит.

Собственно говоря, это место преступления. Место аферы века. Пока, значит, Брежнев утюжил Чехословакию, Толстиков — или как его там звали — двинул свои бульдозеры-скреперы на Новодевичье. 16 сентября 1968 года Ленгорисполком постановил — «ликвидировать могилы, которые не содержатся родственниками, и убрать надмогильные сооружения, не представляющие художественной и исторической ценности».

А родственники всех этих Гагариных, и Невельских, и Отгов — не говоря уже о фон-Дервизах, Ребиндерах и каких-нибудь супругах Поясницыных, — были, сами понимаете, очень далеко. Но внуки их лакеев, просветленный народ, отлично разбирались в ценностях. И содрали надгробия — все, чохом — наголо. Свезли мрамор и бронзу в груды — в многоэтажную пирамиду. Шустро спроворили распродажу налево — по бросовым (официально) ценам. Операция называлась — выбраковка бесхоза.

Поэта мести и печали оставили напоследок — благо он у самых ворот, под рукой. Вот и не успели оприходовать: сигнал в Москву (его же в школе проходят! его сам Ленин цитировал!) — сигнал из Москвы («цыц!») — бульдозеры-скреперы растащили отощавшую пирамиду, разбросали обломки памятников как попало, начальники поделили добычу и разбежались, оставив потомкам вот

этот самый ландшафт. Музей погрома под открытым небом. Вандалон.

Броди, европейский горожанин, запинаясь на обломках, проваливаясь в ямы. Слушай, как лязгает за оградой товарняк (заводской же двор). Разбирай под плесенью имена посмертно униженных и оскорбленных.

Зимой еще ничего: пустырь как пустырь и на нем руины как руины. А летом драная изнанка вечного покоя наводит такую тоску, что становится наконец даже смешно.

Сам себе декламируешь погребальную словесность.

Типа: *Покойся, милый прах, до радостного утра!*

Или еще лучше (гениальных эпитафий по-русски все-то штуки четыре):

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних годах.

Вот жребий наш каков!

Живи, живи, умри — и только что в газетах

Осталось: *выехал в Ростов.*

Смирись, короче, прохожий. Этим не повезло, а с тобой то ли еще будет. Смерть и сама-то, между нами говоря, хамка, каких мало, — а бессовестные дураки — всего лишь ее шутовской кордебалет.

Все равно это, наверное, правильно — составлять словари, наносить на карту разные бухты-барахты — в газетах, на худой конец, писать. Хоть и банальность сказал Александр Блок вон в тех зарослях крапивы — над Врубелем:

— Творчество было бы бесплодно, если бы конец творения зависел от варвара-времени или варвара-человека...

Банальность, и превыспреннюю.

Равно как и у Некрасова на позеленелом тулове полная ерунда: шейте качественно, и население объявит вам благодарность.

Но вот немного подале — где начальство приказало на случай появления иностранцев трын-траву все-таки при-топтать и присыпать песком — зарыт череп, в котором

помещался ум, предвидевший настоящую судьбу. Поскольку другой не бывает, и не надо:

Как исчезает облак дыма. На небе тусклом и туманном. В осенней непроглядной мгле.

Знакомые лица БОМЖ

Вообще-то, гулять зимой — из всех петербургских литераторов любил только Пушкин. Понятия не имею, отчего на морозе не ныли у него пальцы, не съеживались мускулы, не изнемогала от безумной спешки душа.

Шуба и личный транспорт с медвежьей, допустим, полостью — ответ не полный.

Блок тоже носился по городу на санях, причем ночью (правда, почти всегда не один), — однако же понимал, что такое холод, — и, например, что пешком отсюда, с Васильевского, не дойти в такую погоду, даже выпив. Сострадал, чуть не плакал:

А берег опустелой гавани
Первый, легкий снег занес.
В самом чистом, самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

Как раз нынче у Блока день рождения. На первом, на легком снегу среди пластмассовых цветов горит церковная свечка. Но в могиле — ничего, никого, надпись на камне аккуратно лжет.

Все равно как в первые советские годы дверная табличка с именем и званием хозяина квартиры: дескать, здесь проживает такой-то, он самый, вы не ошиблись, смело дергайте медную ручку звонка. На самом же деле того, кто вам нужен, навсегда увели из дома.

Привезли, например, на Смоленское — не обязательно мертвым, наоборот: поставили в шеренгу таких же дрожащих (знакомые все лица) над ямой — от могилы Блока (тогда — настоящей) шагах в десяти. Ну что, граждане служители культа? Отречемся наконец от старого мира?

На размышление — минута. Кто раскаивается — чисто-сердечно! — что по заданию мировой буржуазной закулисы злостно впендюрил трудящимся сказку про так называемого Христа, — шаг вперед! Остальные — шаг назад.

Якобы сорок священников закопаны живьем.

Не исключено, что под стишок со смешком — из поэмы Блока «Двенадцать»:

— Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

И над тоже условной могилой тоже пылают свечи. Но — каждый день — и много.

Большому Дому подтвердить легенду — влом, опровергнуть — слабó. Да и как опровергнешь? Кто же не знает, с каким азартом мочили в сортирах лиц духовного звания в 1922-м, скажем, году? Архиепископ Кентерберийский взывал к палате лордов: их убивают! спасите! помогите! Требуйте расследования!

В ответ советская власть: ай-я-яй! это же самое настоящее, притом бесцеремонное, вмешательство в наши внутренние дела! А как бы, интересно, вы посмотрели на «предложение со стороны советского правительства отправить в Англию небольшую комиссию для выяснения того, в какой мере иерархи различных англиканских церквей эксплуатируют материально и духовно трудящиеся массы для поддержания господства эксплуататоров?»

Но среди своих, в Политбюро, дедушка Ленин — отдадим справедливость — был не иезуит, а изувер: церкви, лавры грабить и грабить! а кто пикнет — молись! «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше...»

Так что хочется верить, что митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин все-таки, прежде чем был где-то тут зарыт, получил милосердную пулю.

Очень симпатичный был человек — владыка Вениамин. Остроумный. При его аресте присутствовал предатель Введенский — явился вместе с чекистами, чтобы

принять дела. И, войдя, сунулся было под благословение. А владыка ему — спокойно и вежливо:

— Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду.

Смоленское кладбище помнит своих врагов. Единственное место в Петербурге, где политическая жизнь еще теплится. Стоит часовенка, свежоштукатуренный такой как бы буфет, — и мраморная доска на задней стенке крупными буквами разъясняет: дескать, сооружение сие воздвигнуто на сем месте взамен престола Св. Троицы, оный же храм разобрала на кирпичи безбожная власть.

С друзьями, конечно, хуже. Взять Дружинина, Александра Васильевича: он и жил тут рядом — окнами прямо на кладбищенские ворота, — и посещал часто, и описывал в своих фельетонах (зачитаешься! моему архипелагу не чета), и завещал, чтобы положили тут. И вот, надо же, пропал с концами. Есть такое — смешное, в сущности, выражение: могила утрачена. Ни малейшего шанса разыскать — поскольку и «поповский архив» изъят госбезопасностью. Бедный Александр Васильевич! Вы небось, как человек одинокий, надеялись на вами же придуманный Литфонд: присмотрит, не даст памятнику обрушиться, цветочкам — завянуть? Напрасно: давным-давно уничтожен ваш Литфонд, а одноименный советский приватизирован такими деятелями, которых даже вы, при всей гуманности, просто вынуждены были бы отправлять в полицию для наказания на теле каждый божий день.

Зато, полагаю, вам приятно будет услышать, что повесть ваша «Полинька Сакс» все еще жива. И сюжет, и ход чувств, и последние страницы... Мало кто после вас написал на русском языке про любовь лучше.

Расплылась в мокрой земле (под снегом тем более не отыщешь) и Аннинская дорожка. Не найти того участка, где юродивая Анна расстелила свой платок и попросила отслужить по ней панихиду. Ни могилы, ни часовни над ней. Если где и мелькает тень этой женщины, то лишь в романе «Преступление и наказание» (да и то, наверное, вижу ее только я) — когда Катерина Ивановна

Мармеладова на набережной канала Грибоедова пляшет и поет, и по-французски говорит — и падает, падает без сознания в желтую на булыжниках пыль.

Блаженной Ксении повезло несравненно больше (хотя была, как и Анна, лицо БОМЖ, но своя, подвизалась в основном на Петроградской, на Васильевском). Часовню хоть и закрыли в 1940-м (паникадила, подсвечники и проч. — во Вторцветмет, иконы — на дрова, причем икона с изображением самой блаженной для верности сожжена на месте), — однако ж не снесли. Просьбы и жалобы от населения по-прежнему принимаются как в устном, так и в письменном виде, — и, судя по всему, люди доверяют Ксении Григорьевне куда больше, чем, допустим, Валентине Ивановне.

В целом же Смоленское — ландшафт памяти, личной и народной; прямо фотография (сейчас, естественно, — черно-белая): на первом плане лепятся как бы гранитные соты, но уже в третьем-четвертом ряду — провалы, а дальше — пустыри. Кого унесло наводнением, кого — государством. Тысячи безымянных бугорков над неизвестными солдатами жизни. А всех покойников тут, в этом сорном, вечно мокрому лесу, — миллион.

С севера подступает промзона, на западе хмурится из высотных стеклопакетов элита: кому охота за свои гринь вместо равнодушной, зато хоть прекрасной природы постоянно терпеть в поле зрения *memeto mori!*

«Считая такое положение совершенно недопустимым, Госсанинспекция настаивает, чтобы в 1937 году территория б. Смоленского кладбища была распланирована со сносом могил и остатков памятников, благоустроена и использована под сад общего пользования».

И личную мою прабабку с ходу благоустроили заподлицо.

Чартерный борт до 37-го еще в воздухе — еще лететь и лететь. Но лично я, учитывая рост цен на землю, не сомневаюсь: рано или поздно здесь будет аквасад! И казино, и фитнес, и боулинг, и какие там еще бывают — опять же по Заболоцкому — курятники радости.

И вечно будет скитаться между ярких стеклянных стен,
прячась в сумрак, дыханием согревая прозрачные ладони,
Василий Кириллович Тредиаковский («могила утеряна»).

Несчастливая жертва невежества российского! Сколько
досталось ему обид!

Последняя случилась не дальше как в прошлом году:
устроили выставку-продажу бездарного новодела, из ко-
торого и выбрали петербургский гимн! А про текст Ва-
силия Кирилловича никто и не вспомнил.

Ах, какой у него текст! Все на свете михалковы долж-
ны были бы Тредиаковскому круглосуточно печку то-
пить, ноги мыть и воду пить.

Преславный град, что Петр наш основал
И на красе построил толь полезно,
Уж древним всем он ныне равен стал,
И обитать в нем всякому любезно.
Что ж бы тогда, как прйдет уж сто лет?
О! вы, по нас идущие потомки,
Вам слышать то, сему коль граду свет,
В восторг пришед, хвалы петь будет громки.

Три следующие строфы можно и пропустить, они —
про свободу передвижения: как славно пожить за грани-
цей! Вкусы, разумеется, различны: кто любит Рим, кто —
Венецию, кто предпочитает Амстердам, кто — Лондон;
само собой, что царица городов — Париж; но и другие
замечательны. Стихами говоря:

Все сии цель есть шествий наших в них,
Желаний цель, честное наше странство...

До чего приятно петербургской зимой в компании по-
нимающих людей припоминать чужие города:

Сей люб тому, иному тот из нас;
Как веселил того, другой другого,
Так мы об них беседуем мног час,
И помним, что случилось там драгого...

Но это все — так, для эффекта патриотической анти-
тезы. А суть: когда-нибудь, не сомневайтесь, все будет

наоборот — иностранец валом повалит к нам, в дельту Невы. Поскольку такой красоты и культуры, как здесь, не увидит больше нигде:

Но вам узреть, потомки, в граде сем
Из всех тех стран слетающихся густо
Смотрящих всё, дивящихся о всем,
Гласящих: се рай стал, где было пусто!

Такой восхитительной утопией пренебрегли, глупцы!
На Смоленском этот текст согревает не хуже коньяка.
Солнце, снег, церковь лазоревая, верующие так и спуют.
Почти что весело, если бы не колотун.

СТИЛЬ ВЛАСТИ. ВЛАСТЬ СТИЛЯ

Окончательно перестал что бы то ни было понимать в окружающей провинциальной действительности. Просто ум расшелся. На все сигналы из так называемого информационного пространства ответ один, как у бедной Агафьи Тихоновны:

— Пошли вон, дураки!

Вот сообщают: правительство города сочло необходимым срочно истратить 230 миллионов рублей на очередную реставрацию Невского проспекта. Правда, денег хватит, по ихним расчетам, всего лишь от Адмиралтейства до Фонтанки... Ну скажите: что это такое?

Опять, выходит, мочало развеивается на колу?

Не на наших ли глазах в этот самый асфальт вот буквально только что закатали — года два не давая шагу ступить — по крайней мере вагон валюты? И вот опять — салфет вашей милости, снова-здорово: подземные коммуникации — кто бы мог подумать, — гнилье! двory, оказывается, — сплошная клоака! В чем и убедилась специальная комиссия. Причем, видимо, не из марсиан, а поголовно из тех же самых хоз-ком-жил-строй-ремонт-честняг, которые так удачно освоили предыдущий куш.

Но те-то деньги были иностранные, то есть вроде как ничьи. Европейский как-бишь-его-банк должен был знать, на что шел: достаточно взглянуть в окно, подъезжая к Московскому вокзалу. А теперь благоустраивать центр будут прямо из бюджета. Который, впрочем, возрастет — в бухгалтериях кипит работа: уже июльские счета должны нас изумить.

Видимо, Невскому на роду написано было стать самой дорогой улицей на свете. Хотя и упомянутый пустырь у вокзала тоже не ударит в этом смысле лицом в грязь.

Да черт бы с ними, пусть воруют, мы привыкли. Раздражает иезуитизм. Постоянные эти увещевания, что все идет хорошо, а будет еще лучше, и нечего, значит, наводить тень на наши достижения. Что бы ни случилось — хоть самое ужасное, — тотчас воздвигается откуда ни возьмись значительное лицо: не толпись! разойдись! без вас разберемся, хотя и так ясно, что все нормально!

Ночью зарезали студента из Ливии — наутро компетентный вице-губернатор внушает прессе: главное — не примите по ошибке за эксцесс расизма; убийство как убийство, самая обыкновенная уголовщина...

Откуда, спрашивается, это так точно известно? Разве преступник арестован? Или по телефону кому надо позвонил — успокоить насчет мотива?

Днем выясняется, что и таджикскую девочку весной зарезали «из хулиганских побуждений, а не на почве национальной розни», что преступление (слушайте, слушайте!) «носило спонтанный характер». Сперва выступает в этом духе прокурор, за ним начальник криминальной милиции, к вечеру и для губернатора становится «очевидно, что... не было никакой национальной основы». Как это может быть очевидно задолго до суда? когда и злодеи-то еще не все пойманы?

То есть, разумеется, я согласен, что тринадцать ножевых ударов может ни с того ни с сего (спонтанно!) получить в нашем городе (и не в нашем) буквально любой ребенок, не обязательно черноволосый и смуглый. Но зачем вы пытаетесь меня уверить, будто черноволосые и смуглые подвергаются в Петербурге не большей опасности, чем альбиносы? — ведь это неправда.

Это уж не знаю, кем надо быть, чтобы искренне думать: у нас тишь да гладь и дружба народов. А как надо презирать людей, чтобы с важным видом, как бы с высоты гос. истины, говорить им такие вещи!

Но ничего не поделаешь. Такой установился стиль. Покойный А. Т. Твардовский когда еще говаривал, что люди в России разделяются на тех, кто прочитал «Капитанскую дочку», и тех, кто не прочитал. В наши дни вторая категория полностью возоблудала.

Но Пушкин, к счастью, никуда не делся. По случаю 205-летия перечитал я «Графа Нулина» и «Домик в Коломне» — советую и вам. В обеих поэмах, особенно в «Домике», — безмятежная такая улыбка всемогущего волшебника: смотрите, как речь сама собою ложится в стихи, без малейшего усилия с моей стороны! как из стихов получается что-то похожее на жизнь, только гораздо лучше! Пушкин не скрывает, что и сам убежден: человеку такой фокус не под силу. В скромность не играет. Тихо наслаждается абсолютной властью, несметным богатством — и явным, реальным присутствием некоего божества.

Какой ум! Какое благоволение ко всему сущему — кроме палачей и шпионов! Какая унижительная слава при жизни, какая слащавая — потом!

К слову: заметили ли вы, что Скупой рыцарь — могильщик капитализма? Враг денег? Типичный, так сказать, антимонетарист? Его идея — собрать все деньги, чтобы вывести их из обращения.

А где, по-вашему, тот пункт на берегу пустынных волн, из которого глядел вдаль будущий Медный всадник? Помоему (недавно догадался) — на взморье, на окраине Васильевского, точно там, где зарюют бедного Евгения: поэма совершает полный круг.

В общем, есть о чем поразмыслить, пока вокруг такая тоска и жестокость, глупость и ложь.

Пока в России разрешают свободно читать Пушкина — будем верить, что потеряно не все.

Июнь 2004

НАШЕ НИЧТО

Крыска бежала, хвостиком махнула, проводки замкнула — и Новая Голландия загорелась.

В ночь на пятницу казалось, что это катастрофа — пламя облизывало облака. Утром я обежал островок: по периметру все стены практически целы. Плохо выглядит юго-восточный угол — справа от Деламотова портала (коринфские колонны почернели) — в упор к Матвееву мосту. Там один из этих огромных амбаров, придуманных (Чевакинским), чтобы корабельный лес не лежал в них, а стоял, — пострадал сильно. Что-то такое видишь — против воли, — отводя взгляд от сбитого автомобилем интеллигентного старичка: расколотые очки на мостовой, нога в дырявом носке, нищенское под приличным пальто исподнее, бесконечная беспомощность. Вот и этот амбар — осунулся, ссутулился, распахнулось унылое нутро, где мрак и мусор.

Виновать некого и надоело, пожар и рак — неотразимые средства судьбы.

А все же я призадумался, услышав официальное: что в этом амбаре — и в остальных — на всех этих складах ВМФ — ничего не сгорело. Потому что ничего не было. Вот уже полстолетия хранится в них пустота.

Одетая старинным кирпичом пустота. Режимный объект. Разводы караула, все такое. Пост сдал — пост принял. Только сунья, внешний гад: первый выстрел — в воздух, второй — на поражение. А устроить на островке романтический, к примеру, парк с детскими аттракционами — шиш вам, вредители, наймиты империализма!

покушаетесь ослабить могущество державы? не выйдет!

И так десятилетие за десятилетием: ничто на замке! не отдадим ни пяди нашего ничего! (Хотя по знакомству и нужным людям кое-что подсадали, это само собой.)

Прямо символ какой-то.

И происшествие грустное.

Но не возопим наподобие Ахматовой: о горе мне! они тебя сожгли!

Да, красивый был уголок, излюбленный, даром что недоступный. А все равно этот пожар — ерунда, как сравнишь с Юкосом. А Юкос — почти такая же ерунда по сравнению с Бесланом. Печальный год, позорный год. Какой исторический факт ни припомнишь — видишь угрожающе оглядывающегося хищника с окровавленными клыками, слышишь яростный рев.

Раньше я воображал, что это — государство. Механический такой динозавр, и у него бракованная микросхема в проржавевшем мозгу.

Теперь наконец-то вижу (век живи — век учись): какое там! какое государство! Просто чины. И чин чина почитает. Всеми способами. Включая, наверное, разумные и законные, но это как-то не бросается в глаза.

Вот и весь секрет нашего ничего. И лучше его не знать. Лучше, как мы (и как советовал Бродский), жить в глухой провинции у моря. Здесь все такое незначительное, что почти не страшно.

Здесь первое лицо награждают медалькой за услуги, оказанные госбезопасности, причем вручают медальку публично, — и первое лицо кланяется и благодарит.

Здесь, конечно, как и повсюду, режут смуглых, узкоглазых, черноволосых, — но каждый раз объявляют, что это нетипичная случайность, и как только будут опять повышены милицейские оклады, все пройдет.

Здесь все еще делят недвижимость — и кому подсыпают яд, кому отрубают голову (обычные споры хозяйствующих субъектов), — но проигравший, будучи

трупом, не плачет, а тайна выигрыша охраняется как бы законом.

Здесь только две горячих точки — зоопарк и союз писателей. Кому возглавить заключенных животных? И как приучить разномыслящих кудесников слова питаться объедками из одного корыта?

(Разномыслие, кто не знает, касается популярного стиха; одни предпочитают политкорректный вариант: лицо еврейской национальности по веревочке бежит, — а другие напирают на рифму; но запах со дна корыта и сладок и приятен; кроме того, есть специальные персонажи — вхожие в Смольный; они за эту вхожесть повенчают с лягушкой хоть кого.)

В общем, почти что пастораль. Только от одного эпизода повеяло большим современным стилем. Это когда на как бы суде над членами группировки Шульц-88 (кто такой Шульц — понятия не имею, а цифрой, говорят, зашифрован Гитлер; славные, должно быть, ребята) главный обвиняемый: требую, чеканит, очной ставки с экспертом, который усмотрел в наших лозунгах и действиях не одну лишь патриотическую невинность! Ему говорят: вы же знаете, что эксперт — Николай Гиренко — убит, причем, по совпадению, тоже патриотами; по совпадению же — в аккурат как только усмотрел. А этот, значит, 88-й Шульц в ответ: меня не касается! по закону он обязан ответить на мои вопросы! подать Гиренко сюда! Или назначайте новую экспертизу, а эту — в мусоропровод. Правовое или нет наше поле, в конце-то концов?

Угадайте, чью сторону взял прокурор. Правильно.

Сочельник, вечер. Шлепаю по грязному тротуару (не Хельсинки) темной улицы (не Стокгольм), подбиваю сальдо городского года. Вот Гиренко убит. И пятилетняя таджикская девочка. И еще кое-кто.

Зато устранен Размыв.

Многие, подобно мне, станут с 1 января заметно бедней (транспорт и коммунальные тарифы).

Зато голова свободней: хотя бы за счет местного радио и пресловутого Пятого телеканала. Пошлость такого

высокого напряжения: не включай — убьет! Да и центральные не отстают.

Новая Голландия погорела. Но зато, без сомнения, теперь-то войдет в рыночную экономику и, более того, станет демилитаризованной зоной.

Короче, все ничего.

Ничего ничему ничем ни о чем.

27 декабря 2004

ЖЕЛЕЗНЫЙ БУЛЬВАР

Учиться взвешенным высказываниям. Типа: производство снега в нашем городе слегка сократилось, но зато наблюдается уверенный прирост грязи; а это, что ни говорите, тоже национальный продукт.

Сравнивая жизнедеятельность местной политфауны с процессами на других меридианах, не обольщаться географической спецификой, а цедить через губу: все хороши голубчики, повсюду одно и то же.

Взять хоть пресловутый парламентаризм. В России он похож на водное поло. Только вместо хлорированной H_2O — конвертируемая валюта, и ворота — одни, причем пустые. Рассекая, стало быть, упругую среду — то погружаясь в деньги с головой, то выныривая (отфыркиваясь, как тюлени) — игроки поочередно забивают голы. Стадиону. И счет, естественно, всегда сухой.

Разумеется, это смешно: когда машина, требующая на одно лишь техобслуживание миллиарды и миллиарды рублей, производит такие изделия, как последний закон государства Российского.

Который гласит: азартные игры в тюремных камерах воспрещаются, за нарушение — штрафной изолятор, 15 суток.

Да, не такой уж могучий акт юридической мысли. Мозг нации, размещенный аж в четырехстах черепных коробках, должен, по идее, обладать кругозором пообширней, чем у коридорного надзирателя.

Но, во-первых, он себя проявит еще не так; будет нам и белка, и свисток, и стопроцентная солдатчина, и квартплата больше зарплаты (чтобы, значит, население не мешало переезжать из лубяных жилищ в ледяные).

А во-вторых — палата, например, общин в хваленной Англии тоже занимается черт знает чем. Открыто защищает интересы лис. Докатилась до запрета на охоту — под надуманным предлогом: дескать, отнимать жизнь, даже у рыжих, — якобы некрасиво. Хотя подоплека очевидна: просто-напросто страждут озими от бешеной забавы, вот лобби ленлордов и расстаралось.

Но это еще что! А итальянская палата депутатов чего удумала? Non, видите ли, fumare! В смысле — по smoking! Нигде. От Рима до самой до Адриатики.

Это же у скольких людей на планете (признаюсь: в том числе и у меня) накрылась мечта. Мало ли что бывает, думали мы: вдруг на улице сам подкатится под ноги набитый долларами кошелек, или нобелевку присудят за красивые глаза, — и тогда на старости лет махнуть на Апеннины, погулять недельку по Флоренции, прах ее по-бери; в каком-нибудь, не знаю, Бриндизи либо в Римини на лавочке у фонтана посидеть, одной рукой придерживая фляжку; а в другой — сами знаете что.

И вот, пожалуйста: вместо Италии на карте сияет перевернутый медный таз, — вместо Ирландии, кстати, тоже, по той же причине, — а вдобавок и дома не размечешь в СИЗО фараон. Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский. Нет в жизни счастья человеку с вредными привычками.

От грустных мыслей — чтобы не впасть, как обычно, в неконструктивный негатив, а то читатели жалуются, — спасаюсь на улицу. В конце концов, и Северная Пальмира, городок наш, — ничего. Не уступает, говорят, Флоренции. А теперь и превосходит: по крайней мере, до штрафа за сигарету пока еще не додумались. То есть додумались, конечно, да только милиционеров на всю страну — два миллиона; прочих вооруженных лиц у государства — миллиона три; частных охранников — миллион... Короче, руки коротки, кишка тонка: нас, табакуров, больше, и мы не итальянцы. По пустякам не беспокоимся: капитализм там, социализм, силовики — боевиков, боевики — силовиков, ворократия-дурократия, — но если заденут за живое, пойдут клочки по закоулочкам.

Так вот, выхожу с Харьковской на Старо-Невский — батюшки-светы! Сколько живу, напротив был скверик, точнее — садик. Шагов десять на тридцать. Дюжины полторы тополей, под ними штук семь скамеек; общественный туалет в нерабочем состоянии (правильней сказать — в имперском: ни воды, ни света, но стены целы, и дух по-прежнему силен); все это с двух сторон обнесено чугунной решеткой, с третьей — возвышается брандмауэр, а четвертая отступает зигзагами в чей-то двор.

Представьте же: решетка невредима, туалет неколебим, — а деревьев и скамеек след простыл! Не поверив глазам, перешел Старо-Невский: точно. Все выкорчевано и аккуратно так утрамбовано заподлицо.

Не поддаваясь панике, рассуждаю взвешенно: надо думать, это новообразование мое муниципальное начиталось Достоевского и под лозунгом «Красота спасет мир!» постановило перепланировать пятно бедной послевоенной зелени. Здесь, наверное, будет маленький Версаль. Тополя вступили в пенсионный возраст, туда и дорога, на смену им явятся вскоре легкие липы; обнажившуюся штукатурку брандмауэра можно затянуть плющом; там и сям кусты разноцветных роз в густой, тугой траве; вдосталь скамеек, изящных и удобных; и, само собой, туалет — недреманный, как Государственная Дума. Единственный, между прочим, от Лавры до вокзала. И вообще, скверов на протяжении целого Невского только три, считая наш. Не могли же любители Достоевского продать его под, скажем, застройку. Да никто им и не позволит.

А некий внутренний голос перебивает: ох, могли! еще как могли! ох, позволят им! еще как позволят! Недаром прилегающий переулок давеча вымостили плиткой, опять же срубив старые тополя, заместив чахлыми новобранцами.

Прошелся и переулком. Гляжу — номерные знаки-то на домах — новенькие: оказывается, не переулок это теперь, а бульвар. Тележный бульвар, представьте. Звучит?

Надо сказать, в XIX веке и вплоть до 1933 года это был переулок Железный. Потом его переименовали в честь

Железный бульвар

соседнего — который расползся вширь, сделавшись обыкновенным проходным двором. И вот новый поворот судьбы. Ох, боюсь, неспроста. Не первый год на рынке живем: стратегию рекламы, спасибо говорящему ящику, понимаем. Квартира на бульваре, хоть бы и Тележном, стоит, ясное дело, дороже, чем в бывшем Железном переулке.

На Железный бульвар, однако, фантазии не хватило.

Что ж! прощай, садик! Любопытно было бы узнать, сколько ты потянул, скажем, в евро, причем не по документам. Хватит ли, чтобы кто-нибудь съездил в Италию, кто-нибудь некурящий? А впрочем, все равно. Главное — никаких азартных игр в местах лишения свободы!

21 февраля 2005

МИНУТА

Пятница начиналась так себе. То есть ничего такого особенного, просто случилось пройти двором бывшего ДК Дзержинского, культурно-милицейского центра теперь.

Двор, кстати, примечательный: в 1913-м, что ли, году здесь был арестован некто Джугашвили. К несчастью, он был без оружия, сопротивления не оказал. А оказал бы, да будь на месте царской полиции — наша, — фиг бы остался в живых, с его-то внешностью. Не доехал бы до Туруханского края, а значит, не убежал бы оттуда, — и вся-то наша жизнь была бы иной.

Сейчас во дворе весело галдела молодежь обоего пола в мышинного цвета мундирах. А стены старые, кирпичные — отражают мат удивительно звонко; такое чувство, словно за шиворот сыплется мусор из окна.

Я и сам немного владею этим орудием жизненной борьбы, при случае применяю. В наше суровое время без него, похоже, в детском саду и то никуда. Не говоря о семье и школе. Лично видел и слышал, как девочка лет пяти кричит вслед убегающей другой такой же:

— Верка! Ты — пи-да-рас!

Эти, в мышинном, тоже недавно были дети. Позавчерашние школьники. Случайно выяснилось: полчаса назад приняли присягу. Небось почти никто из них еще ни разу не ударил человека, как следует, — скажем, связанного, ботинком по голове. Стараются хотя бы манерами походить на старших товарищей — это совершенно простительно. Тем более, вокруг — никого, кроме воробьев, голубей, каких-то старух, какого-то меня.

И все равно немного неприятно. В общественных местах в рабочее время госслужащим стоило бы, по-моему, соблюдать так называемые приличия.

А у нас — снизу доверху всё начистоту, нараспашку, каждый так и норовит блеснуть наготой.

Вот начальник «Единой Кормушки» на этой неделе брякает: в новой московской Думе, — брякает, — все кресла будут наши! Ну что ему стоила капелька лицемерия? Сказать — были бы наши, если бы Конституция допускала, — и взятки гладки. А он сплеча, словно и впрямь уже генсек передового отряда трудящихся, только усы осталось распушить да соратников расстрелять. Таковую-то прямоту — а не только речевой обиход ВВ — и называл сквернословием дорогой мой М. Е. Салтыков-Щедрин.

О начальники, будьте лицемерны! Прислуните, так сказать, к индикатору ваших способностей малюсенький фиговый листок, — уверяю вас, этого хватит.

...Что-то такое, угрюмое, думал я, продвигаясь по городу на Васильевский остров, где была мне назначена важная встреча. Прибыл вовремя — но встреча отложилась на несколько минут, — я вышел покурить, побродить — и нечаянно-негаданно был вознагражден. О, как я был вознагражден!

Сделав буквально несколько шагов, я оказался в глубине квартала, ровно посередине между двумя линиями. Передо мной возникло удивительное здание, флорентийских каких-то пропорций, с огромными арочными окнами, увенчанное треугольным фронтоном, а на фронтоне — лучи Господней Славы, стремящиеся из центра, обозначенного латинскими буквами (сложить их в слово мне не удалось).

Несомненно, храм — но похож на замок, поскольку стоит на высоких полуподвалах и войти в него нельзя, иначе как поднявшись по ступенькам на крыльцо, — но ступенек не стало, крыльца как не было; сооружение неприступно, необитаемо — думаю, даже не загажено. Впрочем, окно полуподвала открыто — вроде бы там столярная мастерская; хрипит радиомузыка.

Перекрикивая, зову мелькающего в глубине чело- века:

— Не подскажите ли, — (подделываюсь под иногород- него туриста, вообще под личность прозрачную: без этой заискивающей приставки примут черт знает за кого — за шпиона, еврея, журналиста — и как шуганут!), — не под- скажете ли, что в этом здании помещалось прежде?

— Без понятия, — отвечает миролюбиво.

Слева прилеплен к фасаду гараж, но зато справа — щель. Проникаю — обхожу церковь — и оказываюсь в про- странстве, которое попытаюсь вам описать.

Итак, за левым плечом у меня — стена загадочного храма, из кирпича тянутся побеги каких-то растений. То- же было высокое крыльцо, и тоже стесано начисто. Окна целы, фронтоны — точно такой, как с южной стороны, — цел, но буквы надписи также разбиты.

За правым плечом — бурого кирпича высоченный брандмауэр, к нему притулилась помойка: груды дряни прямо на земле, — обнесенная надорванной проволочной сеткой.

Далее против часовой стрелки — тыл элитной ново- стройки: закругленная такая стена; в желтых нишах — гипсовые амфоры человеческого роста.

Прямо передо мной — что-то вроде сквера и одновре- менно спортплощадки; это явно было в свое время садом; осталось четыре или пять больших кленов; один — по центру: листья — изысканно узкие. На той стороне скве- ра — несколько строений разных времен, как незнакомые друг с дружкой; что-то приспособлено, подозреваю, под казарму, что-то — под ПТУ или техникум, а где-то и живут. Забыл упомянуть, что к неопознанной церкви я прошел через ворота (деревянные), мимо настоящей буд- ки с настоящей собакой.

А солнце светит, а небо бледно-голубое.

Короче, пронзительная получилась минута. Специаль- ного такого, сугубо петербургского счастья. Вам, конеч- но, знакомого. Когда окружающий хаос внезапно видишь как разбитую красоту высокого напряжения. Словно ты

осколок зеркала и в тебе среди бела дня отразилось неизвестное небесное тело.

На обратном пути окликаю даму в лыжных штанах, разбирающую тряпье, только что добытое из мусорного бака (у другой уже помойки), любопытствую — что за чудесная руина за углом?

— Недавно здесь работаю, — отвечает.

Разумеется, дома я бросился к справочникам, всё разузнал, — но не расскажу и адреса не назову.

Вдруг из Смольного кто-нибудь прочитает, — прощай тогда, волшебный замок, прощай, изящный клен: уплотнят квартал с ходу.

Никуда ведь не деться от их всевидящего глаза. От их всеслышащих ушей.

12 сентября 2005

БЛЮЗ ДЛЯ ДЖОРДЖА

Земля перестала вращаться вокруг Солнца. Застряла в желобке середине между зимой и осенью. Сделанные ставки не возвращаются. Не приезжай, Джордж, не приезжай.

Белых ночей больше не будет — одни бесконечные серые дни. Зелень и синева изъяты из оборота вместе с грузинской чачей. По карнизу дома напротив, под окнами второго этажа, бежит огромная крыса. Позавчера я чуть не наступил на мертвого воробушка. По телевизору крупным планом — глаза сумасшедшего главсанинструктора. Не приезжай, Джордж, не приезжай.

В Мариинскую больницу доставлен очередной покалеченный азиат — с ушибами, с переломами. Найден на улице. Бормочет — напали какие-то в милицейском прикиде. По-вашему — копы, но не заблуждайся, ничего общего.

А того негра, Джордж, — очередного — замочил, по-нашему, одиночка-хулиган. И не по злобе, а так, под пиво. Мы теперь хлопочем — где бы взять любителя пива и расколоть, как орех. Чтобы, значит, обелить репутацию родного культурного города. Чтобы, значит, некоторым неповадно было болтать про здешний ку-клукс-клан — будто он пользуется местными органами буквально как своими.

Такие разговорчики портят нам имидж — якобы мы нетолерантные, блин. А мы, блин, толерантные выше крыши: начальство принимает любую валюту, цвет не имеет значения, была бы только тверда. Не приезжай, Джордж, — ну чего ты здесь не видел?

Дама, выгуливая собачку на городском пустыре, ненароком приближается к забору, за которым воинская

часть — по-вашему база, но, опять же, не заблуждайся. В полуразложившемся сугробе — полуразложившийся труп солдата, замерзшего три месяца назад. В январе, действительно, мороз стоял сильный. Солдат, наверное, числится в розыске. Интересно, что напишет его маме батяня комбат. Ну же, Джордж, расстегивай молнию на чемодане, вынимай тапочки обратно. Не дури, Джордж.

На день твоего прибытия, конечно, разгонят облака и бомжей, перебьют ворон и собак, договорятся с крысами: чтобы не возникали. Выкрасят подряд все фасады по маршруту кортежа, лицевая стена Новодевичьего монастыря засияет наконец, укрывая деловых внутри. Разведут как маленького, Джордж, — разве не противно?

Жирный марафет на немывом теле, про которое санинструктор, даром что сумасшедший, после осмотра сказал, что оно смердит.

Спецназ репетирует — грозно дубинками стуча по щитам, — как врежется в толпу, если толпа соберется, — и схватит, которые будут с плакатами, если будут плакаты. Три водометные суперпушки закуплены за границей — ты-то, само собой, не попадешь под струю, но все равно — к черту, Джордж, пошли эту фигню к черту.

Главное — какой смысл? Здесь каждый второй спит и видит, чтобы твоя страна провалилась в океан. И специальные существа за большие деньги злорадно клохчут в эфире, что скоро провалится. Так торжествующе клохчут, Джордж, как будто собственными задами высиживают бомбу.

Братскую бомбу, персидскую. С такой радиацией, которая своих не тронет.

А чужих — ты это имей в виду — никому не жалко, и это называется патриотизм. И ты уж извини, Джордж, но американец считается у нас хуже просто иностранца. И разве что самую чуточку лучше, чем еврей.

Хочешь побыть евреем, Джордж? Хочешь прочесть в чужих глазах ожидание твоей смерти? К чему тебе такой экстрим, оставайся-ка дома, поиграй в гольф.

Когда извилины в разных мозгах — в каждом втором — параллельны, возникает что-то вроде магнитной

бури. Посторонний ум не выдерживает таких перегрузок. Продай билет, пока не поздно.

Тебе покажут академика — всамделишного, между прочим, с заслугами, говорят, в том числе и с научными, — которому было поручено подумать — причем не бесплатно, — чем бы осчастливить страну. Он подумал, Джордж, и придумал, и огласил: объявите, говорит, слова «доллар» и «евро» ненормативной лексикой, и все в России будет зашибись.

Тебе покажут, может быть, министра, которому поручено сделать как-нибудь так, чтобы каждый из нас жил в собственной квартире, а также имел бы возможность платить за нее. Знаешь, Джордж, как он изъясняется? Он заверяет — и по ящику передают звук в звук, словно бы осмысленную речь: *в этом году рост тарифов должен расти не особенно!*

Твой переводчик, чего доброго, спецрейсом отправится в дурдом, потому что здесь излагают именно как мыслят, даже когда лгут. А не лгать иностранцу — тем более американцу, — который только самую чуточку лучше — ну ты помнишь, чем кто, — ищи дурака, Джордж, ищи дурака. Это приравнивается к нелегальному переходу границы с отягчающей наркопоклажей.

В зеркале, в зеркале, Джордж, ищи дурака. Что у тебя — дома зеркала нет?

Охота была — тащиться за столько тысяч миль хлебать киселя, разыгрывать лоха, терпилу, дядю-фраера. Какие-то общие ценности перетирать. Слова о правах. Права на словах.

А здесь при упоминании об этих самых распостылых human rights — отвердевают лица. И не то что гэбэшнику, а даже, например, обыкновенному священнослужителю хочется ударить какого-нибудь ближнего своего.

Такие дела, дружище Джордж, такие дела. Зачем тебе путешествие в прошлое? Слетай лучше на Луну. Мы тут как-нибудь сами. Не приезжай, Джордж.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ХАМЕЛЕОНУ

Недаром, ох, недаром Консерв незадолго перед тем, как был укупорен, обозвал русскую образованщину какашкой.

Ну, интеллигенцию. Солженицына-то он прочитал много позже (в Мавзолее, ночами). Ну, не какашкой — большевистская лексика вертикальна, как прямая кишка.

Дело не в терминах, а в силе анализа. Данный эпитет, при всей его поверхностной уничижительности, отражает важнейшие свойства объекта. Пластичную структуру. Запах. Невероятную прочность.

Американский шаттл произвел в космосе маневр типа кувырок. Это позволило сфотографировать из иллюминатора МКС его брюхо, — и что же оказалось? На исподе крыльев — отчетливые следы птичьего помета. Который, представьте, не сгорел при прохождении плотных слоев атмосферы. При таких температурах, что, например, сталь, сколько ее ни закаляй, испарилась бы за милую душу.

Писатель Фадеев рассказывал: году в 1936-м явился к нему в редакцию (он тогда заведовал толстым журналом и по совместительству руководил Союзом писателей) один начинающий, долговязый, робкий — принес стихи. Заикаясь, попросил прочитать. По возможности — напечатать.

Фадеев прочитал. Стихи были про него — про Фадеева: какой он замечательный прозаик и коммунист.

А у Фадеева была совесть. (Не знаю, откуда взялась, но, значит, была — раз через двадцать лет его убила.) Ему стало совестно, и он молодого человека послал.

Тот послушно пошел — и попал удачно: уже в 1938-м Фадеев должен был не где-нибудь, а в газете «Правда»

провозгласить, что из советских детских стишков — стишки этого Михалкова самые советские.

Смерть и творчество Фадеева давно забыты, а Михалков только что выдал новый гимн: английской футбольной команды «Челси».

Видать, у содержателя этого коллектива (тоже ведь советский был мальчик) выиграло научно-естественное любопытство: дай, думает, проверю, насколько безотказен могучий дядин-Степин организм. Неужели действительно нет на свете ничего такого, что могло бы его затруднить? чего-нибудь такого, про что он подумал бы: это мне как-то не совсем удобно; или, скажем, не к лицу.

Боюсь, я и сам при случае с охотой отвалил бы миллиончик-другой (дирхамов! антильских гульденов! юаней!) — например, за колыбельную для моего ручного хамелеона. Просто чтобы убедиться (определенно — лишний раз): неудобно нашим людям — только спать на потолке.

Михалков стал членом ВКП(б) в 1950-м. Шостакович поступил в КПСС — даром что считается гений — в 1960-м.

Удивимся ли, что на нынешний день в «Единую Кормушку» записались 1 миллион 70 тысяч? Это же не спать на потолке. Это удобно. Еще и не всех желающих, думаю, принимают, а только испытанных предателей прежнего строя. Общественно-политического. Как сказано у Бабе-ля: в номерах служить — подол заворотить.

Удивимся ли, что его превосходительство представлен в почетные петербуржцы г-жой А. Ф.? Мало ли что на театральной сцене у нее бывает, говорят, надменное лицо. Талант, значит, такой, тренированные щеки, связки. А г-жа Т. М. фигурно катается (или каталась) — такой, значит, у нее голеностоп. Вот обе вместе — дух- и физкультура — горячо и рекомендуют. Как бы от имени вечной женственности благодарственный привет щиту, который меч. А стыдно пусть будет тому, кто помыслит об этом дурное.

Да никто и не помыслит. Из могилы на Сан-Микеле Иосиф Бродский телеграмму брезгливую не пришлет. А все остальное тонет в аплодисментах.

Тем более не моргнем глазом, когда молодое существо по кличке Дима Белан что-то такое пролепечет про свое к «Единой Кормушке» неподдельное чувство. И пожилой д'Артаньян мушкетерской шляпой подмахнет: ах, завидую! надо же, вьюноши, при какой власти посчастливилось вам жить! на которую можно положиться.

А как же. С удовольствием. С прибором.

По-моему, «Единую Кормушку» изобрел — или, во всяком случае, впервые опробовал — художник Чистяков. Примерно сто лет назад, в Царском Селе. Раз в день, в один и тот же час, он ставил посреди своей мастерской железный таз и наполнял его пшенной крупой. И мгновенно раздавался шорох, подобный грому: это сбегались к тазу тараканы, населявшие здание. И опустошали таз. Радую художника, наблюдавшего за ними с блаженной улыбкой. Каждый, чавкая жвалами, тоже небось воображал себя организмом, достойным халявы. Номенклатурным.

Однако началась революция, пшенка кончилась. Вскоре не стало и Чистякова.

Недавно такой же защитник окружающей среды обнаружился в США. Подобным же способом прикормил крыс. Ровно одну тысячу крыс. Возглавил ихнюю, так сказать, суверенную демократию. (Нам ли не понимать: крысиную по форме, социалистическую по содержанию.) Но потом утратил контроль за их размножаемостью. Соседи, услышав его вопли, вызвали полицию. Та, будучи американской, нарушила, естественно, его права. Короче, кошмар. Сплошные двойные стандарты.

Это я к слову. К вопросу о роли т. н. Прослойки в жизни подобных сообществ.

Тем громче воспоем здешний Союз архитекторов. Представьте, не выдержал — представьте, воззвал к Яркому Жакету: ну пожалуйста, ну не надо воздвигать нефтегазовый дворец 300-метровой высоты на месте Ниеншанца — где Охта впадает в Неву, — ну будьте так добры; ведь Петербург под сенью этой дуры станет городком в табакерке, лилипутской столицей; это издевательство; это, в сущности, убийство; смилуйтесь; пощадите.

Типичный экстремизм: обвинять должностное лицо в ненадлежащем исполнении. Все равно что выразить недовольство, когда рядом с вами упадет братская иранская ракета. Или братская корейская. Все равно что вслух спросить: глупость или измена?

Пока не вступил в полную силу закон, по которому за такой вопрос мне грозит срок с конфискацией книг, спешу успокоить: глупость, разумеется, всего лишь глупость. Равнозначная измене. Приравняв интеллект к экскременту, государство неизбежно глупеет — сперва год от году, потом по дням, а там и по часам, — пока не становится врагом самому себе.

Но какой фуршет закатят почетным гражданам там, под облаками!

10 июля 2006

ПРО СИСТЕМУ

Пишу, а он горит. Пока допишу — его не станет. Вы читаете, зная, что его уже нет. Взгляд не натолкнется в городском небе на его лазерный купол.

Сделанный как бы из вечернего воздуха, с огромными сияющими звездами. Подобный прозрачной неподвижной туче. Воплощающий прохладу и покой.

Купол внезапно всплывал из-за крыш в самых разных местах. Виден был издали почему-то ясней, чем вблизи. Осенял собою пространную, перенаселенную местность. Кишашую нищенской суетой, суетливой нищетой. Сплошь уставленную кирпичными комодами. В которых люди, крысы и клопы Санкт-Петербурга, поколение за поколением, проводили то, что принимали за свою жизнь.

А Измайловский — Троице-Измайловский — лейб-гвардии Измайловского полка собор Пресвятой Троицы — над всем над этим отстраненно возвышался. Не взирая вниз. Чуждый теплоте и тяжести. Одетый серебристым блеском. Хотя на закате мрамор фриза излучал розовое свечение.

Здесь обвенчали Достоевского с его стенографисткой. Отпевали Надсона. Хранили хлам.

Зданию было все равно. Здание неколебимо исполняло, как долг, свою идею. Назовем ее идеей полноты предвечного смысла. Не предавайтесь, дескать, вашим тревогам столь яростно — не будьте так смешны.

В 1834-м купол сорвало февральской бурей. Ничего, поставили опять. А теперь явился (не запылится) Человеческий Фактор — купол, пылая, провалился внутрь собора. Ничего, говорят начальники, — дадим указания,

выделим средства, — в кратчайшие сроки воспрянет как новенький.

Воспрянет, конечно, куда он денется. И будет выражать идею сходства с прежним. Размножения копированием. Идею, что все на свете можно повторить. Привет от овечки Долли.

Человеческий Фактор, между прочим, погубил на этих днях и самолет Анапа—Петербург. Не то пожалел керосина, не то недооценил опасность грозы. Не то заранее рассчитал: раз-другой в году оплатить похороны пассажиров и экипажа — обойдется дешевле, чем обновлять технику, выработавшую свой ресурс не до самого конца. Особенно если ресурс продлить — на бумаге, то есть опять же за недорого.

Зато боезапаса на бесланскую школу № 1 Человеческий Фактор не пожалел.

Это у нас теперь такая концепция. Объясняющая все. В прошлом десятилетии господствовала иная. Называлась: *это кому-то выгодно*. И устарела, как отчасти экстремистская. Поскольку предполагала наличие, во-первых, закономерности, а во-вторых — каких-то влиятельных, но злонамеренных лиц. Чьи интересы противоречат благу населения.

Однако наступила, как известно, стабильность. При которой злонамеренные лица никаким влиянием на ход дел обладать не могут. Закономерность же состоит, наоборот, в движении по вертикали от хорошего к лучшему. Значит, если все-таки что-то не так, всему виной случайность. А Человеческий Фактор — ее псевдоним.

И точно. Выйдешь на улицу — все так и есть. Да что — на улицу! Прямо во дворе висит прокламация. Списываю буква в букву, за исключением числа и адреса:

«...06 г. будет производиться спилка дерева. Кто не согласен может подойти на ул. ... с 10.00 — 12.00 ч. написать расписку о не согласии спила дерева с последующим несением ответственности за безопасность населения проживающего на этой территории, и материальной ответственности за причиненный ущерб машинам».

А? Каково изложено? С какой мстительной ненавистью. Не правда ли, Человеческий Фактор, сочинивший этот текст, недурно разбирается в других Человеческих Факторах? И обращается с ними точь-в-точь как государство. Не правда ли, судьба несчастного дерева (Расчительного Фактора) предрешена?

Когда-нибудь после г-жа Яркий Жакет, объезжая свои владенья дневным дозором, заметит свежий пень и вознегодует: это что такое? разве я не запретила истреблять почем зря зеленых друзей? Ей ответят, пожимая плечами: Человеческий Фактор; за ним, знаете ли, не углядишь; а впрочем, завтра же все будет как прежде и даже лучше.

Признаюсь, я потихоньку коллекционирую эти ядовитые грибы здешней, так сказать, ментальности (не путать с менталитетом внутренних дел!). Сушу их впрок. Просто на память.

Когда из динамиков Московского вокзала женский железный голос вещает:

— В связи с террористической опасностью пассажирам воспрещается принимать от посторонних лиц какие бы то ни было конверты и пакеты!

— Хахалю своему воспрещай, — возражаю в уме. — Или проводникам. В крайнем случае, носильщикам.

Однако понимаю, что иначе нельзя. Что если бы этот голос произнес что-нибудь помягче, повежливей, типа: господа пассажиры, остерегайтесь назойливых незнакомцев, — это был бы уже не наш Человеческий Фактор. Какой-нибудь чужой.

Кстати, бывает, что и он изъясняется с избыточной изысканностью — не сразу и врубишься. На стеклянной двери дорогого ресторана висит картонка с надписью:

«Уважаемые гости! Вам может быть отказано во входе без объяснения причин. Включая случай предварительного заказа стола».

Остановишься, перечитаешь (дежурный Человеческий Фактор придвигается поближе, напрягая под ливрейным смокингом бицепсы) — батюшки мои! а ведь этот бред

переводится на русский как-нибудь не просто, а очень просто, типа: заведение только для белых!

Приплыли, значит.

Но не важно. Формулировка сама по себе замечательная. Должно быть, такая же выведена на райских вратах. Надо бы дополнить ею — для ясности — Конституцию РФ. И начинать ею каждый школьный курс. Ни на одну минуту не забывайте, милые дети: вам может быть отказано во входе без объяснения причин!

Собор сгорел. В Пулково прибыл самолет с телами пассажиров другого самолета. Ресторан обступили бронированные иномарки. Человеческий Фактор отдыхает.

Тем временем Плутон утратил самостоятельность, перейдя на положение планеты самопровозглашенной, непризнанной. То есть Солнечная система, в которой все мы родились, упразднена. А некоторые еще стенают о распаде какого-то СССР.

28 августа 2006

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Это если постоять на Малой Морской у дома Чайковского, посчитать окна Пиковой дамы. 66 ровно.

«...И взошел в ярко освещенные сени». Не знаю, не знаю — старуха была скупа — ну, канделябр — ну, два канделябра. Как бы то ни было, факт, что попадаешь в пространство именно тусклое, даром что электричество — штука безусловно посильней свечного сала. Обступающие поверхности — сверху, снизу, со всех сторон — столь убоги, что не выдерживают человеческого взгляда, и раскрашены так, чтобы не оставалось ни малейшей надежды. А впрочем, надо еще преодолеть турникет. «Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его».

Поликлиника, поликлиника. На двух этажах — два коридора насквозь. Дюжины три дверей. Без сменной обуви категорически. Между прочим, забора крови сегодня не будет. Не больно-то и хотелось. Перепишем со стены полезные советы — «Как жить, чтобы не болеть»: «Во-первых, избегайте стрессовых ситуаций, насколько это возможно...»

Это вывешено возле кабинета кишечных инфекций. А Германн, на свою беду, свернул в другое крыло — где принимают терапевты и ревматолог.

Непонятный человек. Или, скажем так, неудобопонятный.

К тому же страшно нетипичный. Потому что чертовски богат. То-то и водится с конногвардейцами, с Нарумовыми да Томскими.

Почти что Монте-Кристо: носит при себе 47 тысяч целковых одной бумажкой. Офицеров с такими деньгами

в вооруженных силах Николая I было, думаю, очень немного. Полковые командиры, в чинах генеральских, получали от силы тысяч пять в год. А Германн небось — инженер-подпоручик. Как Достоевский.

Как Достоевский, который молил опекуна присылать ему хотя бы 10 рублей в месяц.

Про штатских вообще не говорю. Сделаться когда-нибудь столоначальником и зашибать тысячу в год было для канцеляриста Гоголя сияющей мечтой.

А тут — полста тысяч! Пушкин сам-то такого нала не держал в руках отродясь.

За границей Герцен, владея почти такой же суммой (выгодно вложив ее в разные акции), спокойно содержал семью и революцию. Потому что курс рубля начал падать только в конце 1860-х (когда Салтыков и предсказал, что скоро за рубль будут давать не пять франков и не три, а прямо в морду).

Спрашивается, кто мешал г-ну Германну репатриироваться на историческую родину, приобрести недвижимость и надежные ценные бумаги? А не то, наоборот, в России немножко еще послужить (например, на строительстве магистрали Петербург—Москва), выйти в штаб-офицеры и баре, купить именье и спокойно повышать производительность крепостного труда?

Ведь он же не честолюбец и не утопический филантроп. Деньги для него всего лишь воплощают личный покой.

«Нет! Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

(Уже бродят в мыслях: и тройка, и семерка; покой, конечно, — туз.)

Желает монетизировать свою будущность. Обустроить единоличный пенсионный фонд. Ради чего расхаживает зимой в одном сюртуке и отказывает себе в бытовых удобствах. Как вульгарный жадина. Торопливый. Неразборчивый. Готовый на подлость. Или на две — например, не только сыграть в карты без риска, но и сделаться ради этого любовником восьмидесятисемилетней старухи.

Даже на три: скажем, завести романчик с девицей, чтобы проникнуть в чужой дом, — а в случае чего, ее же и подставить — типа я не вор, а мне назначено свиданье.

То есть знакомую нам всем нормальную хроническую тревогу человека без денег Пушкин передал человеку при деньгах.

И этот-то человек — не в проигрыше, не в несчастье, вообще отнюдь не на краю — валяется в ногах у чужой тетки, произнося такие слова: умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни... не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Тут подлость, как это с ней бывает, впадает в пошлость. До правнуков, кажется, и Чичиков не доходил. Не говоря уже о том, что его афера несравненно смелей и остроумней. Зато и бизнес-план в абсолютных цифрах скромней.

Хотя и Германн, в сущности, плавает мелко. Подумаешь, 700 процентов. Прибыль, спору нет, знатная. Но как-то не впечатляет. Эффект — это когда не было ни гроша, да вдруг миллион. А сделать из 47 тысяч — 376, — при капитализме (даже слаборазвитом) не такой уж фокус, чтобы из-за этого обнажать ствол, падать в обмороки, смотреть кошмары.

Но фараон (он же штосс) — это вам не рулетка. Сорвать банк, поставив какой-нибудь пустяк, — не получится. В трех галиях максимальный для понтёра результат — эти самые 700 процентов, или «сетельва» (sept-et-le-va). Чтобы игра стоила свеч (чтобы, значит, все столпились вокруг стола и затаили дыхание), Пушкин должен был сунуть в карман герою банковский билет на первый куш.

И преплоский оказался бы анекдот, не сойди герой с ума.

Да только он не сходит. Он болен уже на первой странице. В «Пиковой даме», назло модным ужасикам, над которыми повесть смеется, — безумие не подслащено, не подсвечено мелодрамой (почему Петру Чайковскому и пригодился Модест).

Самое важное случается не в игровой зале. И не в спальне графини (где ревматолог). А в темном кабинете (где терапевт): помните, Германн там стоит, прислонясь к холодной печке?

На витой лестнице (ведущей в стоматологию) и в комнате Лизаветы Ивановны (гинекологический кабинет).

Внезапная фраза — переворачивающая сюжет и сердце! — «Германн сел на окошко подле нее и всё рассказывал!»!

Их разговор при догорающей свече.

И как он поцеловал ее наклоненную голову.

Спустился по витой лестнице, отпер боковую дверь, вышел на поперечную улицу.

Эта дверь теперь укреплена раздвижной стальной решеткой.

А улица — Гороховая. В ста шагах разместились ЧК. С ненормированным рабочим днем. Городской транспорт практически не действовал. Сотрудники питались и освещались сном прямо в учреждении. Понадобилось, предполагаю, что-то вроде ведомственной гостиницы. Отчего бы и не к покойной Даме пик? Только обоим ободрать да мебель изрубить. (Участь ковров гадательна.) Когда благосостояние конторы возросло, передали здание на милицкий баланс. И стала из спецобщезжития — спецполиклиника.

В конце одного коридора — старинный столик, на нем зеркало. И на площадке парадной лестницы — тоже зеркало, громадное, в раме со следами позолоты. Такие же следы — на перилах. И на двух-трех красного дерева филиченчатых дверях — резьба: длинные стебли, круглые цветы.

Остальная обстановка — без качеств, поэтому не поддается эпитетам. Только страшно не хочется, чтобы вечность выглядела именно так.

Пространством называется то, что окружает тела. Временем — то, как они исчезают.

МАРСОВА ПЕЩЕРА

«Идею строительства под Марсовым полем подземной парковки озвучил председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам...»

Из газет

А лично я не против.

Во-первых, потому, что меня не спрашивают.

Во-вторых — если даже и спросят, все равно сделают как хотят.

В-третьих (строго между нами), это самое Марсово поле — довольно скучное место. Ночью так даже злое. А днем, в жару, милиционеры почти не дают тени. И нечего там делать, и куда ни пойдешь — никуда не придеешь.

И стихи Луначарского с Берггольц пышут пафосом фальшивым. Хотя никто их не читает, а кто прочитает — не поймет.

Ну да, ну да: перед вами братская могила каких-то безымянных бедолаг, ровно девяносто лет назад расстрелянных тогдашним питерским ОМОном при разгоне тогдашнего Марша несогласных.

Но это значит, что умерли они за Февральскую революцию — про которую в школе как учили всю дорогу, так и учат, что это было какое-то недоразумение, сплошной смешной кавардак.

Сотня (черная) писак и один великий писатель и сегодня кроют эту революцию благим матом.

Поскольку и в самом деле — ничего такого особенного она народу не дала, кроме абсолютно не нужной ему свободы, которую он через несколько месяцев с удовольствием потерял.

Я согласен: это достаточная причина, чтобы фотографироваться тут перед брачной ночью. Вполне разумный обычай: фон — самое то.

Но и для подземной автостоянки противопоказаний тоже не вижу.

Если только не представлять себе данный сегмент земного шара в разрезе: сгусток жидкого огненного ядра, над ним — кусок багровой мантии, выше — каменная кора, еще выше — ил, перемешанный с песком, и тут же бетонный пузырь с нашими «мерседесами» внутри; над «мерседесами» — мертвецы, над мертвецами — Вечный огонь, поверх всего — Администрация в брючном костюме, сиреневом, как туман. (В складках брюк, естественно, — орлы: вице-губернаторы, столоничальники и т. д.)

Чертеж действительно неаппетитный. Чтобы он не стоял перед глазами водителей (что чревато авариями), — отселить мертвецов куда-нибудь к Ударникам. А орлы пускай копают себе спокойно: рост благосостояния требует пещер. Под стогнами, под стогнами.

Хотя и выше уровня моря имеются резервы: Большой Дом, например, — чем не гараж? Отмыть въевшуюся кровь — и пользуйтесь на здоровье.

Апрель 2007

ФЛАГ НАД КУНСТКАМЕРОЙ

Хотите — верьте, хотите — нет: некогда и я баловался петербургским сепаратизмом. Верней — ленинградским, поскольку дело было в цветущей советской юности.

Как-то в компании собутыльников по Ленинградскому ордену Ленина имени Жданова (сокращенно — ЛОЛГУ) я поставил на обсуждение такой проект: развести мосты — Дворцовый, Лейтенанта Шмидта, Тучков и Строителей (ныне, кажется, Биржевой) — поднять над Академией наук либо над Кунсткамерой флаг Вольного Васильевского Острова — в ту же секунду посредством «Голоса Америки» объявить на весь мир, что ВВО, добровольно присоединяясь к одной из островных держав — к Великобритании, либо к Индонезии, либо к Японии, — просит ее принять ВВО под свою защиту.

Последний пункт вызвал разногласия. Кое-кто предлагал конфедерацию с Исландией либо с Мадагаскаром. Сейшельские и Антильские никому в голову не пришли — должно быть, потому, что сами тогда (1963, что ли, год) не обладали политической независимостью. По той же причине отпадали острова Пасхи, а также Зеленого Мыса.

Сейчас я и сам, пожалуй, предпочел бы Мадагаскар: в свое время этот остров едва не сделался российским владением; старая любовь не ржавеет; но, боюсь, Мадагаскару не хватило бы военного авторитета защитить Васильевский, — даже если бы нас, что вряд ли, поддержали Петровский и Елагин.

А тогда, в 1963 году, мы допили, что там у нас было (наверное, болгарскую «Гъмзу», трехлитровый, оплетенный

бечевкой сосуд темного стекла), докурили болгарскую же «Пчелку», разошлись — и все позабыли. То есть никто не то что не настучал, а даже не проболтался — вот были люди! — по каковой причине ваш покорный слуга избежал общих работ; катался в зреющем социализме, как все равно сыр костромской в масле вологодском.

Плагиат

Если честно, идея была не моя. Еще будучи школьником, я почерпнул ее в уборной нашей коммунальной квартиры из запрещенной пьесы расстрелянного Михаила Кольцова (если не ошибаюсь) «Сорок девятый штат». На родительских книжных полках было почему-то (ни у кого руки не дошли прополоть библиотеку) довольно много таких изданий, за которые никого из нас не погладили бы по головке, — мне, стало быть, светил интернет для ЧСВР (членов семей врагов народа), но тоже обошлось. Я читал их — как и всё подряд, — естественно, без спросу, по ночам, в сказанном помещении, на деревянном стульчаке, имея над головой тусклую зыбь стиральной доски, защищенный от внешнего мира проволочным дверным крючком.

Это помню, а сюжета пьесы не помню. Действие происходило вроде бы в колониальной стране. Там был какой-то очень отвратительный отрицательный герой — акула капитализма. И он хотел что-то оттягать у положительных героев, какую-то необычайно ценную недвижимость — допустим, участок с месторождением. И вот, когда он добился своего и зло без пяти минут победило, положительные герои вышли в радиоэфир и провозгласили этот, допустим, участок — одним из Северо-Американских Соединенных Штатов — новым, сорок девятым (а в момент сочинения пьесы их было, видимо, сорок восемь). САСШ почему-то пошли навстречу просьбам положительных, и акула вынуждена была отвалить несолоно хлебавши. Вот.

Перенести действие в устье Невы тоже догадался впер-
вые не я, но ВКП(б) с НКВД. Они разыграли его под
заглавием «Ленинградское дело» — и множество людей в
49-м (не штате, а году), и в 50-м, и в 51-м признавались
на допросах под пытками, что лелеяли мечту об отделении
города трех революций от СССР.

Вероятно, Сталин тоже читал эту пьесу Кольцова (не
обязательно на стульчаке) и решил приспособить сюжет
к решению текущих задач.

То есть выступил, как всегда: как плагиатор-практик.
А я — как плагиатор-утопист.

Бурое золото

Предположим, нам с вами (условным нам с условны-
ми вами) эта условно наша затея почему-либо удалась
бы. Тот же Мадагаскар добился бы через ООН гарантий
нашей безопасности. К нам примкнули бы обрадованные
трудящиеся массы Каменного острова и Купчина, после
чего и весь город, от Смольного до спальных до окраин,
стал бы условно наш. А Кронштадт и Ломоносов соблю-
дали бы нейтралитет. Повторяю: предположим.

Но, спрашивается, какую предложили бы мы новояв-
ленной республике (или великому герцогству, все равно)
экономическую модель? Много ли в Петербурге произво-
дится вещей, которые могли бы пригодиться его населе-
нию? А производство на экспорт не наладить без собствен-
ных энергоресурсов, без источников сырья. Они имеются —
кой-какие — в Ленобласти. Но аншлюса не допустят — опа-
саясь нашего усиления — завистливые Новгород и Псков;
и вообще — огромный риск увязнуть в партизанской войне.

Между тем население не может питаться одним возду-
хом свободы. Конечно, разведем огороды на крышах, пасе-
ки на балконах, переоборудуем гаражи под хлева, размес-
тим в котельных теплицы, на скорую руку возведем голу-
бятни (тут вам и белковая пища, и беспроводная связь), —
но проблемы останутся.

Правда, мы (и, кажется, как раз на Васильевском) делаем подводные лодки. Они могли бы образовать флибустьерский флот (секретная база — в укромной мадагаскарской бухте) и, бороздя Атлантический и Тихий, снабжать СПб. иностранными товарами.

Но это, как говорится, сопряжено и вообще чревато. Более надежной лично мне представляется другая, традиционная бюджетная статья. Мы ведь, как известно, можем спускать в Финский залив ежедневно до трех тысяч тонн сами знаете чего. А можем, шадя Скандинавию и Прибалтику, спускать только тысячу тонн или даже меньше. Если нам будут за это платить конвертируемой валютой. (Будут, как миленькие, куда денутся.) Однако сомневаюсь, чтобы даже и таким способом нам удалось обеспечить прожиточный минимум выше теперешнего. Это дорого в застой. И даже в отстой.

Немного генеалогии

Есть и другие контраргументы. Согласитесь: первое условие для обретения и поддержания независимости — наличие народа. Так вот — являются ли обитатели Петербурга отдельно взятым (за руку) народом? Чувствуют ли себя таковым? Связывает ли их общность происхождения (как, скажем, нынешний *народ Крыма* произошел, после выселения коренных жителей, от военных пенсионеров и медперсонала здравниц)? Или, может быть, общность своеобразной культуры?

Полагаю, ответ очевиден. (Про культуру — промолчим, не фиг лицемерить.) Кроме штампа прописки, нас — или, по крайней мере, очень многих из нас — объединяет (и отъединяет от иногородних) разве что опыт коммуналок (думаю, ни в каком другом населенном пункте мира этот опыт не изуродовал столько душ). Ну и еще одно обстоятельство, как бы мистическое: помимо нашей воли, нечувствительно, неосознанно — скорей всего, через старую архитектуру — нам передается ужас и боль наших

предместников, принявших насильственную смерть. Ведь практически в каждом старинном здании кого-нибудь убили, из каждого дома кого-нибудь увели, увезли на казнь.

Почти никто про это, конечно же, не помнит, как и про заклатье царицы Авдотьи. Мы — добросовестные обитатели выморочного жилья. Окровавленных призраков не замечаем. Но равнодушная, покорная привычка к плохим, как погода, временам — в петербургском подсознании живет.

Зато петербургское самосознание отсутствует. Откуда ему взяться? Кто воображает себя потомком первобытного человека, чью стоянку раскопали (в Лисьем, что ли, Носу) археологи незадолго перед ВОВ? Кто заявит горделиво: моя, знаете ли, прабабушка познакомилась с моим прадедушкой, играя в песочек у подножья Медного всадника? То есть заявит-то кто угодно. В наши дни в троллейбус не войдешь, не подвинув какую-нибудь столбовую дворянку. И она непременно прошипит: понаехали тут! Действительно. Петр Великий, например, был москвич. С ним понаехали всякие-разные отовсюду. Потомство этих первых горожан Зиновьев, Киров и Жданов повывезли. Романов, наоборот, позавозил ежегодно ровно по сто тысяч т. н. лимитчиков. И т. д., и т. п.

Короче, с чего бы это наш согражданин мыслил, чувствовал и вел себя не как все бывшие советские? Декорация, что ли, обязывает? И кстати, от кого ему унаследовать этот пресловутый имперский синдром?

Немного палеонтологии

Хотя любой генетик вам скажет: это признак не наследуемый, а благоприобретаемый. Путем обучения в специальных заведениях. И такие заведения есть в самых разных местах, и поступают в них похожие друг на дружку субъекты, а выходят — одинаковые. Все вместе они составляют как бы серое вещество — как бы субстанцию

мозга империи. Потому что мозг любой империи, а также ее честь и заодно совесть — политическая полиция.

Но дело в том, что если нормальное государство подобно млекопитающему (травоядному, всеядному, хищному), то у империи совсем другая, особенная статья: она — звероящер. С массой тела такой огромной, что один мозг не справляется. Хотя образ жизни звероящера довольно прост: кто не спрятался — он не виноват.

Однако по ходу эволюции в бедняге развивается второй, периферийный мозг (в царской России, например, — литература) и начинает первому дерзить — вроде как кажет кукиш. Нет, — телепатирует, — не в тебе помещается честь-совесть, а, напротив того, во мне. Да и ум, если на то пошло.

Руководящий орган, естественно, наливается злобой — вот и весь синдром.

Болезненный, разумеется, но и с ним, ничего, живут. Пока через тысячу лет не приходит Кондратий: салют, мальчиши! Звероящеры падают с грохотом, как памятники вождям.

А наше дело — сторона. Петербург стоит себе на сваях, между которыми — косточки. Мелко-мелко так дрожит, убогий чухонец судьбы. И снится ему покой. И финиковые пальмы Мадагаскара.

Домыслы о вымыслах

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК СЭРА ТОМАСА

Необитаемый остров — самое подходящее место, чтобы перечитать роман, сочиненный в тюрьме. В пятый раз перечитаю, в шестой — пока не расплету, как сеть из конского волоса, этот многолюдный, многобашенный сюжет, эту необозримую сказку, называемую «Смерть Артура», — нелепую, но с восхитительными разговорами.

Сэр Томас Мэлори, заключенный рыцарь, придумывал диалоги, как никто. Темница, ясное дело, располагает к раздвоению голоса, но литературный дар сэра Томаса, вдруг раскрывшийся в плачевных обстоятельствах на шестом десятке лет, был, по-видимому, не что иное, как образ мыслей. Сэр Томас оказался мастером прямой речи, потому что чувствовал обмен словами как взаимодействие воль, из которого и состоит материя жизни.

Фраза требует вдоха, замаха и падает, как удар.

Балин убил на поединке ирландского рыцаря; откуда ни возьмись — какая-то девица на прекрасной лошади: падает на труп ирландца и, рыдая, пронзает себя мечом. Балин, озадаченный и расстроенный, углубляется в лес, вдруг видит: навстречу ему скачет рыцарь — судя по доспехам, его брат Балан, — а Балин как раз и странствует в поисках этого брата, — они целуются, плачут от радости, наспех обсуждают создавшееся положение и намечают дальнейший маршрут, уже совместный, — трогаются в путь, — тут на поляну въезжает галопом конный карлик и, завидев мертвые тела, начинает стенать и плакать и от горя рвать волосы на голове. Чепуха, сами видите, несусветная, уличный театр кукол.

Но вот карлик обращается к Балану и Балину:

— *Который из двух рыцарей совершил это?*

В другой книге, скорей всего, ему сказали бы: а тебе что за дело?

— *А ты почему спрашиваешь?* — сказал Балан.

Ответный ход карлика исчерпывающей простотой составляет мне неизъяснимую отраду.

— *Потому что хочу знать,* — ответил карлик.

И только теперь, как если бы предъявлен неотразимо убедительный резон:

— *Это я,* — сказал Балин, — *зарубил рыцаря, защищая мою жизнь; ибо он преследовал меня и нагнал, и либо мне было его убить, либо ему меня. А девица закололась сама из-за своей любви, и я о том сожалею...*

Ну и так далее; остановиться, передавая подобные речи, не так-то легко: герои романа изъясняются между собой на каком-то идеальном языке, словами единственно возможными, — вероятно, таков синтаксис неразведенной правды (губительный, увы, но веселящий огонь!) — как будто французскую фабулу пересказывают под английской присягой.

Впрочем, о правде — потом, а пока — всего лишь об искусстве: закройте ладонью вопрос рыцаря и ответ карлика — якобы ненужный вопрос, якобы бессмысленный ответ — видите? — что-то обрушилось; какая-то таинственная значительность происходящего как бы изникла; да и происходящее перестало происходить, превратилось в произносимое; вот я и говорю, что сэр Томас умел придавать длительности разговора — объем, подобный музыкальному.

Зато не видел пейзажа. В его книге никогда не идет дождь, никогда не падает снег; сплошь трава и тень; солнце замечают, лишь когда оно мешает замахнуться; время стоит, и дамы не стареют, и настоящая ночь наступает лишь однажды, под самый конец.

Это первый и последний раз, когда раздается в романе шум моря, и разливается лунный свет, и взгляду не препятствуют деревья, — короче, только перед смертью

горстка уцелевших героев попадает в пространство реальности — причем исторической, так что мало в мировой литературе страниц черней; Лев Толстой, например, на такую не решился:

«Вдруг слышат они крики на поле.

— Пойди, сэра Лукан, — сказал король, — и узнай мне, что означает этот крик на поле.

Сэр Лукан с ними простился, ибо был он тяжело изранен, и отправился на поле, и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и лихие воры и грабят и обирают благородных рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты и добрые кольца и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают, ради богатых доспехов и украшений».

Это, стало быть, народ так деятельно безмолвствует, откуда ни возьмись. А до сих пор обладатели пряжек и браслетов носились друг за другом по романной чащобе и на опушках и прогалинах истребляли друг друга без помех и без посторонних — как полоумные, как во сне:

«— Сэр рыцарь, готовься к поединку, ибо тебе придется со мною сразиться, тут уж ничего не поделаешь, ведь таков уж обычай странствующих рыцарей, чтобы каждого рыцаря заставлять сражаться, хочет он того или нет».

Исключительно ради спортивного интереса: выполнить норму мастера, а глядишь — и пробиться в чемпионы.

И роман переполнен репортажами о турнирах и матчах, совершенно стереотипными: первым делом копья разлетаются в щепу, потом сверкают мечи; трава обрызгана кровью, и все такое, и проходят час и два, пока счастливый победитель не распутает у поверженного противника завязки шлема, чтобы отрубить ему голову.

При этом обнаруживает иной раз — довольно часто — что ни за что ни про что шинковал столько времени родного брата или единственного друга: не узнал под железным намордником, — и начинаются прежалостные сцены.

Ведь в лесу эти герои все безликие — закованы в сталь — ни дать ни взять говорящие примусы в рост человека — и с одинаково глухими голосами.

Такая вот школа военно-патриотического воспитания: с утра до вечера — и не жалея лошадей и женщин. Впрочем, супруга директора, как полагается, изменяет ему с чемпионом; ревность и зависть изо всех сил тянут интригу к роковому финалу.

Все это давно выщвело бы, как лубок (ведь и Бова Королевич некогда прозывался шевалье Бюэве д'Анстон), когда бы не боевая мощь прямой речи:

«— ..А что вы изволите говорить, что я долгие годы был возлюбленным госпожи моей, вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любого рыцаря на земле, кроме вас и сэра Гавеина, что госпожа моя королева Гвиневера — верная супруга вашему величеству и нет на свете другой дамы, которая тверже бы хранила верность своему супругу; и это я готов подтвердить с оружием в руках... И потому, мой добрый и милостивый господин, — сказал сэр Ланселот, — примите милостиво назад вашу королеву, ибо она верна вам и добродетельна».

Вот какая здесь правда: головой выше бесстыдной лжи, причем это мертвая голова; скорей всего, ваша. Чей обезглавленный труп, за ноги привязав к хвосту кобылы, оттащат после поединка на помойку, — тот и лжец. А Господь Бог почему-то ведет себя как оруженосец Ланселота.

О, как сбивают они с толку — сочинения про то, чего никогда не бывает в жизни! Они одни способны хоть что-то переменить.

«Погибоша, аки обре» — означает: исчезли бесследно. Это, как все помнят, из древнерусской летописи, из «Повести временных лет». Дескать, пробежал мимо славян в Западную Европу такой народ, необыкновенно свирепый, и жестоко обращался с местным населением, и за это Бог «потреби я, помроша вси». Строго говоря, геноцидом этих обров, то есть аваров, распорядились Карл

Великий и за ним франкские короли, но истребили, году к 822-му, действительно всех до единого, так что на земной поверхности осталась только материальная часть: оружие, утварь, конская сбруя.

Одна из этих трофейных вещей понравилась франкам и пригодилась необычайно. Европейский воин держался на коне, как наш Медный всадник: вздумай он вооружиться длинным мечом, тяжелым копьем — замахнувшись, опрокинулся бы в плоскость змеи. А к аварскому седлу подвешены были на ремнях — азиатская хитрость! — тесные такие, зыбкие ступеньки — стремяна!

Они тут же вошли в употребление, переменяв облик конника и ход войн. Отныне — с упором для ног — удар стал гораздо сильнее — соответственно пришлось укрепить защитный доспех, завести крупные лошадиные породы, и так далее. Короче, образовалась такая живая бронетехника — чуть не полтысячи лет втаптывала прочее человечество в грязь.

Неуязвимые посреди беззащитных, опасней тиранозавров, жадные, неумолимые насильники. Одно спасение, что эти железные чучела бесперечь убивали друг дружку.

Да вот еще в Уэльсе, в некотором княжестве Гвент — как раз где при царе Горохе, при короле Артуре стоял Круглый стол, — кельтские туземцы умели делать из ветви дикого вяза огромный лук: тетива растягивалась до уха; и оказалось, что стрела — в гусиных перьях, со стальным наконечником — пробивает насквозь кольчугу, латные штаны и седло, пригвождая рыцаря к лошади. Целиться, стало быть, приходилось из древесных кущ, из высокой листвы, прибегая к мерам камуфляжа.

В XV веке — у сэра Томаса, можно сказать, на глазах — наемные лучники — зеленые куртки — сошли на равнину, став королевской пехотой, — лошадей убивали тысячами — феодальному призыву пришел конец: вот когда и железные — кто за Алую розу, кто за Белую, а кто и без лозунгов, рядовым участником Столетней войны — в свою очередь поголовно погибоша.

Но — нет, не аки обре: литература еще при жизни это-го ужасного сословия пересочинила их, рыцарей, опле-тя соблазном самообмана. Под музыку льстивых санти-ментов — наподобие шестерки, убажжающей главаря блат-ным романсом (что ни душегуб — то большое сердце), она завлекала их новой, небывалой, выдуманной добродетелью — любезностью, учтивостью, вежеством, одним сло-вом — *courtoisie*. О смешной жалости к слабым или, там, сирым никто, ясное дело, не заикался; в моду, однако, вхо-дила идея, что растерзать добычу сразу же — не священ-ный долг, что хоть иногда, хоть кое с кем — лучше по-хо-рошему: это по-своему тоже красиво, да и благоразумно.

Провансальские менестрели, немецкие миннезингеры больше налегали на изобретенную ими (в XII еще сто-летия) куртуазную любовь. Но сэр Томас Мэлори, как философ тюремный, стоял за вежливость: конечно, преж-де всего потому, что среди профессиональных убийц она, наподобие спортивного регламента, прививается легче и прочней; но еще, я думаю, и по той причине, что в при-роде нет ничего похожего на вежливость; согласитесь: помимо привилегии на секс лицом к лицу — только дар деланой улыбки, только мимика доброй воли вроде как приподнимает человека над фауной.

«— ...Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело — прийти на помощь другому рыцарю, которому гро-зит опасность. Ведь честный человек не может смотреть спокойно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не увидишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия. А хороший человек всегда поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним».

Вот зачем в романе «Смерть Артура» так прекрасно внятен, так внятно прекрасен диалог: чтобы поступки не затмевали побуждений.

Сэр Ланселот Озерный — ладья белых, по-старинно-му — тура; неспешная такая поступь. Слабовольный сэр Тристрам Лионский — типичный офицер: ходит по диагно-

нали. Короли и королевы сверх комплекта, и кони вместо пешек. Из черных фигур особенно активен сэр Брюс Безжалостный, рыцарь-предатель. А самый симпатичный — сэр Ламорак Уэльский, он же рыцарь Красного щита.

«...вся земля была окровавлена, где они рубились. Но вот наконец сэр Белианс отступил назад и тихонько присел на пригорок, ибо он был совсем обескровлен и обессилен и не мог уже больше стоять на ногах.

Тут закинул сэр Ламорак свой щит за спину, подошел к нему и спрашивает:

— Ну, как дела?

— Хорошо, — отвечает сэр Белианс.

— Так-то, сэр, и все же я окажу вам милосердие в ваш трудный час.

— Ах, рыцарь, — говорит сэр Белианс сэру Ламораку, — ты просто глупец. Будь ты у меня в руках, как я сейчас в руках у тебя, я бы тебя убил. Но благородство твое и доброта столь велики, что мне ничего не остается, как только забыть все то зло, какое я на тебя держал.

И сэр Ламорак опустил перед ним на колени, отстегнул прежде его забрало, а потом свое, и они поцеловались, плача обильными слезами».

В самом деле — абсурдное существо этот сэр Ламорак. Прямо князь Мышкин. Его тема, его навязчивая идея — победить, чтобы сразу же сдаться. Не знает страха, не ищет славы, не умеет ненавидеть. Скучает, наверное, в бессмысленных этих боях.

«— Во всю мою жизнь не встречал я рыцаря, чтобы рубился столь могуче и неутомимо и не терял дыхания. И оттого, — сказал сэр Тристрам, — сожаления было бы достойно, если бы один из нас потерпел здесь урон.

— Сэр, — отвечал сэр Ламорак, — слава вашего имени столь велика, что я готов признать за вами честь победы, и потому я согласен вам сдаться.

И он взялся за острие своего меча, чтобы вручить его сэру Тристраму.

— Нет, — сказал сэр Тристрам, — этому не бывать. Ведь я отлично знаю, что вы предлагаете мне свой меч

не от страха и боязни передо мною, но по рыцарскому своему вежеству.

И с тем сэр Тристрам протянул ему свой меч и сказал так:

— Сэр Ламорак, будучи побежден вами в поединке, я сдаюсь вам как мужу доблестнейшему и благороднейшему, какого я только встречал!

— Нет, — отвечал сэр Ламорак, — я явлю вам великодушие: пусть мы оба дадим клятву отныне никогда больше не биться друг против друга».

Дерется, как Ланселот, любит, как Тристрам, великодушней всех — и всех несчастней: его снимают с доски в седьмой главе пятой книги — с каким позором!

«...а потом прошел во внутренние покои и снял с себя все доспехи. После того взошел он на ложе к королеве, и велика была ее радость, и его тоже, ибо они любили друг друга жестоко...»

А в соседней комнате, только представьте, сын этой дамы, этой королевы Оркнейской — рыцарь, между прочим, вполне половозрелый, — отсчитывает минуты, поскольку чуть ли не сам подстроил это свидание как западню.

«...сэр Гахерис, выждав нужное время, взошел к ним и приблизился к их ложу во всеоружии, с обнаженным мечом в руке, и, вдруг схвативши свою мать за волоса, отсек ей голову... В одной рубашке выскочил сэр Ламорак, горестный рыцарь, из постели» — вот и кончена его история. Где-то за кулисами погибнет, не отомстив, — зарежут в каких-то кустах вчетвером.

Это самая середина романа. С этой минуты он клонится к упадку: приключений все меньше, привидений все больше, — вежливость все реже торжествует, голоса грустней.

Пожертвовав сэром Ламораком, белые сразу же получили проигранную позицию. То-то они приговаривают на каждом шагу — сэр Ланселот, и сэр Тристрам, и сэр Гарет: желал бы я, милостью Божией, быть там поблизости в час, когда пал убитым этот благороднейший из

рыцарей, сэр Ламорак! Явно сердятся на автора за недо-
смотр и предчувствуют, чем все это для них обернется.

Похоже, что и автору нехорошо, — изменившимся, коснеющим слогом он здесь же сообщает как бы в скобках, что болезнь — *«величайшее бедствие, какое может только выпасть на долю узнику. Ибо покуда узник сохраняет здоровье в своем теле, он может терпеть заточенье с помощью Божией и в надежде на благополучное вызволение, но когда недуг охватывает тело узника, тут уже может узник сказать, что счастье ему окончательно изменило, тут уже остается ему лишь плакать и стенать»*.

Ламорак — в сущности, анаграмма. Вроде как автограф с нарочитым росчерком. Гвоздем по камню: год 1469-й, дело дрянь, помолитесь о душе рыцаря и кавалера. Гра-мерси.

Д И Т СВОЕЮ КРОВЬЮ...

Наитончайшие умы разобьяснили, задыхаясь, почему эту книгу должно почитать главной литературной удачей человечества. Нет на свете, утверждают единогласно шлегели и гегели, другого романа столь увлекательной глубины. Расходятся всего лишь в одном важном пункте: понимал ли сам автор, *что* сочинил? догадывался ли, к примеру, что заглавный герой — не идиот, а идеал? или сеньор Мигель Сервантес де Сааведра не знал такой печали — ограниченный началом XVII века, не умел, как потомки-романтики, оплакать в Дон Кихоте — себя, Дон Кихота — в себе, и это как раз тот, особенно счастливый для шлегелей, случай, когда текст умней своего творца?

Нам ломать голову над такими вещами, слава богу, не приходится; в советском издании на последней странице красуется штамп: «Значение „Дон Кихота“ заключается в полном и ярком отображении жизни Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох»!

Познавательная ценность

С этой точки видно далеко, причем ландшафт совершенно буколический. Везде следы довольства, кое-где — и труда, и никакая ужасная мысль не омрачает душу. Пронесются, сбивая с ног неосторожного путника, стада овец, быков, свиней, — стало быть, животноводство на подъеме. Вращаются крылья ветряных мельниц, колеса мельниц водяных, грохочут на сукновальне гидравлические молоты, —

похоже, и с техникой все в порядке. Типография завалена работой; книги повсюду в большом ходу; две-три найдутся на первом попавшемся постоялом дворе; личная библиотека мелкопоместного дворянина включает около сотни томов; разговор о литературных новинках — обычный застольный; присовокупим сельскую художественную самодельность: хороводы козопасов и все такое. Культура, одним словом, процветает. Уровень материального достатка — соответственный: что-то незаметно, чтобы крестьяне жили впроголодь или работали до седьмого пота; и прямо-таки невероятно часто встречаются среди них несметные богачи. Люди других сословий тем паче не бедствуют; к тому же кое у кого есть родственники в Америке. Наконец, повсюду торжествует правосудие: каторжники, этапиремые на галеры, и те в один голос признают, что наказаны по заслугам; араб и тот одобряет свое изгнание; действительно, говорит, нельзя было не выдворить меня, притом с семьей и без имущества, поскольку некоторые из лиц нашей национальности лелеяли преступные замыслы; доколе, говорит, могло королевство пригревать змею на своей груди... Недобитых евреев и неискренних выкрестов, с ними колдунов и фальшивомонетчиков жгут где-то за горизонтом, а на местах общественный порядок поддерживают народные дружины — Святое Братство... Короче — данная энциклопедия испанской жизни исполнена в соцреалистическом ключе (наподобие, скажем, кинофильма «Кубанские казаки») — то-то и сделалась тотчас по выходе излюбленным чтивом слуг.

Внедренный в такие обстоятельства инопланетный полицейский робот выглядел бы уморительно даже в скафандре суперпрочном: без толку тратит энергию аккумуляторов и словарный запас. *Помогаю вдовицам, охраняю дев и оказываю помощь замужним, сирым и малолетним! Помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных!* (Звучит, как *точить ножи-ножницы!* или *починяю примус!* — но странным, печальным образом напоминает что-то совсем другое.) Реклама потешная: помочь замужней, всем известно, средства нет! — и где же

в Испании на рубеже феодальной и капиталистической эпох вы заметили сирого? Вот разве что этот подпасок, с которым не расплатился деревенский кулак. И неприятная история во втором томе: тоже кулацкий сынок свалил во Фландрию, дефлорировав дочь дуэньи. На всю эпопею — двое обиженных! И читателю верноподданному приятно сознавать, что в обоих случаях грамотный юридический совет пособил бы потерпевшим, уж наверное, успешней, чем копьё юродивого.

Стеклянная голова

А он и сам не заиклен, так сказать, на униженных-оскорбленных: не диссидент, не заступник народный, тем более не Гамлет какой-нибудь — далек от предвзятых идей типа что будто бы не то строй прогнал, не то век жестокосерд, или, там, Испания — тюрьма... Боже избави! В современности, благоустроенной Филиппом III и герцогом Лермой, — лишь одно не нравится Дон Кихоту: что она норовит обойтись без него.

Впрочем, он убежден, что это с ее стороны — притворство; что на самом деле все эти чужие люди, снующие мимо по каким-то якобы своим делам, — да и лодка у берега, и мельница на пригорке — существуют не сами по себе, а только чтобы подманить его и подать условный знак, — и всякий раз что-то мешает угадать, какого ответа ждут, какого жеста или поступка, — всякий раз не на того заносишь меч — призрак приключения, кривляясь, исчезает, — и опять барахтаешься в дорожной пыли, весь избитый, плюясь зубами.

Злой волшебник из глубины пространства с ним играет, словно бумажкой на веревочке: бумажка шуршит — Дон Кихот бросается в атаку — зрителям весело.

А читателю — еще веселей, причем его забава утонченней: для него черепная коробка героя прозрачна, словно стеклянная; отчетливо видно, как ум заходит за разум, реальность втесняется в другую реальность, — и

вот под давлением воли очередная ошибка превращается в очередную глупость.

Скажем, проезжает ночью по дороге катафалк — пылают факелы, попы поют. Что везут покойника — безумец понимает, а ритуала не узнает — словно впервые видит эти одеяния, впервые слышит этот речитатив, — не приветствует, короче говоря, пресвятую католическую нашу мать, а, наоборот, ощетиливается.

«Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, недолго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги...»

Смотрите, смотрите: вообразил, решил, уже действует, — но какой-то предохранитель в поврежденном мозгу еще не вышел из строя; запрашивает — в чем долг и кто враг!

«← По всем признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость».

Но у кого же хватит терпения вежливо сносить нелепые расспросы. Дон Кихоту, как обычно, хамят, — и он больше ни о чем не думает, а знай наносит удары.

Рекорд мира

Признаюсь: эта его черта — щекотливость, или раздражительность, меня трогает: тут он непредсказуемо живой — сумасшедший неподдельный, простодушный, опасный: осмелитесь выказать ему хоть малейшее пренебрежение — или, хуже того, проговориться, что он смешон, или — от чего Боже вас сохрани — намекнуть, что у него не все дома, — какая мощь вдруг является у него в руках и голос! какой он делается быстрый! разобьет вам голову

на четыре части, как тому погонщику мулов — помните, на первом постоянном дворе? — и отвернется равнодушно.

Храбрость есть храбрость — пускай назойливо неуместная, — ничего, что исключительно рукопашная: с панической ненавистью ко всему огнестрельному... Восхищаться не обязательно, — а не уважать невозможно. (И не сострадать — связанному, в клетке.)

Но что в хорошем настроении он угощает собеседников замечательными речами о таких предметах, как военное искусство или, допустим, супружеское счастье, — это типичный авторский произвол. Это з/к Сервантес, обогатив свою память и так далее, почитает нужным при случае увековечить несколько общих мест — слогом, по видимому, абсолютным.

Насколько в силах судить иностранец, и весь-то текст «Дон Кихота» — назло мадридской, сеvilьской, вальядолидской какой-нибудь литературной элите 1600-х — рекорд мира в прозе: вот вам! удостоверьтесь — всё, что угодно, можно сказать так, что лучше нельзя!

Но какой нос он им всем натянул! Под видом революции лубочного жанра — под видом пародии, затмившей все оригиналы, — написал, про что хотел, — про самое смешное из самого главного — про то, что самое главное — оно-то и есть самое смешное.

Катехизис

«— Все, сколько вас ни есть, — ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!»

В рыцарском романе вздорный этот вызов читался бы как тривиальный (наподобие хода королевской пешки e2 — e4) зачин боестолкновения, включающий заодно идейную мотивировку: чтобы не было похоже, например, на вооруженный грабеж. Вызов — он и есть вызов: сила

задирает силу; не тезис, а ультиматум; но мы не в рыцарском романе, и так называемый здравый смысл чувствует себя в безопасности:

«— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину».

За подобное контрпредложение какой-нибудь сэра Ланцелот или, допустим, Амадис Галльский залил бы кровью — чужой, своей — несколько ближайших страниц. Дон Кихот слышит издевку, но едва ли не сильней раздосадован уверткой: какой интерес в игре, правила которой знаешь один? — вынужден напомнить — вернее, разъяснить:

«— Если я вам ее покажу, — возразил Дон Кихот, — то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту... — чуть ли не уговаривает; чуть не плача; спохватившись, приосанивается: — ...а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд».

Ах, до чего умен был тот, кто заставил его проговориться в первый же рыцарский день! Поистине, сеньор Сервантес был чемпионом и пребудет королем литературной техники. «Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить и стать на защиту!» Это ведь не что иное, как программа Дон-Кихотовой судьбы. И отсылка к сочинениям отнюдь не куртуазным.

Вот, например, в Евангелии от Иоанна — упрек Иисуса Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие».

Или Павел учит в Послании к евреям: «Вера... есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

И, конечно, в любом катехизисе какого угодно века (мне, впрочем, попал под руку православный, столетней давности, богословский словарь) изъяснено, что вера не

нуждается в доказательствах и несравненно выше умозаключений:

«Познание (само по себе) не имеет характера добродетели, так как оно невольно навязывается человеку при ознакомлении его со внешним миром; вера же есть добродетель (а вместе и обязанность)...»

Именно это самое и втолковывает Дон Кихот гогочущей толпе (шестеро шелкоторговцев, семеро слуг) на проселочной дороге.

Выходит, дело не в том, кто первая в мире красавица; даже и не в том, кто первый боец; безумие Дон Кихота куда глубже таких глупостей. Он требует соучастия, причем не понарошке, а по-настоящему: как в первосортном рыцарском романе, — и пусть каждый исполнит свою роль добросовестно. Веру ему подавай. То есть даже не просто примите на веру, а именно уверуйте — явно и несомненно подразумевается переживание, подобное религиозному, — не то изрублю в капусту. Прямо какое-то крещение Руси. Не так давно — в 1492 году — Испания примерно такую же альтернативу предложила своим иудеям.

И в дальнейшем, если разобраться, Дон Кихот только и делает, что воюет за веру — точнее, обращает неверных. Кого приглашает, кого понуждает (а ему — в лучшем случае — подыгрывают) разделить с ним почитание каких-то страшно важных для него ценностей — либо истин.

Спрашивается: каких? Вот он, угрожая мечом, приказывает этим самым шелкопрядам уверовать — во что? или в кого? Неужто в императрицу Ламанчскую, лично им придуманную не далее как позавчера, притом исключительно как аксессуар (у положительного героя наиболее завлекательных книг непременно имеются конь и дама)? Лет двенадцать назад был влюблен в крестьянскую девочку — при встрече не узнал бы в обветренной тетке, — отчего ему до смерти (чужой, своей) хочется, чтобы как можно больше посторонних искренне — искренне! — считали, что она и теперь всех румяней и белее? или

чтобы, по крайности, верили — но тоже без тени сомнения, — что в этот ослепительный факт всем сердцем верует он...

Про это и про то

Тут на плечи шлегелей вскакивают гейне-блоки, запальчиво лепеча: это любовь! Причем настоящая, то есть вечная и без пошлости, а не в сантиметровом диапазоне. Хорошему (в смысле — гениальному) мальчику странно и стыдно любить девочку (не имеет значения — какую) иначе как мечтательным проникновением в ее небесную сущность сквозь несказанно прекрасный образ. Да, взаимной такая любовь не бывает, счастливой тоже не назовешь, поскольку и эта сущность, и этот образ, открывшись внутреннему взору на миг, случайно: допустим, среди шумного бала (как если бы некто, послонив палец, стер мутный слой с переводной картинки), — тут же пропадают из виду. Но пусть вокруг по-прежнему дискотека, — мальчик-то изменился навсегда: теперь память о той минуте — источник его вдохновения; тщетные попытки пережить ее вновь — содержание участи; в споре с самим собой: померещилось или на самом деле случилось — решается смысл его жизни. Дон Кихот, поскольку не гений, ведет этот спор холодным оружием. Смейтесь над ним: тоже нашелся великий любовник — под пятьдесят, хронический почечник, закрашивает зелеными чернилами заплаты на чулках. Но дайте срок — именно он, побитый шут, научит европейских поэтов новому культу Прекрасной Дамы.

С каким наслаждением выписывает Генрих Гейне слова, произнесенные Дон Кихотом в роковой момент, когда копьё врага уже приставлено к картонному забралу: «Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копьё свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь

ты у меня уже отнял». Это ли, дескать, не бессмертный пример идеализма чувств.

Русский поэт зашел дальше — сам того не зная, приблизился к Дон Кихоту почти вплотную: в своей Прекрасной Даме сразу (правда, не без подсказки — не без влияния модных в его время философов) опознал Душу Мира и понял свою влюбленность как мистический контакт. По нашему сказать — как Откровение. Получилась (помимо неизбежной человеческой драмы) трагическая лирика, описывающая сближение и разлад с профессорской дочкой разными богослужебными словами. Например: «Ты в поля отошла без возврата. Да святится имя Твое»...

Вы, наверное, удивитесь: Дон Кихот, посвящая окружающих в свои отношения с Дульсинеей, позволяет себе кощунства не менее дерзкие. «Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием», — говорит он Санчо Пансе, которому откуда же знать, что это переиначенная цитата из речи апостола Павла в афинском ареопаге: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем...»

Но духовные-то лица — в курсе. То-то они и вьются за Дон Кихотом на протяжении всего пути — бесчисленные каноники, священники, лиценциаты: экзаменуют, увещивают, обличают, противодействуют — и в конце добиваются своего. То-то и он питает к ним безотчетную ненависть и при каждом удобном случае — почему-то принимая людей в балахонах за бесов — наскокивает с копьём, как рассказано выше.

Однако даже и Санчо, при всей своей якобы простоте, чует: с этой пресловутой страстью Дон Кихота к Дульсинее что-то не так. Предмет (верней, прототип, толстяку известный) чересчур превознесен и приукрашен, — это как раз понятно: любящие все страдают куриной слепотой. Но тут и загвоздка: что за любовь, которой не нужно совсем ничего, — блаженствующая в безличности, — подобная поздравительной открытке без подписи, как бы от неизвестного? И не хочешь, а призадумайся: на самом-то деле — кто адресат?

«— Подобного рода любовью должно любить Господа Бога, — такую я слышал проповедь, — сказал Санчо, — любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

— Ах ты, черт тебя возьми! — воскликнул Дон Кихот. — Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием».

Опять он выдал себя. Верней, опять — и в который уж раз — взглянул читателю прямо в глаза наш господин и учитель, Дон Мигель.

Похищение Мадонны

Крайне неосторожный. Буквально играл с огнем. По правде говоря, уму непостижимо, как это его не сожгли за последнюю сцену (тома первого, — но второй не планировался) — за последний, решительный, стало быть, бой Дон Кихота.

Разберем пару страничек, и я оставлю вас, дорогой читатель, в покое. Не злитесь: почти все трудности позади. Очень скоро вы будете приятно поражены, увидав, на каком крохотном блюдечке (с каемочкой, все как следует) уместится наше резюме.

А пока возвратимся в роман Сервантеса. Испания, конец июля, сельская местность, пикник на обочине. В сотне шагов от дороги, спустившейся тут в долину. В десятке шагов от ручья. В тени деревьев на шелковистой траве. Расстелен ковер. Конвоиры Дон Кихота — священник и цирюльник, а также примкнувший к ним каноник — поглощают холодного кролика, запивая пироги вином. И Дон Кихот с ними: его выпустили из клетки под честное слово. Животные, стражники и слуги разбрелись по лугу. Солнце в зените. Часовня на ближнем холме.

Камера наезжает на пирующих, погружая нас в последний — не знаю, который по счету — диспут о рыцарских романах.

Каноник: «О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это такое, то мне ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и правила жизни...»

Дон Кихот: «Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит... О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство...»

Комическая перебивка: в кадр, откуда ни возьмись, вбегает коза, за нею пастух. Ария пастуха: что-то вроде назидательной новеллы о непостоянстве женского пола. Легковерная Леандра бежала с солдатом — франтом и хвастуном; солдат обобрал ее и бросил, обесчестив. Теперь она заточена в монастыре, а ее поклонники — множество молодых зажиточных односельчан, в их числе и Эухенью (так зовут нашего солиста), — не в силах забыть красоту неосмотрительной, с горя подались в козопасы. Отошли, так сказать, без возврата в поля. Развязка этой трагедии «еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной».

Слушатели растроганы. Аплодируют. Утешают беднягу. Выделяется баритон Дон Кихота. Мол, будь моя воля, увез бы я Леандру из монастыря «и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с нею по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспрещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды». Пауза. Козопас разглядывает новоявленного друга. Потом спрашивает

ет у окружающих: кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит? «Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ламанчский, — с невозмутимым лицом отвечает цирюльник, — искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле...»

Козопас дает понять, что на досуге читывал и он романы про шевальеров эррантов, — «но только мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто».

Реакция любезного, благовоспитанного, учтивого, кроткого, терпеливого, покорного шевальера, как всегда, безупречна:

«— Ты изрядный негодяй, — сказал на это Дон Кихот, — и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет.

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос...»

Потасовка. Зрители подпрыгивают от восторга и, хоча, науськивают дерущихся.

Извините, я увлекся. Никак не доберусь до главного. Но каков темп событий!

И вот — внимание! — в самый разгар безобразия раздается звук трубы, «столь унылый, что все невольно повернули головы».

Средний план. С косогора спускается, направляясь к часовне, процессия в стиле не то Бергмана, не то Феллини. Люди в бедых балахонах, завывая, хлещут себя бичами по плечам. Над толпой плывут носилки, на носилках стоит окутанная траурным покрывалом женская фигура. Латынь песнопений, шаги, стенания и прочие шумы.

Крупный план. Дон Кихот устремляется к Росинанту, надевает на него уздечку, отбирает у Санчо меч, вскакивает в седло, бьет пятками коню под бока.

Средний план: переполох среди спутников Дон Кихота.

Крупный план. Всадник мчится. Санчо в спину ему вопит:

«← Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и научают идти против нашей католической веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ Пренепорочной Девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете...»

И наконец, самая последняя речь Дон Кихота к толпе:

«← Нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое нанесли ей оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодейства, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы».

Общий хохот, само собой. «Все пришли к заключению, что это сумасшедший, и покатались со смеху, какой смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева»... (Дальнейшее не занятно: Дон Кихот — мечом, Дон Кихота — палкой, он падает с коня — через шесть дней в бессознательном состоянии прибывает в родное село на повозке, влекомой волами, — прочие сведения гадательны, зато сохранилось несколько эпитафий.)

Ключи

Не знаю, на что рассчитывал автор «Дон Кихота», обдумывая эту попытку вызволения Мадонны, да еще приберегая для финала. Должно быть, подбадривал себя излюбленной латинской поговоркой: *stultorum infinitus est numerus* — количество гупцов неисчислимо. Авось не вникнут. А кто инстинктом дойдет — пусть соизволит изложить святейшей инквизиции внятно: чем, собственно, должен встревожить доброго католика такой эпизод, в котором осмеиваемое лицо скатывается до святотатст-

ва, тем самым полностью разоблачая свое безумие и социальную непригодность? Внятно — вряд ли кто сумеет: закон перехода католичества — в качество ума. Риск, положим, остается, зато лет через триста — самое большее четыреста — понимающий человек получит удовольствие.

В самом деле, мы-то с вами умеем оценить эффект над безумным потешаются безумные!

Причем с Дон Кихота взятки гладки, у него диагноз: позабыл код окружающей реальности, пытается воспользоваться ключом от совсем другой — не тут-то было. Принимает условности архаичного, примитивного жанра как законы истории либо природы или, во всяком случае, как руководство к действию, вот и не может взять в толк: существа в странных одеяниях, бормоча тарабарщину и зачем-то терзая себя до крови, тащат куда-то неподвижную женщину в трауре, — что это, если не похищение, причем с применением колдовства? Как же не воспрепятствовать? Вперед, Росинант!

А все остальные, видите ли, нормальны и благонадежны; происходящее толкуют адекватно: рутинное, но полезное мероприятие, направленное на повышение урожайности путем преодоления засухи. Кто же не знает: чтобы вызвать атмосферные осадки (говоря, как все — «дабы Господь отверз двери милосердия своего и послал дождь»), единственно верное средство — толпой выволочь из церкви на солнцепек статую Его Матери, да и доставить в другую церковь, по пути коллективно истязая свой кожный покров.

Такой, значит, у этих людей — один на всех — ключ к реальности. По-другому вскрывает невидимую взаимосвязь фактов. В данное время и в данной стране употребляется как универсальный. Однако не подлежит сомнению, что в глазах М. С. де Сааведры процессия бичующихся паломников — стадо мелких, темных Дон Кихотов, ничуть не менее нелепых, чем заглавный.

Как же так? Эти — верующие, а тот — сумасшедший... Не впадаем ли мы в научный, прости господи, атеизм?

Я — нет, за М. С. С. не отвечу, а что касается Дон Кихота — он верует беззаветней всех, но в текст, для всех прочих не священный (любая вера есть вера в какой-то текст). И пребывает в нем, тщетно порываясь включить в него другой — так называемую действительность. Страдает цельностью сознания. Собственной жизнью отменяет литературу — копьём пишет лучший в мире роман. Про Дульсинею, разумеется.

Между прочим: современная фантастика произошла от рыцарского романа, унаследовав милитаризм, демонские чудеса и ревнивую неприязнь к религиозной вере. Она и погибнет, вероятно, такой же смертью: от гениальной пародии. Но это случится не прежде, чем фантастика выдумает читателя, способного погибнуть ради любви к ней.

СЧАСТЛИВЫЙ ТИЦИАН

Светлейший князь,
превосходительные господа!
С самого детства я, Тициан из Кадора, стремился
изучить искусство живописи — не из корысти, а из
желания достичь некоторой славы...

Из прошения Совету Десяти, 1513 г.

Благоденствие бессюжетно. Только перемены счастья двигают судьбу. В жизни Тициана, словно во владениях его покровителя — императора Карла V, — солнце не заходит.

Уживчивый гений, удачливый. Благоразумный баловень истории. Обстоятельства расступались перед ним.

В эпоху, когда религиозную истину добывали силой оружия, когда роль человека в мироздании выяснялась на дыбе, — целых сто лет не знать тоски.

В стране, где шла немолчная резня, где свирепость и коварство процветали превыше изящных искусств (да ведь и кровь дешевле краски), — мирно пользоваться почетом, ничего не опасаясь, кроме чумы.

Прожить столько, и на самом виду, и не врезаться в память Европы ни поступком, ни причудой, ни занятным словом...

Великий художник довольствовался биографией жизнерадостного ремесленника, венецианского купца. Преуспел в оптовой торговле зерном и лесом. Разбогатеv, купил дом на Бири Гранде, на северном берегу. Женился, овдовел, выдал замуж дочь. Из сыновей один, как водится, вырос мотом, зато другой унаследовал от отца оборотистость.

Путешествовал Тициан мало, был домосед. Приходили в гости Сансовино, модный ювелир, и знаменитый наемный публицист Аретино. Втроем пиروвали в саду, любуясь видом на залив. Тянулся праздник, сверкала волна, играла духовая музыка, ломился стол. «Что за мясо едим мы здесь, в Венеции», — восхищался Аретино. И, поглядывая

на закат, в сторону разоренной Италии, благодушно кивал Тициан — маклер Немецкого подворья, граф Палатинский, рыцарь Золотой шпоры, любимец тиранов и знатных дам, единственный мастер, не знакомый с усталостью и печалью, счастливый, бессмертный...

Он как будто заранее знал, что предстоит плодотворная старость, и дебют разыгрывал не спеша. Не жалел времени на финансовые операции, на придворные интриги. Ранняя пора не ознаменована великими произведениями. Оттого-то, когда сверстники все умерли, никто не мог припомнить, сколько же Тициану лет.

Но тут была еще причина. Гениальный приятель затмевал молодого Тициана. Вот кто действительно торопился раскрыть свой дар — этот Джорджоне из Кастель-Франко. Одну за другой он писал незабываемые картины — тоже как будто знал, что левантинский бриг, на котором приплывет в Венецию чума, уже спущен на воду.

Джорджоне все давалось легко: живопись, музыка, любовь и слава. Нельзя было не восхищаться им, нельзя не подражать, и Тициан поступил к нему в подручные, и гордился, когда их работы сходством обманывали знатоков. Та же мечтательная прелесть, и безоглядная нагота, и серьезные, взволнованные лица, и вместо сюжета — внезапное сопоставление отрешенных друг от друга фигур и пространств, — как в поэме, которую через несколько лет закончит Лодовико Ариосто.

Но левантинский бриг в 1510 году причалил к набережной Большого канала, у моста Риальто, и Тициан уехал в Падую расписывать стены бедных тамошних церквей, а Джорджоне был влюблен в одну даму и остался, и заразился от нее чумой, «так что в короткое время преставился в возрасте тридцати четырех лет».

Рассказав об этом, тогдашний искусствовед прибавляет: многочисленные друзья Джорджоне «перенесли сей ущерб и сию утрату, утешаясь тем, что после него остались два отличнейших его ученика» — Себастьяно дель Пьомбо и Тициан из Кадора, «который не только сравнялся с Джорджоне, но значительно его превзошел».

Нельзя стать великим художником под гнетом любви к чужому мастерству. И Шекспир сочинил первую свою трагедию не прежде, чем погиб, не дописав свою последнюю, Кристофер Марло.

Умер учитель, ровесник, соперник, предтеча — тогда и началась для Тициана другая, вечная молодость, нескончаемый полдень, в лучах которого нам отсюда, через полтысячи лет, не разглядеть обид и неудач.

Тут начинается настоящая судьба Тициана — история его стиля.

Годы уходят на то, чтобы дописать неоконченные картины Джорджоне и забыть о них. Но долго еще Тициан будет решать композицию как сюжетную антитезу («Любовь земная и небесная», «Динарий кесаря»), и редкая из его Венер и Данай осмелится переменить позу, предписанную автором «Отдыха Венеры», и навсегда усвоят портреты этот странный, сосредоточенный взгляд, не видящий вас, но проникающий насквозь, безоружный взгляд человека, уверенного, что он совсем один.

Потом рисунок и цвет потихоньку меняются ролями, и мысль перетекает в краску.

Тициан научился, с головокружительной, неуследимой подробностью варьируя оттенки цвета, передавать этой игрой теплоту, тяжесть, легкость, влажность, шероховатость — насколько вообще способны окружающие тела радовать человека свойствами своих поверхностей.

Одной жизни не хватило бы на это, но Тициан ведь прожил две.

Он дал зрению силу осязать. Этот сплав, этот сдвиг в строе чувств дарует человеку пронзительную вспышку особой явственности сущего. Это созерцание ярче и проникновенней обладания.

Поистине, как пишет один старый итальянец, Спероне Сперони, «Господь сотворил в красках Тициана рай для нашей чувственной жизни».

Никакой сюжет не может выразить столь нестерпимой жажды быть и видеть. Но вполне достаточно — человеческой фигуры, окруженной всею роскошью существ-

вованя. Можно подумать, что Тициан изображает обнаженных красавиц и пышно разодетых гордых крепышей. На самом деле не наготу он пишет, а соблазн; и не характеры, а чувство тайны, внушаемое настоящей реальностью чужого «я».

Когда ушли друзья, состарились дети и вообще стало темней, он вдруг заметил, что различие между телами и пустотой — мнимое, так же как нет границ, отделяющих предмет от предмета. Линия и цвет — всего лишь обобщения. Подлинно видимое состоит из мельчайших мазков и переливается в глазах неразлично разноцветным, текучим, обжигающим, плотным маревом, подобным ореолу над горящей свечой.

Он бродил по дому и, к ужасу учеников, снимал со стен свои картины, чтобы переписать.

Чтобы, например, непременно проступала сквозь краску холстина. Чтобы лица и вещи сияли в плоском воздухе густками рукотворческой воли.

Шедеврами последних лет считаются «Тарквиний и Лукреция» (кажется, в Лувре) и эрмитажный «Святой Себастьян», столь похожий на подмалевок. То ли так и придуман, то ли не дала додумать чума.

Отыскала-таки дом на Бири Гранде. В 1576 году.

И черная лодка по реке Братьев доставила Тициана Вечеллио, будто бы 1476 г. р., в его любимую церковь.

Там — в Санта-Мария Глорियोза Деи Фрари — он и погребен, создатель картин, в которых жизнь чудесна, как живопись, и человек счастлив, как художник Тициан.

СТРАСТИ ПО РЕМБРАНДТУ

Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они, просто, глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью.

Гоголь

Рембрандт написал сто автопортретов. Провел перед зеркалом больше времени, чем любая красавица мира. По целым суткам и по двое суток вглядывался в свое отражение, гримасничал, на разные лады драпировался в роскошное тряпье, купленное у старьевщика. Изучил игру лицевых мускулов, образующую выражение взгляда. Подробно исследовал, как дрябнет кожа, вбирая порами время; как далеко с течением лет отступает правда лица от первоначального божественного рисунка; как сходятся складки, морщины, отеки, прожилки в биографическую тайнопись, — по ним можно угадывать прошлое и будущее, словно по линиям руки.

Современников Рембрандт пишет как родственников — ищет сходства. Эрмитажные портреты пожилых и печальных обитателей XVII века подчеркивают, что человек состоит из времени. Человек — это возраст и взгляд, причем возраст означает не сколько прожито, но — главным образом — сколько осталось. А взгляд говорит, что модель знает свой приговор. (Пожаловаться нечем: вместо рта — щель, как у маски.) Все прочее — причуды костюмера: тюрбан или берет, кружевной воротник, золотая застежка. И больше ничего не разглядеть: лоснятся красноватые потемки, обволакивают фигуру. Как будто люди живут в темноте.

Как будто художник думал, что жизнь не праздник и не подвиг, а скорее похожа на терпеливое блуждание по краю ночи, в зыбких пределах души.

Какое странное, какое ненадежное пространство! Ни клочка неба, ни пяди земли, нет линии горизонта, ни

деревца, ни ручейка, ни камня. Иногда проглянет в глубине картины тусклый и небрежный театральный задник — и это все. А перспектива сомнительна, и тела не чувствуют своей тяжести, не уверены в объеме, который занимают, — всё как в зеркале. И человеческие лица сияют из теплой живой тьмы, какую можно увидеть, только закрыв глаза. Она течет и клубится, она прозрачна и бездонна, очень много краски тратится на нее.

Рембрандт пластает световым лучом эту вязкую, безвоздушную среду. Луч падает куда хочет, а откуда — неизвестно; то распылится во мгле, то вдруг ударит прямо в человека. В природе не бывает такого освещения. Невольно подумаешь о ночной страже, о потайном фонаре. Но именно такие пылающие обрывки выхватывает из небытия наша память.

Рембрандт смотрит на человека так, словно видел его во сне и теперь вспоминает. И модель отвечает ему таким же взглядом — в упор, но издали. Об эрмитажном Иеремии де Декере специалисты прямо полагают, что это портрет посмертный. А Саския в этом нелепом буколическом наряде, с посохом и венком? Как она глядит, робко и прощально, — не на нас, конечно, а на своего обожаемого мастера. Перед картиной Рембрандта зритель вообще довольно часто чувствует себя лишним: смущает явное присутствие автора, это его тут ждут, его ищут глазами, он герой и носитель изображенной реальности. Пример — так называемая «Даная». Что нам делать подле нее?

Господин ван Рейн играет в Тициана. Госпожа ван Рейн старательно, хотя и без блеска, изображает негу и желанье — в неудобной позе, на чересчур роскошном ложе и, кажется, на сквозняке. Наверное, оба слегка потешались над этой затеей, но за шуточной ужимкой страсти был и простодушный порыв похвастать: смотрите, как мы счастливы, и как привлекательна Саския, и как Рембрандт гениален.

Как светится нагота, и сверкает позолота, и женское тело утопает в мягкой рухляди. У этого тела нет тайн от Рембрандта ван Рейна. И он с утонченной нежностью и

бессердечным мальчишеским любопытством трогает кистью понятные лишь на ощупь изъяны оплывшей, как свеча, прелести — уязвимой, несовершенной, преходящей, обреченной, единственной. Рембрандт, видимо, любил Саскию.

Но через несколько лет после ее смерти переменял на картине лицо и улыбку, взяв их у другой жены.

И нет больше ни Саскии, ни Хендрикье, картина заперта на ключ, — ищите рентгеном, как звать героиню. Нет здесь больше никого — один Рембрандт.

Он был самовлюбленный мечтатель и легко принимал за вдохновение внезапный каприз. В заказных композициях случалось ему сфальшивить, восполняя недостаток чувства резким сюжетным эффектом.

Игривость Рембрандта угрюма, откровенность — презрительна. Чем сильнее он хочет быть понятым и восхитить, тем надменней отвергает опознавательные шаблоны, так что названия и фабулы многих картин до сих пор неизвестны.

Словом, не то удивительно, что сразу после смерти Рембрандта забыли на двести лет, а то, что при жизни он все-таки нравился и даже был знаменит в своем краснокирпичном Амстердаме.

Возможно, что дальновидные сограждане поняли: этот безответственный господин ван Рейн, собиратель ненужных редкостей, подписывающий свои картины детским, домашним именем, этот художник Рембрандт открыл точку зрения, с которой некрасивое постигается как прекрасное. Им представлялось, что это удачный прием, изысканная манера: диссонансы человеческого лица гармонически уравновешены воображенным фоном, так что хоть и модель нехороша, и портрет верен, а картина блистает красотой. В Амстердаме было много некрасивых, но умных людей. И они заказывали Рембрандту свои портреты.

А он писал бедность человеческого лица сквозь непролитые слезы неотвратимой разлуки, прозревая в нем печать частной судьбы и общей участи. Он окидывал фигуру жарким драгоценным облаком такого пространства,

в котором душевное волнение автора материальней, чем телесная оболочка персонажей. Это волнение состоит из нестерпимой жалости к личному, временному, смертному; из страха перед исчезновением и мечты о покое; из памяти обид и надежды на милосердие; и благодарности за томительную радость все это чувствовать.

Всё небрежней контуры, всё безразличней любая определенность; немое ожидание становится сюжетом; времени, оказывается, тоже нет: душа навсегда остается подростком-сиротой, и только одно, только одно событие составляет ее судьбу.

И вот Давид расстается с Ионафаном, и Блудный сын припадает к Отцу. Нам видны вздрагивающие плечи. И утрата, и встреча, и вся жизнь — одно безмолвное объятие, один взгляд в теплой густой вечности, одна любовь.

«С любовью дело обстоит так, — писал сосед Рембрандта, молодой философ Спиноза, — что мы никогда не стремимся избавиться от нее (как от удивления и других страстей) по следующим причинам: 1) так как это невозможно, 2) так как это необходимо, чтобы мы не избавлялись от нее».

ЗАБАВЫ АНТУАНА ВАТТО

И тогда на цыпочках,
тихонько вверх по лестнице
молчаливо в комнату
вошли комедианты:
Aglescino,
Pantaleone,
Il Dottore
и
Colombina,
которые с весьма большой любовью
унесли на своих плечах
одетого в белое клоуна из Бергамо;
а куда — мы не знаем.

Карл II, король Испании, был стар, детей у него не было. По совету приближенных и с благословения папы римского король 2 октября 1700 года подписал завещание, в котором назначил своим наследником французского принца — Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV. В ноябре король умер. Наследство было принято. Политическое равновесие в Европе нарушилось. Весной 1701 года началась война.

Тогда-то, спасаясь от рекрутского набора, долговязый, но слабогрудый Антуан Ватто, семнадцатилетний сын кровельщика, ушел из родного Валансьена, знаменитого своими кружевами и крепостными сооружениями. Позади оставалась мещанская юность, по обеим сторонам дороги догорал XVII век, навстречу брели новобранцы, догоняющие свой полк, скрипели колеса маркитантских повозок. Антуан надеялся, что в Париже сумеет продать свою жизнь дороже, чем на полях Фландрии. Он думал — жизнь вся впереди, а половина была уже прожита. Он шагал налегке, все имущество его составляли рисовальные принадлежности, меланхолия, чахотка, талант.

В столице нового столетия Ватто не затерялся. Совпадение случайностей, похожее на судьбу, вывело его из толпы безвестных мастеровых, доставило заказчиков и друзей.

Мало сказать, что он сделался модным живописцем. Его муза стала любимой камеристкой моды, ее наперсницей и наставницей. Появились прически и шляпки à la Watteau, он расписывал веера и крышки клавикордов. Раскупались нарасхват и его картины, вернее — картинки: эти творения не скрывали своего родства с утварью, не забывали, что они — вещи, что ими можно обладать; они искали благоволения зрителя с такой интимной предупредительностью, какая не снилась гордому искусству Пуссена или Рубенса. Ватто не подписывал и не датировал свои картины и не давал им названий. К чему? Разве менуэт или парик нуждается в имени? Он должен нравиться — вот и все. И молодой провинциал мастерил одну за другой композиции, мелодичные, как бой каминных часов; изящный жест запырал каждую из них, как шкатулку; взоры, встречаясь и расходясь, держали пространство, мнимое и глубокое, словно в зеркале. В этих картинках салон мечтал о саде, и платья атласного шелка не боялись травы. Под сенью рош дамы и кавалеры играли невинно-пикантную пантомиму, плыл — с приличной игривостью — бесконечный куртуазный сюжет: любое прикосновение открывает новую главу; приглашение к танцу — событие; в мановении руки — намек... Нарядные человечки не притворялись всамделишными, жили тихо, как будто в натюрморте. Хлопотали порознь кто о чем, но все вместе выражали состояние покоя.

Все это называлось — галантные празднества. И Ватто написал их много. Цену за них он спрашивал низкую; на него находили припадки ярости, и тогда он свои работы с мстительным наслаждением уничтожал. Ватто, хоть и не получил образования, к живописи относился серьезно. Он слегка презирал эти роскошные безделушки, хотя они были красивы и кормили его и восхищали меценатов. Ватто, по-видимому, не замечал, что нелюбимые дети все-таки похожи на него, что, машинально табуя легкомысленных персонажей, он невольно выдавал свои заветные мысли.

Можно сказать, что есть дваклонения мечты: желательное и условное. Один строит воздушные замки,

другой — карточные домики. Праздники Ватто — игра, забава, меланхолическая и монотонная, как пасьянс.

Вот как наставлял Ватто своего ученика: «Он посоветовал Ланкре отправиться в окрестности Парижа и нарисовать несколько пейзажей, затем нарисовать несколько фигур и из этих зарисовок скомпоновать картину по собственному воображению и выбору». Так он и сам поступал. Он рисовал с натуры каждое утро. Сочинение картины состояло в том, чтобы выбрать из альбома разные моменты разных жизней и склеить их на полотне. Не меняя ни позы, ни жеста, одни и те же фигурки порхают с холста на холст, из пейзажа в пейзаж, из одной компании в другую. Эти господа держатся непринужденно, однако не умеют уверить нас, будто их трогает веселая суета ситуации. Каждый живет в глубине своего мгновения, чуждого окружающему. Выдает их главным образом взгляд: и друг на друга, и на зрителя они смотрят внимательно и печально. Так, узнавая, вникают в собственное отражение. И зрителю передается случайность и эфемерность существования этих условных любовников и мнимых счастливцев; заводные игрушки, нарядная мошकारа — вот что такое люди; и Ватто с сострадательным пренебрежением подчиняет их своей прихоти, заставляет обниматься и плясать. Подражая провидению, он утешал свою гордость.

Так он жил, играя в чет и нечет чужими, воображаемыми радостями. Это скоро приелось, как и восторги знатоков. Ватто скучал, презирая себя и других, мечтал уехать куда-нибудь — хоть в Валансьен, если нельзя в Италию. «Единственными его недостатками, — говорит мемуарист, — были равнодушие да еще любовь к переменам».

В гуще города Парижа он вел жизнь одинокую и скромную, чуждый кипевшему вокруг роскошному разврату Регентства.

«По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени... Алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись

и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей.

...Образованность и потребность веселиться сблизила все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность, всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностию» (Пушкин. «Арап Петра Великого»).

В 1716 году из двадцатилетнего изгнания вернулась в Париж итальянская труппа и стала давать спектакли в Бургундском отеле. Ватто влюбился в комедию дель арте. Она говорила, что мир полон ряженных; чтобы разгадать людей, надо их переодеть; чтобы сыграть жизнь, довольно дюжины масок. Чем тверже маска, тем беззащитней лицо. Ватто узнал себя в неловком и простодушном Пьеро. Современники вдруг увиделись ему распавшейся труппой комедиантов, способной представить в лицах его тоску, и страх, и нежность. В ту пору Ватто переживал кризис. Одиночество сломалось. Люди выросли в глазах Ватто, и он поверил в реальность их существования. Он понял, что можно писать портреты знакомых, как свою предсмертную исповедь, и создал несколько пронзительных шедевров. Но было уже поздно. Если верить легенде, Ватто умер с кистью в руке.

В Эрмитаже зябнут несколько картин Ватто. Вот одна из них. В парке с прозрачной листвой сидит на прямоугольной каменной плите молодая дама в черном платье и с черным бантом в рыжеватых волосах. Правой рукой дама присобрала подол. От этого по платью идут очень красиво написанные волны складок. На кавалера дама не глядит, сидит к нему спиной, только голову повернула, чтобы показать, что слушает. А он полулежит, опираясь локтем на ту же каменную плиту. Мне сдается, что позу эту он сохраняет не без труда: вес тела приходится на локоть, а сложения кавалер плотного. Он, разумеется, в камзоле, на нем берет со страусовым пером. И, разумеется, он смотрит на нее. О выражении лиц можно без натяжки сказать только одно: кавалер улыбается, а дама — нет.

Изящная модная картинка, справедливо замечает исследователь. Простое сопоставление фигур, связанных условной ситуацией. Этого самого кавалера в той же позе легко узнать на другой картине Ватто — «Праздник любви» (в Дрезденской галерее).

Да, простое, еле слышное созвучие, прямоугольный — 42 на 34 сантиметра — вымысел, окно внезапной тишины: время не остановилось, его просто нет. Композиция такая незначительная, что кажется таинственной.

Можно ли усмотреть здесь хотя бы проблеск сюжета? Только если придать черному платью значение траурного. Тогда перед нами — молодая вдова и соблазнитель, а мраморная плита на окраине парка вводит кладбищенский мотив. Тогда это даже не простой сюжет, а знаменитый... Не могу удержаться и приведу перечень реквизита, необходимого для старинной пьесы «Каменный гость» в комедии дель арте: *«Старая шага для Полличинеллы; фонарь; два сачка для ловли рыбы; две корзины; плащ; свежая рыба; пучок редьки; метла; палки, чтобы бить; список для Полличинеллы; траурное платье для донны Анны; письмо; два кресла; труба; два подсвечника с зажженными свечами; лютня; барабан и другие музыкальные инструменты; приспособления для полета; люк; надпись для статуи; буфет и роскошные приборы для ужина; шкафчик со всеми необходимыми принадлежностями; предметы для еды и питья, все черное, траурное...»* и т. д.

И не подумаю настаивать на этом сближении. Разве что краешком мысли Ватто допускал тень такой реминисценции в свою картину. Да ведь и не в сюжете дело. Есть небо, листва, шелк, есть гармония цвета. И то, что люди так бесконечно разобщены, точно куклы, забытые в саду детьми, обогащает содержание оттенком нереальности и щемящей загадки. Вот и все.

Художник Мерсье назвал свою гравюру с этой картины «La Boudeuse». Глагол *bouder* означает «дуться», «сердиться», «надувать губы», «с досады отказываться от чего-либо». Стало быть, наша «Капризница» вполне может именоваться и «Недотрогой» или еще как-нибудь. Какая

разница? Картина Ватто даже и самого рассудительного зрителя соблазняет поиграть в нее, принять в ней участие, надеть ролями, характерами, речами — бубновую даму и валета треф...

Роковая комедия игрушечной плоти. Рококо.

Вскоре после смерти Ватто краски на его полотнах померкли. Так сбегает улыбка с лица. Какими-то правилами ремесла пренебрегал, говорят, живописец. Сквозь масло и лак проступила печаль.

Это тайна судьбы проступает сквозь тайну стиля.

СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ МИССИСИПИ

Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существование для тебя.

И. Б.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хотел всего лишь растолковать наконец самому себе странную притягательность этой старинной книжки: брать ли ее на необитаемый остров? Любить ее нелегко; жить, как будто ее не было, — не получается; перечитывать с каждым разом всё грустней: всё темней в ее пространстве, и глуше звучат голоса; от ярких цветных фигурок тянутся угрожающие тени; мрачные значения проступают в легкомысленно-высокопарных речах.

Во всяком случае, на пишущего данный текст «История кавалера де Грие и Манон Леско» действует именно так: словно один из так называемых чудесных предметов — волшебное зеркало, или кольцо, или, там, золотое яблочко, кружащее по серебряному блюдцу... Короче, переносит в другой мир. Причем каждый раз в новый. Но вот ведь незадача: как почти никогда не бывает в сказках, каждый из этих новых миров безотрадной предыдущего.

И — как бы это сказать — всё реальной.

Эту историю вспоминаешь, как сон, в котором отчего-то догадался, что разные серьезные слова: *страсть, свобода, верность, ревность, мужчина, женщина, честь* — вроде игрушечных корабликов, непотопляемо легких; от каждого идет на неизвестную глубину леска с крючком, вцепившимся в чудовище; хищные призраки скользят в подводной холодной ночи; кораблики на волне пляшут.

Аббат Прево не считается гением; просто умный беллетрист; наверное, немало претерпел от тех европейнок

нежных; полагаю, что каким-то случаем — вряд ли счастливым — заглянул в лицо настоящей правде.

И эта изменчивость смысла, его ступенчатость — неокончателность, похожая на бесконечность, — надо думать, приз, поднятый с самого дна.

Развязка: триллер

«Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет; всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но, хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нем».

Не правда ли, такое предисловие — как бы сверхмощная лупа: теперь мы не пропустим ни буквы, ни заусеницы шрифта.

«Часть ночи провели мы спокойно; я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат; я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится».

Женщина не ранена; молода: нет и двадцати; вечером была здорова; и никогда ничем, насколько известно, не болела. С чего взяла она, что умирает? Вздор какой! Просто расклеилась, расхныкалась.

Де Грие говорит: он сперва так и подумал.

«Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастии, и отвечал только нежными утешениями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек».

Согласитесь: не всякий распознал бы тут агонию. Всякий другой скорее решил бы: припадок; ну, или обморок, раз не отвечает — где болит. Всякий другой потянулся

бы за флажкой с алкоголем, благо их несколько под рукой. Но вы же видите — не можете не увидеть — подчеркнуто трижды: заняты у де Грие руки.

Поистине, такие фразы оттачиваются бессонными ночами.

Про «подкрепительные напитки, что захватил с собою», он вспомнит перед тем, как рыть могилу.

И что Манон умерла не молча — вдруг выяснится в абзаце между мнимым, стало быть, обмороком — и могилой; но это уж такой абзац, что прямо запрещает любые расспросы:

«Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии».

Немного же вы сумели сообщить, молодой человек.

И немного найдется в мировой литературе — не говоря о житейской практике — таких необъяснимых смертей.

Удивительно, что я это заметил только теперь, перечитывая как бы напоследок. Несравненно удивительней, что я это заметил, похоже, первый.

Но как же так? Должна же быть какая-то причина смерти. Возможно ли, чтобы сам де Грие даже не попытался понять, отчего случилось «несчастье, подобного которому нет и не будет» (кстати: это, по меньшей мере, чересчур наивно — если только не многозначительно)?

Переутомление (впервые в жизни Манон прошла пешком около двух миль)? Переохлаждение (впервые в жизни провела ночь под открытым небом; однако Новый Орлеан расположен на тридцатой параллели)? Невозможно, потому что смешно.

Скоротечная чахотка? Тропическая лихорадка? Разрыв сердца (по-нашему, инфаркт)? Вот разве что разрыв сердца. Или змеиный укус.

В любом случае показания де Грие не совсем правдоподобны. И он даже не скрывает, что умалчивает о чем-то несказуемом, невыносимом. То есть от нас не скрывает;

в смысле — от маркиза, как его там, — Ренонкура, в смысле — от автора «Записок знатного человека», от г-на аббата Прево. В суде все эти умолчания пополам с обмолвками ему не прошли бы даром. Да как будто и не прошли:

«Было наряжено следствие... меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло горестное событие. Синнеле, несмотря на неистовое горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушие ходатайствовать о моем помиловании и добился его».

Вроде бы получается, что приговор суда был не в пользу де Грие.

(Выскажу вкратце и наспех наиболее, по-моему, вероятное. Де Грие не заколол Манон Леско, — хотя намеревался именно заколоть, и этому найдется подтверждение в собственных его словах. Упомянутые им предсмертные симптомы наводят на мысль об отравлении. Про фляжки с крепкими напитками сказано дважды — ровно вдвое больше, чем требовал ход событий. Я почти совершенно уверен, что Манон скончалась от яда; надеюсь, что она приняла его по собственной воле; подозреваю, что с ведома де Грие; не говорю — по предложению, тем более — по настоянию; но убежден, что и задним числом — через год, на добровольной этой исповеди — он полагает, что в ту фатальную ночь в долине Миссисипи его беспутная возлюбленная исполнила — или даже заплатила — свой долг.)

Но позвольте напомнить, в чем там дело.

Завязка: водевиль

Начинается эта история во дворе главной гостиницы города Амьена. Французское королевство, год предположительно 1712-й. Наверное, сентябрь. Почему-то 27-е.

Он — дворянин, принадлежит «к одной из лучших фамилий П...». Она — происхождения заурядного, то есть спасибо не крепостная; дочь arrasского какого-нибудь горожанина.

Он, стало быть, в первом ряду, со шпагой, подбоченясь, — она в хороводе на горизонте, — однако же не так: оба вытолкнуты за край рамы, выбракованы, охолощены.

Он — потому что младший сын, то есть не наследник, то есть нахлебник. Закон не позволяет расчленять дворянские именья; все достанется старшему, а младший брат — лишний рот. Его долг перед сословием — не оставить потомства. Вот его и записали в Мальтийский орден (что-то вроде погранохраны Средиземного моря) кавалером, точнее — рыцарем, по-французски — шевалье; в одиннадцатилетнем возрасте под псевдонимом де Грие он дал обет безбрачия.

А родители m-lle Манон попросту сдают ее в монастырь — «против воли, несомненно с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась». Надо полагать, приличное замужество ей уже не светит; стало быть, и она — лишний рот и вдобавок позорит фамилию Леско.

Короче говоря, они оба — жертвы общественного контроля над рождаемостью. Он исключен из мужчин, она — из женщин: дабы не плодить нищих (конечно, и порочных), будьте любезны официально, добровольно, навсегда выйти из Игры.

Сейчас де Грие — семнадцать; он невинен, как-то даже слишком невинен и застенчив; Манон младше и «гораздо опытнее».

Эпизод предсказуемо прост, наподобие водевильного куплета. Сколько бы де Грие ни пытался нам втолковать, будто с ним уже тогда произошло нечто невероятное, — мы страдаем не без улыбки. Он потерял голову — это бывает; его красавица воспользовалась шансом (вроде как незапертой дверью или приставной лестницей) бежать с этапа — тоже понятно.

И что на одиннадцатый, не то на двенадцатый день побега и блаженства — когда еще солнце идиллии, так сказать, стояло в зените, — Манон обзавелась покровителем постарше и гораздо побогаче, а на тридцатый при его содействии сплвила юного любовника обратно под родительский

кров, — никому, кроме де Грие, не представляется изменой коварной, тем более — вероломным предательством.

Тут не просто арифметика — хотя 150 экю на двоих при определенном образе жизни в Париже хватает, как выяснится позже, как раз на месяц. Важней, что с приставной лестницей далеко не убежишь. Кавалера будут искать, и обязательно найдут, — а Манон не для того уклонилась от монастыря, чтобы напрямик проследовать в так называемый Приют, или Убежище, где публичных женщин перевоспитывают розгами. Оставить бедняжку де Грие одного в столице, без гроша и в расстроенных чувствах — вот это действительно был бы поступок бессердечный.

Все обошлось, хотя еще с полгода юноша был не в себе: рыдал, топал ногами, пробовал уморить себя голодом, помышлял о побеге, о мщении... Достоин упоминания воображаемый им образ мести: шевалье мечтает не о дуэли.

«Отец пожелал узнать мои намерения. — „Я направлюсь в Париж, — сказал я, — подожду дом Б... и сплужу его живьем вместе с коварной Манон“. Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе — глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.

И. Б.

О добровольном рабстве

Все начинается сызнова, и по-настоящему, при второй встрече кавалера — вообще-то, теперь уже аббата — де

Грие с его «дорогой возлюбленной» (буквально — «chère maitresse»; русская метресса XVIII века — наложница, фаворитка; французская, должно быть, звучала отчасти сударкой).

Приемная духовной семинарии Сен-Сюльпис. Шесть часов вечера. Де Грие только что вернулся из Сорбонны, где выдержал многочасовой богословский диспут — вроде как диссертацию блестяще защитил. Не сегодня завтра он примет духовный сан — и одет соответственно: в чем-то черном, длинном. Он не виделся с Манон около двух лет — узнает ее, конечно, сразу, — описать не в силах. Мы вправе уверенно предположить, что на ней богатое, модное платье, вообразить шляпу и вуаль, — но никаких телесных примет: брюнетка ли, блондинка и какого роста; ни фигуры, ни походки, ни лица; без очертаний, как источник света:

«Ей шел осьмнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне показался волшебным».

Происходит роковой разговор — совершенно бессмысленный; верней, обмен слишком отчетливыми фразами, не имеющими смысла именно как фразы: пожалуй, значение каждой может быть передано частицей «да» с вопросительным знаком — либо с восклицательным; но пропадут все эти словесные подножки:

«Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова.

...Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь».

Вообще-то, раз уж не решился повернуться и уйти, следовало бы принять тон ледяного недоумения. Что-нибудь вроде: чем могу быть полезен, сударыня? Или: разве мы знакомы? не припоминаю, при каких обстоятельствах был удостоен этой чести.

«...Сделав усилие над собой, я воскликнул горестно: „Коварная Манон! О коварная, коварная!“ Она повторила, заливаясь слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. „Чего же вы хотите?“ — вскричал я тогда. „Я хочу умереть, — отвечала она, — если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно“».

Разное можно сказать в ответ. Какой-нибудь персонаж «Опасных связей» или «Трех мушкетеров» ухитрился бы даже с улыбкой, любезной донельзя, спросить адресок: дескать, при случае непременно загляну, и вы останетесь довольны гонораром. Но эти романы еще не написаны; кстати, все действующие в них кавалеры только тем и заняты, в сущности, что мстят за де Грие; а он безоружен и беспомощен:

«— *Проси же тогда мою жизнь, неверная!* — воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать, — *возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе*».

Трижды не отбил подачу; Манон выиграла.

«Едва я успел произнести последние слова, как она бросилась с восторгом в мои объятия».

Закон судеб

В этой сцене (пока — только в этой; через двадцать лет автор присочинит и другую в таком же духе) Манон тратит слова (и слезы) не то что бескорыстно — безрассудно. Не нуждается она ни в кошельке де Грие, ни в его защите: процветает щедротами любовника-откупщика. Дело идет всего лишь о власти; точнее — о рабовладении.

Но какая, однако же, демонская самонадеянность! Дворянину, духовному лицу — словом, человеку из общества, и притом человеку с будущим — предложить этак без затей («Я спросил ее, что же нам теперь делать?»):

а переходи на нелегальное положение; поступай на содержание ко мне, содержанке!

И дворянин, духовное лицо, и прочая, и прочая — во мрак и позор бросается стремглав, и еще с какой-то «неизъяснимой отрадой», — и на следующей же странице сделался бы смешон, — не вздумай вдруг Манон Леско смягчить его участь:

«Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила (что это — наглость Манон или издевка де Грие?), она решила порвать всякие сношения с Б...»

Таким образом, честь в некотором роде не погибла: де Грие не будет делиться с г-ном Б... ласками Манон; а станет вместе с нею проживать капитал, который она у этого Б... «вытянула»; денег должно хватить лет на десять; а за это время отец кавалера, скорей всего, умрет и что-нибудь ему оставит.

Проект не особенно возвышенный (к тому же непредвиденные случайности — пожар и кража — почти сразу его разрушают), но все-таки тут не обрыв, а лестница к обрыву: приживалом — ничего не попишешь, карточным шулером — извольте, мошенником — так и быть; очень не хотелось бы торговать собственным телом (*«ибо мне претило быть неверным Манон»*), — но как последний шанс — куда ни шло; лишь одно-единственное положение представляется кавалеру невозможным, потому что нестерпимым, — и вот наши любовники пробираются по самому краю, и Манон все время соскальзывает, а де Грие опять и опять ловит ее уже на лету и отчаянным рывком выхватывает — выхватывает из чужих рук.

В ее судьбе это как бы привычный вывих: падает благосостояние — в ту же минуту подворачивается очарованный богач. По словам де Грие (хотя откуда ему знать?), другие мужчины ей, в общем-то, ни к чему (*«я даже был единственным человеком, по ее собственному признанию, с которым она могла вкушать полную сладость любви»*); однако же не ясно, что сказал бы по этому поводу г-н Б... или кто другой), — но развлечения необходимы — *«столь необходимы, что без них положительно*

нельзя было быть уверенным в ее настроении и рассчитывать на ее привязанность»!

Если вдуматься, это страшные слова — и описывают существо, одержимое истерической скукой — онегинской, так сказать. Манон заглушает гложущую изнутри пустоту — суетой и больше всего на свете боится, что когда-нибудь на этот наркотик не хватит денег. Вроде как игровой автомат в режиме non-stop и с тревожным реле: ресурс партнера на исходе, кто следующий?

Каждый раз этот сигнал застает злополучного де Грие врасплох. Заклиная про себя: полежи, кукла, полежи с закрытыми глазами, пока я где-нибудь стащу аккумулятор, — он поспешно удаляется. Кукла тут же открывает глаза и бежит в другую сторону.

Как во сне, она идет по вращающейся сцене: из декорации в декорацию, из пьесы в другую пьесу, из роли в другую роль (кто, например, даст голову на отсечение, что неприятный гвардеец Леско — действительно ее брат?); но все одно и то же, драматургия сплошь бездарная, бесконфликтные живые картины — галантные празднества, завтраки на траве.

А де Грие застрял за кулисой, потом запутался в занавесе. Потому что он двигается по прямой; потому что, уступая героине в блеске ума, он безмерно превосходит ее — и всех нас — величиим души. Каковое заключается, по-видимому, в страстном и деятельном постоянстве. Как цитирует Монтень из Плутарха: «Если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это всегда желать и всегда не желать одной и той же вещи». Людей такой прямы, говорит Монтень, во всей древней истории наберется едва ли с десятков; а мы, нынешние (он писал за полстолетия до Прево), все скроены из отдельных клочков, из случайных связей; поэтому «в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других».

Только де Грие равен самому себе; всегда желает одного: не разлучаться с Манон; а измена Манон для него

несовместима с жизнью. Всего лишь два побуждения — для поступков каких угодно: солгать, украсть, убить, пожертвовать собой.

Отплытие на остров Любви

Обсуждая сюжет, все — и де Грие первый — сводят главный мотив к навязчивой сексуальной идее; он даже приплетает сюда мечту о каком-то счастье — представляя его как нескончаемый медовый месяц на загородной вилле.

Но аббат Прево не зря обмолвился о своем сочинении: *этот маленький трактат*, — и не зря первое издание сожжено рукою палача.

Это история самой настоящей, весьма дерзкой ереси — личной религии кавалера де Грие. Это история о том, как муравей нашел себе богиню — в прямом смысле, без метафор. Так и сказано: Манон могла бы возродить на земле язычество, — и де Грие неоднократно и не шутя намекает, что она — не человек. А его страсть исчерпывающим образом освещена в Новом Завете:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится,

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

...Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает...»

Вычтем из этой веры надежду: останется любовь как ревность в последней степени; как страдание от непобедимой реальности чужого Я; какая уж тут свобода воли; но и рабство не спасает; разве чья-нибудь смерть.

И вот они вдвоем на краю света; почти все унижения позади, кроме последнего: завтра Манон отдадут какому-нибудь каторжнику; лучше бы досталась племяннику губернатора, но вчера вечером де Грие племянника этого убил (думает, что убил), теперь де Грие повесят.

А до индейских вигвамов не добежать, ни до английского форта, и вообще это из другого романа, из Фенимора Купера. Манон понимает верность на манер Изольды с Тристаном — исключительно как «верность сердца»; губернаторский племянник вряд ли был ей страшен. Но всё поздно. И даже совестно не подарить кавалеру напоследок единственного неопровержимого доказательства взаимности. Он, бедный, грозился *«в случае если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь»*.

Он закопает ее в песке обломком шпаги.

Р.С. В «Игроке», в «Идиоте», сильнее всего в «Кроткой» — как больной зуб, ноет эта музыка. Достоевский-то знал, отчего умерла Манон Леско.

Р.Р.С. Второй эпитафия — без ответа, навсегда.

ОСЕННИЙ РОМАНС

Певчих стрекоз не бывает, дорогая Герцогиня. Дедушка Крылов шутит. Позволяет себе поэтическую вольность — изображает, как удобней воображению. Стрекоза, вообще-то, стрекочет, но не как сорока — скорей, как кузнечик, — короче сказать, в полете крылья у нее трепещут: от каждого — как будто ветер, и каждое — как бы парус, и воздух, растираемый крыльями, гнется и скрипит, — не ее это голос, понимаешь? Но ведь и муравьи не говорят!

На то и басня: вроде как цирк, только наоборот — там дрессировщик заставляет животных — нет! нет! конечно, не заставляет! — конечно же, воспитывает... он их так воспитывает, чтобы они подражали нам, людям, — то есть чтобы выказывали ум: катались на велосипедах, качались на качелях, танцевали, кланялись... Словом, чтобы хорошо себя вели, слушались укротителя.

Кстати! Дедушка Крылов думал, что смиренные даже лучше умных — во всяком случае, нужней: за что, например, крестьянин любит свою лошадку? ведь с нею обмениваться мыслями не интересно, у нее небось все мысли только про еду (вот именно: как у — — —) — но это спрашивает Лиса, она ревнует Крестьянина к Лошади, отнюдь не прочь с ним дружить одна — не постигает, отчего ей, толковой, предпочитают существо столь ограниченного интеллекта.

— «Эх, кумушка, не в разуме тут сила!» —

Крестьянин отвечал: «Все это суета;

Цель у меня совсем не та:

Мне нужно, чтоб она меня возила

Да слушалась кнута».

Вот какой земледелец несентиментальный, не то что некоторые. А кнут — это такой рычаг управления — вообще, мы отвлеклись.

Значит, так: цирковые звери — ученые, то есть послушные настолько, что представляются веселыми и умными — все как один. А звери басенные играют в человеческую глупость — причем обычно в глупость непослушных, от которой, по мнению многих, все несчастья, — и тут у каждого роль своя. Сочинитель басни назначает, кому водить — кто в природе смешней похож на человека, похожего на какой-нибудь изъязв человеческого ума. Вот Стрекоза: состоит из одного легкомыслия — почти как мы с тобой. Это плохо — Стрекозу надо проучить — погубить или хоть пристыдить, а еще лучше — и то и другое. В этом смысл игры, с этой целью дедушка Крылов и заманил Стрекозу (хоть она и не зверь) в басню и покумил с Муравьем.

Нет, настоящая, живая стрекоза — хорошая, обижать ее ни в коем случае нельзя. Вот, смотри, в энциклопедии написано: стрекозы истребляют комаров, мошек и других вредных насекомых, — *«чем приносят пользу»*.

Я же говорю — игра. Дедушка Крылов, конечно, знал, что в природе нет ленивых, ни беспечных, и все, например, насекомые отдают всю жизнь и все силы борьбе за счастье своих потомков.

Другое дело, что одни — вредные, а другие — полезные: по крайней мере, так в энциклопедии. Между прочим, как раз про муравьев там ученые, ты только послушай, что пишут: *«Многие М. относятся к числу вредных насекомых, прежде всего потому, что они охраняют тлей — вредителей культурных растений; кроме того, значительное число видов М. являются вредителями садовых, полевых, технических культур, тепличных растений и пищевых запасов...»*

Видишь? Все дело в пищевых запасах! Муравей, когда ни увидишь его, непременно тащит в челюстях какую-нибудь дрянь — вероятно, съестное, — а стрекоза питается своими комарами на лету! Порхает с пустыми крыльями, да еще знай стрекочет — вот и похожа на лентяйку — на какую-нибудь недалновидную тетеньку; одно слово — по-

прыгунья: лучшее биографическое время проводит в увлечениях, развлечениях, — нет чтобы консервировать на зиму овощи, копить сбережения на черный день, всю жизнь готовиться к старости, — брала бы пример с Муравья...

(Чего дедушка Крылов, скорей всего, не знал — а дедушка Лафонтен и подавно, — как и я до сих пор, — это что европейские наши, типичные, дачные муравьи: озабоченные, целеустремленные, явно — крепкие хозяйственники... так вот, они — кто бы мог подумать? — все поголовно тоже как бы тетеньки — «недоразвитые в половом отношении самки», — сказано тут же в энциклопедии. Попроси наша Стрекоза убежища не у такой вот бескрылой рабочей особи, а у полноценного крылатого муравья — вдруг разговор вышел бы другой? Грамматический-то род непоправим, даром что у стрекоз — «вторичный копулятивный аппарат самцов высоко специализирован и не имеет аналогов среди насекомых»...

Какие пустяки! не все ли равно? бюджет муравейника не предусматривает затрат на попрошаек, на разных там вынужденных переселенцев, — частной же собственности, как известно, у муравьев нет —)

Прости, задумался. Итак, Стрекоза не умеет жить — плохо ей придется зимой — так ей и надо — сама виновата — пускай пропадает, — я шучу, шучу!

И дедушка Крылов шутит: он, конечно, спасет Стрекозу — допустим, приютит ее на зиму в Публичной библиотеке, — там знаешь сколько мух!

А запасливый, но скаредный, неутомимый, но неумолимый, злорадный Муравей... Не бойся: никто его не обидит, — он же ни при чем, это баснописец наделил его холодным сердцем, а сам по себе он симпатичный. Наверняка ему начислят достойную пенсию, как ветерану труда и санитару леса, — плюс консервы со склада, и опять же поголовье тлей... Счастливая зима предстоит Муравью!

(Скитаясь по тесным, непроглядным, жарким коридорам, беззвучно приговаривать в такт шагам:

— «Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»

Выпад — укол! Еще выпад — опять укол! Обманное движение: так поди же... — и последний укол, наповал! Фехтовальная фраза!

Как восхитительно разрисовывал этот мастер чужие мысли, ничьи, из неприкосновенного запаса толпы — в том числе, и с особенным наслаждением, главную — что уши выше лба не растут... Впрочем, это у старушки-басни наследственный порок — Эзопов комплекс. Ядовитая, стремительная, тяжкоблистающая речь закована в градусник рабской морали.

Твердят наперебой, что Крылов был гораздо умней не только своих покровителей, почитателей, но и собственных басен. Кто его знает; людей он, кажется, презирал буквально до безумия: нарочно им внушал — неряшеством, так скажем, и обжорством — отвращение; даже, говорят, как-то в молодости попробовал нагишом поиграть на скрипке у открытого в Летний сад окна. А жизнь досталась долгая — проигрался, присмирел, притворился. Предпоследний придворный шут: а последним был Тютчев — но уже другого тона: в тунике античной не плясал. Крылову басни доставили славу и покой. Не сорвать черепахе панцирь, обгаженный столичными голубями — — —)

Нет никакой черепахи, сам не знаю, что бормочу. Крылов был очень хороший поэт, Герцогиня. Подрастешь — обследуй непременно свод басен, полюбуйся старинной работой: синтаксис и метр, даже в безнадежно тухлявых, — сплошной восторг. Что Змея практически всегда знаменует иностранца, что вольнодумствующий писатель опасней разбойника — не важно: благонадежность, возведенная в добродетель, равняется маразму, — а мы с Иваном Андреевичем жили в полицейское время... Прелестнейшие вещи, само собой, — в тени: «Мот и Ласточка», «Крестьянин и Смерть», — смотри не пропусти. Обещаешь?

Навеки твой.

В ПУСТЫНЕ, НА БЕРЕГУ ТЬМЫ

Начали! Строки пятая и шестая:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила...

Один ли я вижу — и не галлюцинация ли: что его породила природа в день гнева степей? В день гнева жаждущих степей — гнева жажды, гнева от жажды. Изнемогая, негодуя на судьбу, то есть на свое местоположение — под самым Солнцем, — обезвоженная почва, прежде чем обмякнуть, превратиться в море бесплодного праха, камнеет и раздражается, как проклятием, — исчадием. Извергает, изрыгает, псторгает из последних глубин вещество своей смерти — что-нибудь вроде мертвой воды, вязкой Аш-два-О из антимира — и рисует в раскаленном воздухе огромный восклицательный знак, одетый корой, покрытый листьями, истекающий влагой.

Бывают у Пушкина такие глубокие инверсии — вроде зеркального шифра — с обращенной симметрией. Помните?

Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

Или:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...

По-моему, он так наверстывает опоздание мысли. Когда волнение слишком сильней слов. Ну, что это — можно скрыть высокий ум под легким покрывалом безумной

шалости? Старомодная, между нами говоря, сентенция, и с иностранным акцентом. Душа, палимая огнем, — вообще скучает по прохладительным напиткам. Вращая строку на вертикальной оси, Пушкин переходит как бы в ультразвук: таких интонаций голосу не взять (проверь, проверь), нас пронзает не текст, а восторг, пробежавший по тексту.

Так, по-моему, и тут: нить фразы сложена вдвое, а концы перекручены.

Это получилось не сразу. Сперва он написал:

Природа Африки моей
Его в день гнева породила...

И конечно, проговорился о важном, но без пользы для хода темы. Кто же не знает, что африканская природа своенравна? Смотри лицейскую тетрадь по географии. Анчар, стало быть, сотворен в одну из пятниц на неделе, как случайная гримаса первобытного зла: ботаническая химера. Примерно так, полагаю, и было напечатано в английском журнале: в лесах Малайзии встречается удивительное создание природы; туземцы приписывают *Упасу* дьявольские свойства, и проч. Журнал — чего-то там «Magazine» — читали в Малинниках барышни. А стихи получались — для детей, вроде того, что Африка ужасна — да, да, да! Не в Корнеи ли податься Чуковские?

«На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребяташки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу, и думала тихонько от них убраться. — Но Петр. Марк. их взбуроражил, он к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманывает — не ешьте черносливу, поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут и всем вам будет по кусочку — дети разревелись; Не хотим черносливу, хотим Пушкина — Нечего делать — их повезли, и они сбежались ко мне облизываясь — но увидев что я не сахарный а кожаный совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок (или девиц, как приказывает звать

Борис Михайлович) я с ними возжусь платонически, и от того толстею и поправляюсь в моем здаровьи — прощай, поцалуй себя в пупок если можешь».

Он переменял:

Природа пламенных степей
Его в день гнева породила...

Эпитет оказался бесцветным и неосязаемым. Окружающие слова сквозь него потянулись друг к дружке, — и цепочка смыслов (наподобие молекулярной, надо полагать) распалась на природу степей и день гнева.

Это было хорошо, потому что бедняга-глагол стуселся — как Станционный Смотритель (еще не написанный), — окончательно вжался в угол, — авось не оконфузит героиню явным фамильным сходством. (Вовсе бы его убраться, да вот беда — незаменяем.)

Это было еще потому хорошо, что День Гнева — словосочетание величавое и роскошное. Моцарт в нем гремит (тоже не написанный пока), соборный орган у Святой Екатерины на Невском:

*Dies irae, dies illa
Solvat saeculum in favilla
Teste David cum Sibylla.*

Тот день, день гнева, развеет земное в золе, клянусь Давидом и Сивиллой. И так далее по тексту Фомы из Челано, XIII век.

Пушкин, однако, латинским гимнам не учился.

Зато читал Ветхий Завет — в частности, пророков, — и у девятого из так называемых малых пророков, у Софонии (ах! нет у меня под рукой Библии на церковнославянском! Обойдемся синодальным переводом):

Близок великий день Господа, близок — и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!

День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,

День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен.

И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помет.

...Ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.

Замечу к слову — незаурядная личность был этот Софония (жил и работал при царе Осии, между 642 и 611-м до нашей, естественно, эры). Проницательный геополитик: предсказал крушение нескольких держав, — и его пророчества исполнились. А стихи — в манере Иосифа Бродского, меланхолически-отчетливой:

И прострет Он руку Свою на север — и уничтожит Ассура и обратит Ниневию в развалины, в место сухое как пустыня.

И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные; пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее; голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки.

Вот, чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «я — и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвистнет и махнет рукою.

Конфликт Создателя с цивилизацией — а природа, соблюдая строгий нейтралитет, остается в некотором даже выигрыше. Хотя не исключено, что производит мутантов (типа ежа голосистого), и Анчар, подобный атомному грибу, — действительно вечный памятник Дню Гнева. Что же, летим прямо в эпилог человеческой истории — полюбоваться, как потомки случайно уцелевших, — вот этих самых вышеозначенных свистунов — одичав, добивают друг друга?

Сомнительно, чтобы Пушкин тратил время в Малинниках, Тверской губернии, Старицкого уезда, на подобные пустышки.

«Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина и стращают мною ребят, как букою. А я езжу по пороше, играю в вист по 8 гривен роберт [далее густо зачеркнуто — не Пушкиным — два-три слова] — и таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока — скажи это нашим дамам; я приеду к ним [здесь тоже несколько слов густо вымарано — не Пушкиным] — — полно. Я что то сегодня с тобою разоврался».

Нет, пророков оставим пока в покое: нас интересует не чем все кончится, но с чего все началось.

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла».

До центра оранжереи прародители человечества, как мы знаем, не доплелись. Кое-кто позаботился об этом специально: для того и лишил допуска (взамен выдав кожаную одежду и лицензию на размножение) — якобы за нарушение правил внутреннего распорядка, а на самом деле — дабы вселенная не превратилась в коммуналку. Ужасная приблизилась вдруг перспектива: Творцу препираться с тварью из-за мест общего пользования — причем без малейшей надежды на окончание времен!

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».

Стало быть, игрушка задумана была как заводная — или на батарейках — в общем, с ограниченным сроком годности. Выходит, предусмотрен был и акт смерти — то есть, конечно же, самоубийства, — разумеется, с применением оружия биологического (какого же еще?): действующего, например, как интеграл уже испытанных идей — дерева и змея.

Рай находился в Эдеме, на востоке. Сад Гесперид — на западе, в Ливии. Адам и его самка побрели к экватору.

Но все-таки не Бог сотворил Анчарал! Или, во всяком случае, не вместе с прочей растительностью, не во

Вторник, не сразу после неба и земли. Анчар проник в программу не ранее третьего дня — когда решалась проблема освещения:

«И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды...

...И увидел Бог, что это хорошо».

А впоследствии оказалось, что большее светило нагревает планету неравномерно. Астрофизика прижала биологию. Природа в борьбе с климатом водрузила над пустыней древо яда — как бы из воспламененного солнцем песка...

Не желчью ли рвет собаку, издыхающую от бешенства — от водобоязни?

Пушкин переменял «пламенных» на «жаждущих»:

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила —

и вся фраза перестроилась под тяжестью неустойчивого причастия, точно только и ждала: отозваться на внятное ей содроганье подлежащего.

Тень Апокалипсиса исчезла, связь роковых феноменов установилась — и проступил рисунок инверсии: гнев степей.

Пушкин, без сомнения, заметил — и рассердился, — что стих двоятся в глазах. Вымарал было *гнев*. Переменял на *зной*:

..Его в день зноя породила...

Ведь в сущности-то сочинял про жару. Про жарищу в Африке — точно какой-нибудь в конце века Дядя Ваня.

Кошмар сосны о пальме (Гейне только что написал, да кто же читает по-немецки, — а Лермонтов переведет лет через тринадцать). Кому какая пустыня выпала. На версты и версты кругом — безжизненный прах: рыхлая вода. И пальма — или баобаб? — в общем, древо яда на-

ведено морозом на оконном стекле. Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева юная свежа в пыли снегов!

Дом стоял на берегу Тьмы, замерзшей реки: одноэтажный, с колоннами из корабельных сосен. Комнаты глубокие, потолки низкие. Днем превесело: три барышни, да еще мамаша. Но по ночам не до них, знаете ли:

«Тысяча благодарностей, сударыня, за внимание, которым Вы удостоиваете Вашего преданного слугу. Я бы непременно пришел к Вам — но ночь внезапно застала меня среди моих мечтаний. Здоровье мое удовлетворительно, насколько это возможно. Итак, до завтра, сударыня, и благоволите еще раз принять мою нежную благодарность».

На записке дата — 3 ноября. (Год, понятно, 1828-й.) Под «Анчаром» — 9 ноября.

Диктатура якобы пролетариата распорядилась включить эти стихи в детскую диету исключительно ради двадцать первой строки:

Но человека человек —

ну, и двадцать второй.

За поразительное сходство с обрывком пропагандистского клише. Это же политическая формула несправедливости: «эксплуатация человека человеком». Знайте, милые крошки, что до 1917 года весь мир жил по этой формуле, на нашем лишь Архипелаге отмененной, — вот и Пушкин подтверждает.

Действительно — на двадцать первой строке история Смерти переходит в историю Глупости. Но замечаешь это позже — в двадцать третьей:

И раб послушно в путь потек...

Мы еще не понимаем, что в этой-то самой строке один из двоих и становится рабом (и этот новый статус подчеркнут аллитерацией), — но кого хоть однажды не царапнул вопрос: а чего это он такой послушный? трус или, наоборот, герой? Туда и тигр нейдет, — а он без колебаний —

только потому что взглянули как-то особенно; подумаешь, взгляд...

Хотя это, наверное, так только сказано, для эффектной сестры таланта: властным взглядом. Что они, телепаты глухонемые? Наверняка маршрут экспедиции был заранее оговорен. А пресловутый взгляд сработал вроде стартового пистолета.

И «человека человек» — игра слов, риторический оборот, упрощенное уравнение. За спиной у типа, умеющего так убедительно смотреть, всегда маячит кто-нибудь еще. Как в «Сказке о рыбаке и рыбке»: на плечах топорики держат. Кремневые не кремневые — главное, чисто конкретные. Тут попробуй не потеки.

Но все эти наши предположения рассыпаются в предпоследней строфе:

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

Чувствуете ли вы, какую насмешку, донельзя презрительную, подсказывает рифма? Нет? Скажите тогда: что позабыл этот царь или, там, князь под сводом шалаша? Зашел проведать умирающего раба, как демократ и гуманист? Или такое нетерпение любопытства: недоспал, не позавтракал, прибежал за образцами самолично, не доверяя никому, на властный взгляд больше не полагаясь?

Что ж, допустим. Ну а путешественник-то наш отважно-послушный — как посмел отнести секретные материалы по месту жительства? Ведь несомненно, что властным взглядом однозначно было предписано: доставить в собственные руки. Не явился тотчас по прибытии в резиденцию вождя? Это же бунт и преступная халатность, никаким плохим самочувствием не оправдать. Чаадаев за подобное промедление заплатился отставкой.

То есть в задаче спрашивается: чей шалаш — и где дворец?

Ответ: речь идет об одном и том же архитектурном сооружении. Дворец представляет собою хижину.

(В «Капитанской дочке», начатой лет через пять: *«Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. „Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим“. Он вошел в избу».*)

Каменный век, лыковая лачуга.

Такой, представьте, ад в шалаше.

Два несчастных дикаря. Один возомнил себя Робинзоном — и послал добровольного Пятницу за смертью. Став единственным обладателем боевого отравляющего вещества, сделался — на наших глазах, при нас, в этом самом шалаше, в этой самой строке — непобедимым владыкой. Этот пассионарный дебил — царь или, там, князь шести соток раскаленного песка на краю света, от Анчара верстах в двадцати: день туда, ночь — обратно.

Владыка — лыка.

Мы расстаемся навсегда после предпринятой им биологической атаки на потенциальных противников: успешно распространил смертоносную инфекцию по всему периметру границ. Неизбежно умрет, скажем, к вечеру: из прутьев Анчара веников не вяжут.

Так что жанр этого стихотворения — басня. О любви к рабству. О любви к гибели. Быть может, и просто — о любви. О жаре. О механизме распространения самиздата и вируса.

Пушкин в этом году все недомогал. Жаловался приятелям на *«нынешнее состояние моего Благонамеренного, о коем можно сказать то-же, что было сказано о его печатном тезке: ей ей намерение благое, да исполнение плохое»*. Винил некую Софью Остафьевну: за скверный, надо думать, санитарный контроль в столичном центре холостого досуга.

Ну а в Третьем отделении стихи поняли, как всегда: как в советской школе. Почуяли клеветнические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Извольте доказать, милостивый государь, что вы

не антикрепостник, не правозащитник презренный! Пушкин возражал:

«...обвинения в применениях <sic> и подрозумениях не имеют ни границ ни оправданий, [ибо] если под [именем] слов. дерево будут разумееть конституцию, а под [именем] словом стрела <свободу> Самодержавие — — —».

Удивительней другое.

Как известно, неандертальцы, подобно динозаврам, вымерли без объяснения причин. Череп самого последнего найден в Замбии, в пещере, на уступе. Этот человек, по старинке именуемый родезийским, умер 30 000 лет назад, совсем один. И властный ли был у него взгляд — попробуй теперь узнай.

С тех пор в ход пошли кроманьонцы.

И то сказать: Адам был неудачная модель — лицо без подбородка, покатый лоб, выступающие надбровные дуги. Правда, объем мозга не уступал современному, и на закате палеолита неандертальский ВПК пришел к удачным разработкам: изобретение лука сильно способствовало прогрессу. Но в смысле внешности — кроманьонцы не в пример симпатичней: почти как мы.

Так вот: Пушкин, конечно же, про человека из этой пещеры Брокен-Хилл не знал и знать ни в коем случае не мог. Как же примерещилась ему ни с того ни с сего подобная история?

И отчего в этом стихотворении, таком на вид простодушном, звук столь необыкновенной силы: как бы голос трубы над пустыней, — верней, как бы трубный глас?

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. МУЗЫКА ДЕЛЬВИГА

Смерть Дельвига нагоняет на меня тоску. Помимо прекрасного таланта, то была отлично устроенная голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас.

А. С. Пушкин — Е. М. Хитрово

Антон Дельвиг, забытый сочинитель, погребен в январе 1831 года на Волковом кладбище. Над костями, ушедшими в толщу болота, — ни плиты, ни креста.

Одноименный персонаж из мифологии, заменяющей нам историю литературы, — вялый увальень, ленивец сонный, лицейский Винни Пух — числится за Некрополем Александро-Невской лавры; там надгробия Дельвига, Данзаса, чье-то еще составлены рядком согласно строфе гениального соученика покойных: коллектив курса неразделим и вечен, как душа.

Детский мундирчик присвоен Дельвигу навсегда — и простодушный взгляд сквозь очки. Даже есть такой портрет, якобы с натуры, хранится в Пушкинском Доме, — но:

— В Лицее мне запрещали носить очки, — жаловался Дельвиг одному приятелю, — зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска!

Неизвестный художник приврал — с наилучшими намерениями, конечно; сходство соблюдено, а притом осталось напоминание, чем данная личность интересна: однокашник Пушкина, младший парнасский брат, верный оруженосец.

Дельвиг действительно сразу, намного раньше всех, догадался, в чьем времени живет, и свою роль в толпе исполнял без страха и упрека.

Жизнь Дельвига сосредоточена была на литературе. Литература состояла из Пушкина и его современников. Подобный подход упрощает существование писателю, как Дельвиг, не подверженному зависти: будь современником полезным, надежным, а сам хоть не пиши.

Даже в ранней молодости он о собственной литературной славе помышлял с улыбкой: не забавно ли вообразить, как через сколько-то столетий лапландские какие-нибудь археологи откопают в руинах Петербурга чудом сохранившийся ларец со стихами бедного Дельвига:

Пышный город опустеет,
Где я был забвен,
И река зазеленеет
Меж упавших стен.

Суеверие духами
Башни населит,
И с упавшими дворцами
Ветр заговорит...

Красиво, не правда ли? Что, если эти — и остальные — стихи по случайности уцелеют?

Сколько прений появится:
Где, когда я жил,
Был ли слеп, иль мне родиться
Зрячим Бог судил?

Кто был Лидий, где Темира
С Дафною цвела,
Из чего моя и лира
Сделана была?..

Неуверенные, надо думать, получатся ответы.

Уже и сейчас нелегко дознаться, например, какого роста был барон Дельвиг. Вероятней, что высокого — и тучен (на Пьера Безухова похож? на князя N — мужа Татьяны Дмитриевны, урожденной Лариной?). Некто — отнюдь не друг — роняет вскользь, что барон был человек благородной наружности. В мемуарах родственника сказано: аристократическая фигура, — но это скорей об осанке и выдержке.

Тут изображение двоится. С одной стороны: «всегда отменно хладнокровный», «чрезвычайно обходительный со всеми»; «хотя и любил покутить с близкими, но держал себя очень чинно»... Неприятели же печатно — и

прозрачно — намекали: сильно попивает. Как ни странно, старший парнасский брат в энциклопедии русской жизни дал этим толкам свежую пищу: Ленский накануне дуэли, ночью, один, сам себе декламирует только что сочиненные стихи,

Как Дельвиг пьяный на пиру.

Очевидно, что это шутка, и самая что ни на есть дружелюбная, — но, согласитесь, почему-то не смешная; автор слишком сердится на Ленского за «любовную чепуху», которую сам же вместо него зарифмовал, — а она предсмертная (и чем хуже «стрелой пронзенный» — «мрака заточенья» из классического шедевра? — такой же алгебраический оборот), — словом, Ленского жаль, да и Дельвиг, если вдуматься, выглядит очень уж одиноким.

Собрание невеселых анекдотов и недобрых острот — почти вся биография Дельвига.

Ведь это он в день знаменитого лицейского экзамена спозаранку дождался на лестнице приезда Державина, чтобы поцеловать руку, написавшую «Водопад», — и дождался озабоченного вопроса:

— Где, братец, здесь нужник?

Это он вызвал Булгарина на дуэль, а наглый Фаддей через Рылеева, своего секунданта, отказался стреляться, передав, что видел на своем веку, дескать, больше крови, чем барон Дельвиг — чернил.

И ему подарил Пушкин человеческий череп — уверяя, будто это череп одного из баронов Дельвигов, средневековых рыцарей, и выкраден из церковного склепа в Риге:

«Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказывал мне его историю, и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием...»

А какой славной эпитафией проводила Дельвига на тот свет А. П. Керн, гений чистой красоты:

«Вчера получил я письмо от Анны Петровны, — написал в дневнике вышеупомянутый Вульф, любовник

и двоюродный брат этой дамы, — в конце которого она прибавляет: „Забыла тебе сказать новость: барон Дельвиг переселился туда, где нет «ревности и воздыханий»“».

Даже Вульфа покорило, и он добавляет с укоризной: «Вот как сообщают о смерти тех людей, которых за год перед сим мы называли своими лучшими друзьями».

Самая смерть Дельвига обратилась в скверный анекдот, удивительно распространенный. Строго говоря, советский аттестат зрелости обязывает иметь о Дельвиге такие сведения: друг детства (ясно — чей) — сочинил популярный текст «Соловей мой, соловей, Голосистый соловей» (далее неразборчиво) для колоратурного сопрано — и загублен самодержавием.

Отличники вспомнят и подробности: по доносу Булгарина распечен Бенкендорфом, вследствие чего умер от простуды, — но эти подробности только вредят эффекту правдоподобия.

Чтобы генерал Бенкендорф — хоть и правнук бургомистра Риги, то есть дворянин всего лишь в четвертом поколении, но все же человек светский, — топал ногами на барона Дельвига, потомка крестоносцев, и орал благим матом: в Сибирь тебя упеку! и Пушкина твоего! и с Вяземским вместе! — само по себе сомнительно; невероятно грубо и, сверх того, совершенно наперекор явному — пусть показному — благоволению, знаками коего царь приручал как раз в это время и Вяземского, и особенно Пушкина (кстати — неужели Дельвиг не известил бы Пушкина о новой угрозе?).

Но допустим, что Бенкендорф позволил себе забыть до последней степени (недаром же ему пришлось через несколько дней принести извинения), — возможно ли, чтобы Дельвиг — серьезный, храбрый, невозмутимый Дельвиг — пал смертью Акакия Башмачкина?¹

Допустим и это. Но каков же диагноз? Башмачкин — тот, судя по всему, подхватил дифтерию. Выбежал от Зна-

¹ Имел ли в виду Гоголь эту историю? Или, наоборот, благодаря повести «Шинель» сплетня сделалась убедительной?

чительного Лица потный, потерянный («В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим») — шел по вьюге разинув рот — «вмиг надуло ему в горло жабу» — на другой день обнаружилась у него сильная горячка — на третий наступила смерть.

Дельвиг простудился через два месяца после визита к Бенкендорфу — 5 января, в понедельник (в первый же день, как вышел из дому; все это время боролся с приступом всегдашней своей ипохондрии; так что шефу жандармов на Страшном суде придется все-таки вспомнить и Дельвига).

«Но эта болезнь, простуда, очень казалась обыкновенною, — пишет Плетнев Пушкину. — 9-го числа он говорил со мною обо всем, нисколько не подозревая себя опасным. В Воскресенье показались на нем пятна. Его успокоили, уверив, что это лихорадочная сыпь, и потому-то он принял меня так весело, сказав, что теперь он спокоен...»

Позвольте, позвольте. Что за пятна? И что это значит — «его успокоили»? Отговорили звать врача?

В воспоминаниях двоюродного брата написано, что в роковое это воскресенье — 11 января — Дельвиг «почувствовал себя нехорошо». Но перемогся — видно, успокоили, — сел за фортепьяно, сыграл и спел сам себе (см. выше, о Ленском) несколько песен собственного сочинения. Потом заехал Плетнев, и, как мы уже знаем, Дельвиг рассказал ему о пятнах на теле, и что это — ему объяснили — никакие не пятна, просто сыпь, и «что теперь он по крайней мере совсем спокоен».

Мы не смерти боимся, но с телом расстаться нам жалко:
Так не с охотою мы старый сменяем халат.

Плетнев уехал без какого бы то ни было предчувствия — а Дельвигу вскоре «сделалось хуже» (по осторожным словам родственника) — должно быть, он потерял сознание и больше уже не приходил в себя. Два доктора, прибывшие к вечеру, «нашли Дельвига в гнилой горячке и подающим мало надежды к выздоровлению». В среду в 8 вечера он скончался. О последних трех днях и двух

ночах никто из докторов, родственников и друзей никогда не проронил ни слова. В четверг баронесса «приказала» Сомову — ближайшему сотруднику Дельвига по «Литературной газете», — чтобы он написал поэту Баратынскому и его брату Сергею Абрамовичу в Москву: пусть скажут «всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей наш умолк на вечность». О состоянии вдовы Сомов в этом письме сообщает: «Она тверда, но твердость эта неутешительна: боюсь, чтобы она не слишком круто переламывала себя». В этот же день обнаружилось: чуть ли не все наличные деньги — 60 тысяч — из кабинета Дельвига кем-то украдены. В субботу, в день его именин, потомка крестоносцев свезли на кладбище для бедных. В июне Софья Михайловна тайно обвенчалась с Сергеем Баратынским¹. Напечатано письмо, в котором она объясняет задушевной подруге, отчего не было ни малейшей возможности износить башмаки: во-первых, новый муж любит ее шесть лет и дольше терпеть не в силах; во-вторых — она беременна.

Самодержавие ли сгубило Дельвига? Точно ли Бенкендорф один виноват в его смерти? Если бы Пушкин верил этому слуху, разве сумел бы он поддерживать в бесконечной переписке с генералом — вскоре графом — нужный тон? («...Совестясь беспокоить поминутно Его Величество, раза два обратился к Вашему покровительству, когда цензура недоумевала, и имел счастье найти в Вас более снисходительности, нежели в ней».) Наперснику императора, понятно, не нагрубишь, — но комплименты сатрапу, вогнавшему в гроб Дельвига? Невозможно.

Есть странности в этой мрачной истории. Но лучше думать, что Дельвиг умер своей смертью, предпочтя ее —

¹ Об этом — самом младшем — брате певца Пиров и грусти томной ничего не известно толком. Какие-то пустяки: увлекался медицинской, был тяжело ревнив — Софью Михайловну держал в ежовых рукавицах. Впрочем, она во втором браке вела себя безупречно; дожила до глубокой старости.

как Пушкин впоследствии — «обыкновенному уделу» неубитого Ленского. Он, видите ли, надеялся на вечную взаимную супружескую любовь — и не сумел смириться с проигрышем — и кого же тут винить?

За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
Верь сердцу, я тебя люблю!

.....

И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил.

В автографе стихотворения каждая строчка старательно зачеркнута. Этот упрек Софья Михайловна посчитала бы несправедливым. Ведь женщины так редко говорят правду не оттого, что не хотят: просто они ее не знают. В 1825 году, летом, невестой, она любила Дельвига. «И кто только может не любить его! Это — ангел!» — писала она в провинцию своей единственной confidentке.

И в конце того же года, 22 декабря, через два почти месяца после свадьбы: «Ах, мой друг, я горю, я люблю так, как никогда не думала, что можно любить, я люблю больше, чем любила до брака, я обожаю...»

Чуть ли не в этом же письме рассказаны политические новости: неделю назад случилось в столице возмущение; много арестов, кое-кто взят из знакомых — Каховский, кто-то еще...

Она была очень молода и не считала нужным помнить, что не далее как весной Каховский был ей дороже всех на свете:

«...Я старалась уверить себя в том, что я вылечилась, не вылечившись в действительности... Если бы я могла выйти за Пьера! Боже мой, что случится еще со мною? Откуда это, что я все еще принадлежу вся ему...»

В сущности, ничего не было. Летний прошлогодний роман. Несколько недалгих прогулок, несколько

разговоров. Каховский торопился. В имение Крашнево (Ельнинского уезда Смоленской губернии), где гостил действительный камергер Салтыков с восемнадцатилетней дочерью Софьей, Каховский прибыл 2 августа вечером. 15 августа он уже расспрашивал девочку: сумеет ли она уломать отца, если полюбит кого-либо, кто не совсем ему по душе, — и наставлял, что так бывает сплошь и рядом. 18 числа довольно отрывисто признался в любви, потребовал немедленного ответного признания и, разумеется, добился его легко. Откуда ей было знать, что, проигравшись в пух, Каховский одержим надеждой подцепить богатую невесту? Он был так похож на ее любимого героя — на Кавказского Пленника! Он уверял, что знаком с самим Пушкиным, и в доказательство читал неопубликованные стихи. Он говорил, *«что ему мало вселенной, что ему все тесно и что он уже был влюблен с семи лет»*... Его счастливая избранница тотчас побежала к тетушке (хозяйке имения, кузине Каховского) — рассказать, что судьба ее решена; тетушка поспешила к дядюшке, тот — к папеньке, камергеру Салтыкову. Папенька воскликнул: *«Они убьют меня!»* — и *«с ним сделались его спазмы»*, — после чего забылся сном, проснувшись же, просил никогда более не напоминать ему об этом ужасном происшествии. Вольнолюбивый был представитель передового дворянства, о Руссо не мог говорить без слез и в *«Арзамасе»* некогда состоял, — однако же отдать единственную дочь за странствующего романтика, — извините.

Каховский уехал, и Софья больше никогда его не видела. Под Рождество он объявился в Петербурге и засыпал ее письмами, предлагал бежать из дома и тайно с ним обвенчаться где-нибудь за городом. 15 января 1825 года вечером прислал решительное требование: или завтра же побег, или — *«...Я не живу ни минуты, если вы мне откажете!.. Не будете отвечать сего дня, я не живу завтра — но ваш я буду и за гробом»*.

Бежать из дому Софья не решилась. Она была влюблена в героя поэмы — но с охотой пошла замуж за ближайшего друга ее автора, предвкушая, как станет звездой

литературного салона. Дельвиг полагал — и другие так думали, — что не влюбись он в мае, не женись в октябре — непременно замешался бы в заговор. И попал бы в лучшем случае на поселение — хотя бы за то, что знал и не донес. Вместо этого 14 декабря он прошелся по бульвару, постоял возле кондитерской на углу площади и Вознесенского проспекта; в кондитерской теснились предводители восстания¹ (там и Каховский, наверное, поедал последний в своей жизни пирожок; если бы Софья не трепетала перед отцом, — глядишь, и Милорадович остался бы в живых, и Стюрлер... и Каховского, значит, не повесили бы). Дельвиг не зашел в кондитерскую — поспешил домой, чтобы жена не волновалась.

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть иль любить,
Когда желанья и мечты
К тебе теснились жить,
Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия, —
Зачем тогда, в венке из роз,
К теням не отбыл я!

Дельвиг мало сочинил бессмертных текстов: эту «Элегию» (и то посередке — провал), еще три-четыре строфы в разных стихотворениях — и только. Но без него нечто важное осталось бы произнесенным, беззвучным. Не думаю, что он вычитал у Шекспира это меланхолическое негодование, это чувство, будто живешь ради чьей-то неумной, непристойной, безжалостной, до слез обидной шутки. Положим, и Пушкин знал, что судьба — огромная обезьяна, которой дана полная воля («Кто посадит ее на цепь? не ты, не я, никто. Делать нечего, так и говорить нечего»), — но находил удовольствие в том, чтобы ее дразнить.

Из людей этого поколения только Дельвиг и Тютчев не подражали Пушкину ни в стихах, ни в жизни — не

¹ Никогда не пойму, как это вышло: карточные залпы едва не в упор по неподвижному строю, сколько убитых — и среди них ни одного заговорщика! Но это к слову, кондитерская ни при чем, разумеется.

хотели и не могли. Внутренняя музыка у каждого из них была совсем другая. Вот и четырехстопный ямб в «Элегии» нисколько не похож на общеупотребительный; темп и фразировка, падение рифм дают интонацию, до Дельвига в русской речи неизвестную:

Не нарушайте ж, я молю,
Вы сна души моей
И слова страшного «люблю»
Не повторяйте ей!

Дельвиг редко пользовался ямбом, часто обходился без рифм, вообще предпочитал асимметричную мелодику и несуществующие жанры. Пушкин ценил в его идиллиях «прелесть более отрицательную, чем положительную»; это справедливо и для русских песен Дельвига: они не слезливы и не слащавы; равно для идиллий — они не знают покоя.

Сквозь его стихи проглядывает характер необычный, страстно-задумчивый, горестный, скрытный. «Спрашивали одного англичанина, — говорит князь Вяземский, — любит ли он танцевать? „Очень люблю, — отвечал он, — но не в обществе и не на бале, а дома один или с сестрою“. Дельвиг походил на этого англичанина».

Да. Но зато ни капельки не походил на модного литературного героя. В половине 1820-х годов, как известно, Кавказские Пленники отправились — не своей охотой — на Кавказ, или в Сибирь, или еще дальше, — но зато расплодилось, особенно в нечерноземных губерниях, тьма Онегиных, то есть как бы Пушкиных без дарованья...

Одного такого звали Алексей Вульф. Зимой 1827-го они с настоящим Пушкиным в одном экипаже прибыли в Петербург (имея в багаже среди прочих вещей череп для Дельвига) и на следующий по приезде день явились с визитом в домик на Владимирской улице, где проживали Дельвиги, где наняла недавно квартиру и Анна Петровна Керн, успевшая уже сделаться приятельницей баронессы. (Дельвигу это, конечно, не нравилось, потому

что Анна Петровна, милый демон, к этому времени была уже такая особа, которую довольно обширный круг людей полагал как бы общим достоянием; выдающиеся литераторы с удовольствием сообщали один другому — как Пушкин Соболевскому: дескать, с помощью Божией я на днях — мадам Керн. Дельвиг ее прелестями добродушно брезговал. Она его ненавидела — и была с ним на коротке, точно дружила с детства; Софья Михайловна без нее скучала.)

Что до Вульфа, то в столицу он приехал «кандидатом успехов вообще в обществе и особенно в любви» — это его собственные слова. О женщинах и о том, как с ними обращаться, много слышал от Пушкина, практического же опыта почти не имел, кроме уроков Анны Петровны. («Другие были девственницы или в самом деле, или должны были оставаться такими», — так что многочисленные победы над псковскими барышнями в счет не шли.) Баронесса Дельвиг, пустившаяся кокетничать с ним в первый же день знакомства, показалась вчерашнему студенту прямо находкой.

«Рассудив, что, по дружбе ее с Анной Петровной и по разным слухам, она не должна быть весьма строгих правил, что связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою, решил я ее предпочесть... тем более что, не начав с ней пустыми нежностями, я должен был надеяться скоро дойти до сущного. — Я не ошибся в моем расчете».

Роман длился — с перерывами — до начала февраля 1829 года, когда Вульф поступил в гусарский полк и уехал в армию. Вульф нисколько не любил Софью Михайловну и очень боялся Дельвига, — но не зря же он упивался романом Шодерло де Лакло — и не зря Пушкин писал ему: «Тверской Ловелас С. Петербургскому Вальмону здравия и успехов желает» (Пушкин был осведомлен — как-то раз даже застал нечаянно Вульфа наедине с баронессой в нежную минуту). Казалось необыкновенно заманчиво и занятно растлевать жену приятеля — к тому же человека известного — «пламенным языком

сладострастных осязаний», как выражался Вульф, перевирая строчку Баратынского. Удовольствие бывало тем сильнее, что в соседней комнате Анна Петровна передавала свой опыт младшему двоюродному брату барона Дельвига — восемнадцатилетнему прапорщику. «Я истощил свой ум, придумывая новые...» (скажем — забавы), — сетует Вульф в дневнике, отмечая, однако же, с достоинством, что держал баронессу в такой же строгости, как и псковских девственниц: «Я не имел ее совершенно — потому что не хотел, — совесть не позволяла мне поступить так с человеком, каков барон...» Для де Вальмона из Малинников это был психологический этюд — как сказали бы в наши дни, эксперимент с включенным наблюдателем. Анна Петровна, осуществляя общее руководство, тоже едва ли не чувствовала себя маркизой де Мертей. Жертву игра захватила. Много ли нужно, чтобы свести женщину с ума. Из романтизма в цинизм — всего несколько ступенек, но по лестнице крутой, винтовой, темной.

Ездили компанией в Красный Кабачок — известный загородный трактир: Дельвиг, Вульф, Сомов, кузен Дельвига, кто-то еще и Софья Михайловна с Анной Петровной.

«Поужинав вафлями, мы отправились в обратный путь. — Софьи и мое тайное желание исполнилось: я сел с нею, третьим же был Сомов, — нельзя лучшего, безвреднейшего товарища было пожелать... Ветер и клоками падающий снег заставлял каждого более закутывать нос, чем смотреть около себя. Я воспользовался этим: как будто от непогоды покрыл я и соседку мою широкой медвежьей шубой, так что она очутилась в моих объятиях, — но и это не удовлетворило меня, — должно было извлечь всю возможную пользу из счастливого случая...

...С этого гулянья Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличия, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждения...»

Пушкин писал Вульффу из Тверской губернии: «Как жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы здесь не встретились! То-то побесили б мы Баронов и простых дворян!» (С демонским восторгом репетировал Пушкин собственную гибель, приняв зачем-то роль, которую через шесть лет припишет Геккерну. Кто-то сказал в 1837 году: будь жив Дельвиг, он не допустил бы убийства; пожалуй; среди всех этих стареющих безумных юношей Дельвиг был единственный взрослый. От Дантеса он Пушкина заслони́л бы — а от судьбы? от того же Вульфа, страшно оживившегося при известии о женитьбе Пушкина: «Если круговая порука есть в порядке вещей, то сколько ему бедному носить рогов, то тем вероятнее, что его первым делом будет развратить жену...» Анна Петровна и в качестве почтенной мемуаристки начинает повествование об этой женитьбе с остроты, якобы сказанной Пушкиным баронессе Дельвиг в 1829 году: «Он привел фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: „Говорите о себе с одним только королем, а о своей жене — ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает ее лучше вас“».)

Что думал Дельвиг? Мы только знаем, что́ ему снилось. 1828 год, стихотворение «Сон» (раньше называлось «Голос во сне»). Если забыть, что рассказано выше, — оно невнятное, почти неживое, а на самом деле — одно из наиболее удивительных в XIX веке: метафора отпирается и проводится в движение личным шифром, как у символистов.

«Мой суженый, мой ряженный,
Услышь меня, спаси меня!

.....

Я сбилася с тропы, с пути,
С тропы, с пути, с дороженьки,
И встрети́лась я с ведьмою,
С заклятою завистницей
Красы моей — любви твоей.

Мой суженый, мой ряженный,
Я в вещем сне последнее
К тебе пришла: спаси меня!
С зарей проснись, росой всплеснись,

С крестом в руке пойдя к реке,
Благословясь, пустился вплавь,
И к берегу заволжскому
Тебя волна прибьет сама.
На всей красе на берегу

Растет, цветет шиповничек:
В шиповничке — душа моя:
Тоска — шипы, любовь — цветы,
Из слез моих роса на них.
Росу сбри, цветы сорви,
И буду я опять твоя».

— Обманчив сон, не вещий он!
По гроб грустить мне, молодцу!
Не Волгой плыть, а слезы лить!
По Волге брод — саженный лед,
По берегу ж заволжскому
Метет, гудит метелица!

Ничего нельзя было исправить, нечем помочь, незачем жить.

Незачем? Судьба не спрашивает. В мае 1830-го, поздравляя новобрачного Пушкина, Дельви́г пожелал ему «быть столько же счастливым, сколько я теперь», — и пояснил: «Я отец дочери Елизаветы. Чувство, которое, надеюсь, и ты будешь иметь, чувство быть отцом истинно поэтическое, не постигаемое холостым вдохновением...»

Вульф и Керн исчезли с горизонта; ипохондрия прошла — но только до августа.

В августе Дельви́г загрустил опять. Какую-то повесть якобы сочинял, не записывая, — только рассказал однажды сюжет — о погибшем семейном счастье, об оскорбленной любви, о нежеланном ребенке... «Не помню, как намеревался Дельви́г кончить свою семейную и келейную драму, — аккуратно играет словами Вяземский. — Кажется, преждевременною смертью молодой женщины».

Барочная архитектура мелодий Дельви́га волнует лишь самых грустных. Лермонтов кое-что перенял; Анненский; Ходасевич.

Был в русской литературе человек, на Дельвига похожий: в таинственном рассказе «Ионыч» не случайно звучит «Элегия».

Вернее: Чехов тоже походил на того англичанина, что любил танцевать дома, один или с сестрой.

Дельвигу танцевать было не с кем, он утешался пением. Последний романс его был такой:

Нет, я не ваш, веселые друзья,
Мне беззаботность изменила.
Любовь, любовь к молчанию меня
И к тяжким думам приучила.

Нет, не сорву с себя ее оков!
В ее восторгах неделимых
О, сколько мук! о, сколько сладких снов!
О, сколько чар неодолимых.

В Лицее, на уроках, прогулках и пирушках, Дельвиг то и дело засыпал — то есть задумывался. Одна из тогдашних мыслей, вероятно, поддерживала его до конца. Ее пересказал в каком-то письме Пушкин:

«Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украд этого)».

К ПОРТРЕТУ КОВАЛЕВА, ИЛИ ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Утешительный. Так; но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Ш вохнев (*Утешительному*). Не спорь, брат: ты не прав.

«Игроки»

Табель о рангах сконструирована была Петром Великим по эскизу Лейбница как вечный двигатель государственной махины, однако же не без отблеска мечты о мышином цирке. Полчища мелких грызунов, по специальным желобкам в лопастьях пробираясь от приманки к приманке, вращают главный вал с усердием как бы разумным, — империя живет, и музыка играет.

На рабочем чертеже видим подобие Вавилонской башни о четырнадцати ярусах; почти сразу после смерти Петра два ушли в почву, осталось двенадцать, — но за нижним так и осталось название четырнадцатого класса...

Сюда мог проникнуть во время оно любой верноподданный из лично свободных и грамотных. Еще бы: когда на пространстве двух материков единственное средство связи — лошадь, а всей оргтехники — гусиное перо, кадры писцов, почтальонов, станционных зрителей решают все; попробуйте без них творить историю; особенно чувствуется нехватка писцов; наплевать, откуда бы ни взялись — полцарства за славный почерк! Положим, приличного жалованья всей этой неисчислимой мелюзге никакой бюджет не выдержал бы, но бывают, как сказано у Шекспира, магниты попритягательней: с момента поступления в четырнадцатый класс вчерашний простолюдин становился «вашим благородием»; считалось, что нельзя

ударить его совсем безнаказанно: законом изъят от побоев, равно и от податей; мундир и на торжественный случай шпага ему полагались; наконец, дозволено ему было (по крайней мере, с 1814 года) владеть населенными именьями, попросту — крепостными людьми. Одним словом, он был дворянин — но личный, сугубо личный, только покуда жив: гениальная идея соавторов Табели!

Умирая, чиновник четырнадцатого класса — и двенадцатого! и десятого! и девятого! — сирот своих оставлял разночинцами, то есть в положении самом ненадежном, на самом краешке права. Заушать его сыновей, бесчестить дочерей было слегка предосудительно; им говорили «вы» — только и преимуществ; а деревни, если были, казна забирала в опеку и продавала с молотка — в пользу наследников, разумеется, но при феодализме не в деньгах счастье: дети мздоимцев, как и дети бессребреников, срывались вниз, в податное сословие — начинать восхождение сызнова, с уязвленным самолюбием и наперекор непрестанно воздвигаемым препятствиям. С 1827 года, например, в статскую службу их уже не принимали без университетского аттестата...

Короче говоря, Табель создавала обитателям нижних четырех ярусов такие условия, чтобы особи чадод- и честолюбивые, независимо от упитанности, перебирали лапками изо всех сил. Чтó — жалованье, даже завидное? чтó — взятка, самая лакомая? чтó — пенсия — предположим, достаточный — когда-нибудь, на благополучном закате? Этим существам предносилась мечта поярче. В трех шажках — в двух! — перед ними сиял ослепительный призрак — Цель Жизни.

В Табели о рангах она обозначена волшебными словами: дослужившиеся до маиора, или коллежского асессора — «в вечные времена лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть имеют, хотя бы они и низкой породы были».

Текст революционный, роковой, но — словно впопыхах — неотчетливый: в авантажах почтены — нечто неосязаемое, из области этикета; и потом, в военной службе

разве не все чины благородны? к чему же упоминание о майорах? даже прапорщика мыслимо ли приравнять к какому-нибудь подьячему, к приказному, к станционному смотрителю? пусть прапорщик тоже числится в четырнадцатом классе — на то высочайшая воля, — а все равно станционный смотритель ходи перед ним ходуном!

Последовали разъяснения исчерпывающие: военным над статскими полный преферанс — в нижних классах, до девятого включительно; а восьмиклассный чиновник, то есть коллежский асессор, — дело другое: чин штаб-офицерский, отчего майор и подвернулся к слову; именоваться майором коллежскому асессору возбраняется (им только позволь!), — но он дворянин без оговорок:

«Потомственными дворянами по чинам считать одних восьмиклассных чиновников и военных обер-офицеров; получивших же обер-офицерские чины по службе гражданской и придворной признавать дворянами личными».

Тут и ключ к Табели о рангах: заветный чин коллежского асессора знаменовал победу над судьбой — удачу в прямом смысле сказочную. Стоило мышке добежать, дотерпеть до пятого снизу яруса — и она превращалась в крысу, в хомяка, в степного суслика, в речного бобра — в кого хотела. Положим, для самых шустрых был припасен еще через две ступеньки соблазн утонченной: чин статского советника — в сущности, генеральский, титулуют «высокородием», должности поручают серьезные — настоящая-то карьера только тут и начиналась, — но при тщеславии умеренном восторги первого преобразования сладки неповторимо.

Кто счастливей свежеиспеченного коллежского асессора? Только его дети, если они уже достаточно взрослые, чтобы понимать, в какой стране живут.

*«Любезный папенька,
Григорий Никифорович!*

С искреннею радостью спешу поздравить Вас с получением отличия, не схваченного, а заслуженного Вами.

Желаю, чтобы Вы с такою же честью носили его, с какою и заслужили...

Ваш сын

Виссарион Белинский».

Ф. М. Достоевский сделался сыном столбового и потомственного¹ семи лет от роду, А. Н. Островский — пятнадцати, В. Г. Белинский — двадцати (но дворянскую грамоту получить удосужился менее чем за год перед смертью). Батюшка Н. В. Гоголя, как человек благоразумный, женился, только дослужившись до коллежского асессора.

При сильной протекции дослужиться было нетрудно не только сыну полкового писаря, — но даже незаконнорожденному иностранцу с придуманной фамилией. Восьми лет его записывают в службу (1820), семнадцати — произведен в губернские секретари, двадцати — в коллежские секретари (все так же не заглядывая в контору, где числится, но зато учась в университете); еще через два года он — титулярный советник; в этом чине пришлось-таки послужить, причем в провинции, ровнехонько шесть лет, — и дело сделано! Теперь (1840) он коллежский асессор и костромской помещик, — но лишь через шесть лет, уже в следующем чине, просит государя ввеподданнейше:

«Дабы повелено было, на основании представленных мною документов, внести меня с семейством в подлежащую часть дворянской родословной книги Московской губернии и выдать мне и сыновьям моим грамоты...

¹ Смысл обоих прилагательных совершенно затуманился: потомственный стало означать не того, чьи потомки, допустим, дворяне, — а того, наоборот, чьи предки, скажем, пролетарии; столбовой дворянин уже у Даля — «древнего рода, коего дворянство прошло чрез несколько поколений», — а Даль, как известно, оракул непререкаемый. Спасибо, Пушкин среди анахронизмов романа «Юрий Милославский» замечает: «Например, новейшее выражение столбовой дворянин употреблено в смысле человека знатного рода». Гоголь в биографии Чичикова: «Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает». Столбовой — антоним личного, и только.

К сему прошению надворный советник Александр Иванов сын Герцен руку приложил».

Все, конечно, было исполнено — закон обратной силы не имеет, — но вообще-то, Николай I эту практику еще в 1845 году, 11 июня, прекратил. Коллежские ассессоры чересчур бурно размножались. Приходилось опасаться, что к концу XIX века их потомки составят большинство дворян, — а также что к концу XX дворянство станет многочисленнейшим сословием империи. Создатели Табели о рангах то ли не предвидели такого оборота, то ли не боялись его, — а Николаю было противно¹. По манифесту 1845 года права потомственного дворянства давал в военной службе чин майора, в гражданской — чин статского советника. (Личное дворянство — военным обер-офицерам всем, а чиновникам — только начиная с титулярного.) Среди бесчисленных разочарованных оказались двое наших общих знакомых: А. А. Фет, произведенный в кирасирские корнеты уже после манифеста, и М. А. Девушкин, самолюбивый Бедный Человек.

Впрочем, по правде говоря, у Девушкина — и у Башмачкина в «Шинели» — шансов и прежде было немного. Наследники Петра без конца редактировали Табелю о рангах. Екатерина упорядочила сроки прохождения службы с таким расчетом, чтобы чиновники не из дворян продвигались помедленней. При Александре I известный Сперанский изобрел экзамен на чин коллежского ассессора: кандидат испытывается в науках словесных, исторических, математических, физических — и в правоведении; вообще-то, ничего страшного: сочинение, задачка, легонький французский разговор, — но Акакию Акакиевичу и Макару Алексеичу не выдержать ни за что.

¹ Как в воду глядел: скажем, в 1744 г. калужский купец Афанасий Гончаров был пожалован в коллежские ассессоры за устройство полотняных фабрик; внучка его внука в 1830 г. считалась дворянкой хорошей фамилии — не хуже Пушкиных, за одного из которых вышла замуж, — а внучка этой дамы обвенчалась с внуком самого Николая I.

Тут пошли в ход способные к учению, вроде А. В. Никитенко, даром что едва из крепостных: студент университета — первый чин, окончил кандидатом — другой, оставили на кафедре адъюнктом — третий, а там рукой подать до профессора, а профессор — это и значит коллежский асессор — вот он и дворянин, и влиятельное лицо, и Гоголь благодарит его письменно за ценные цензурные поправки в «Мертвых душах».

А все же и для неспособных и неприлежных была лазейка, покуда уже Николай ее не законопатил. Ее очень ясно описывает Белинский, рассуждая в письме к родителям о том, что делать, ежели исключат из университета:

«Куда сунуться? В военную я не гожусь по слабости здоровья и по ненависти к сей службе, о приказной части и говорить нечего. Остается только одна дорога: в Сибирь, на Кавказ или в Североамериканские российские владения...»

По-моему, это три дороги, но главное дальше:

«За сибирскую и кавказскую службу дается чин вперед, двойное жалованье и каждый год службы считается за два; за североамериканское же...» — но это не важно: займемся кавказскою.

Письмо Белинского отправлено 30 апреля 1832 года из больницы; его сведения устарели ровно на месяц: наверное, все это время он не читал газет; но когда слег — расписанные им прелести еще существовали.

Действительно, еще в 1803 году был издан именной указ — О повышении чинами отправляющихся в Грузию на службу:

«...Находя нужным доставить отправляющимся туда для прохождения статской службы Канцелярским чинам вящее ободрение, повелеваем: 1. При назначении желающих вступить в Грузию в отправление Секретарских и разных Канцелярских должностей, награждать их следующими чинами. 2. Получившие чины должны по крайней мере прослужить в Грузию один год, считая с прибытия их на место... 4. Тем из них, кои продолжат там службу в течение четырех лет и пожелают выйти в отставку или определиться к другим делам вне Грузии, сверх узаконенного

производства в течение сего времени за отличие и лета службы, давать при увольнении следующие чины, хотя бы и не выслужили они положенного для награждения при отставке времени...» — ну и прочие неслыханные льготы.

В 1822 году действие указа было распространено и на чиновников, отправляющихся в Кавказскую губернию, то есть в Чечню: покоренные территории скучали по канцеляриям. Желаящим туда определиться способным чиновникам выдавали, сверх установленных прогонов, такую же сумму просто для аппетита. Желаящие и способные тут же, само собой, нашлись: прежде-то в Чечне за внеочередной чин служить надо было три года, — и нашлись в таком количестве, что очень скоро потребовался новый указ — чтобы все эти добровольцы *«не иначе туда отправляемы были, как по предварительном о таковом их желании и способностях к службе сношении с Кавказским областным правлением...»*

Отчего молодой Башмачкин, отчего молодой Девушкин не решились оставить на время Петербург? За какой-нибудь год перескочить через чин, да и деньгу сколотить — шутка ли? Боялись, что в Грузии климат нездоров? (Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»: *«Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толково возжеланным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.»*.) Но в Чечню-то чем плохо прогуляться за казенный счет и на двойном жалованье? И фортуна, и карьера... Судя по тому, что Николаю пришлось на второй год по воцарении (1827) издать указ *«О неповышении чинами отправляющихся на службу в Кавказскую область вторично»*, — там была настоящая кузница столбовых дворян.

А некоторые симпатичные персонажи русской литературы промедлили — и прогадали.

Николай I восстановил в Кавказской области старинный, еще екатерининский порядок чинопроизводства — с некоторой скарредной поблажкой:

«Чиновникам не из дворян, служащим в вышеозначенных местах, срок для получения чина Коллежского Ассессора из Титулярных Советников сокращается вполовину, то есть назначается шесть лет вместо двенадцати».

Иными словами — лафа кончилась.

Этот указ датирован 30 марта 1832 года.

Самый ранний набросок повести Гоголя «Нос» относится к последним месяцам 1832 года или к началу следующего.

Первая там фраза: *«23 числа 1832 года случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие».*

В окончательном варианте — просто *«Марта 25 числа»*, без года.

Все вышесказанное представляет собою простое пространное примечание к одной страничке повести Гоголя «Нос» — к той страничке, где нарочно обронен почти невнятный в наши дни намек — отчего необыкновенно странное происшествие случилось именно с Платоном Кузьмичем Ковалевым:

«Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский ассессор. Коллежских ассессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими ассессорами, которые делались¹ на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские ассессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском ассессоре, то все коллежские ассессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумеи и о всех званиях и чинах. — Ковалев был кавказский коллежский ассессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским ассессором, но всегда майором».

О, я знаю, знаю, что Набоков прав, как никто другой: самые потрясающие события в прозе Гоголя — события слога. Для меня, например, в повести «Нос» ничего нет

¹ Согласитесь: это прошедшее время дорогого стоит.

важней и страшной фразы, где седовласый господин бросает старухам и дворникам записки *в глаза*, — и сцены в Казанском соборе — и всех этих физиономий без очертаний, вперяйся хоть в упор... И я не умею внятно вымолвить, почему это важно и страшно, — и Набоков, подозреваю, не сумел.

Но все же Гоголь был отчасти человек, притом литератор; не то чтобы он искал понимания — скорей не желал быть понятым неверно. В частности — не рискнул бы в эпилоге на вызывающую реплику: мол, от подобных сюжетов пользы отечеству решительно никакой (эпилог — 1842 года, т.е. уже напечатано и всем известно про смех сквозь слезы), — не рискнул бы, если бы на виду у всех не размешал в сюжете щепотку благонамеренной сатиры с привкусом злобы дня.

Нос — карикатура на Ковалева: такое же мнимое существо, такой же обман зрения. Ковалев — пародия на дворянина. Кавказский коллежский асессор — не просто мещанин во дворянстве, каких тьмы и тьмы: он — дворянин по недоразумению, по недосмотру начальства — подчеркнем: по устраненному недосмотру прежнего начальства. Итак, Нос — карикатура на пародию: если уж Ковалев сделался к тридцати пяти годам штаб-офицер и дворянин — если вообще возможно, чтобы дворяне изготавливались таким способом, какой сплошь да рядом применялся при покойном государе, — отчего бы тогда и носу этого Ковалева не превратиться в особу даже пятого класса?

Ковалев — последний вывод из Табели о рангах, ее последний выползень. Самого Готфрида-Вильгельма Лейбница, самого Петра Великого и всех императоров обвел вокруг пальца, и вот — утробно счастлив, ликует... как же не обдать его внезапным, необъяснимым ужасом? Просто шутки ради, а там отпустим, пусть его якобы существует, пусть воображает, будто сбежавший нос — прошедший сон и что есть нелепости почище реальности.

Гоголь охотился на счастливых — чтобы не забывали, для чего человек живет. Счастливые неподвижны, время

в них и вокруг них остановилось, — они мертвы. (Взгляните на А. И. Товстогуба, старосветского помещика: мертвец, но и младенец — прозорливый, плодущий — плодит крестьян; тут бесславный постскрипtum к «Тарасу Бульбе» — к «Миргороду» — к истории мировой; но «Коляска» — еще жестче: повесть Белкина без романтических теней.) Майор Ковалев не мертвец — его просто нет, его не разбудишь. А на блаженствующего в ничтожестве кроткого беднягу Башмачкина дунуть непогодой, судьбой — донага разорить эту уверенность, что все в порядке. А к другим подослать провокатора либо ревизора...

Слово *дворянин* выговаривается у Гоголя всегда с особенным выражением (словно трагическую роль играет шут гороховый):

«Как? дворянина? — закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. — Осмелюсь только! подступите...» А какой он дворянин? *«Доказательством же моего дворянского происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви Трех Святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение...»* Не дворянин он и не помещик, наш неукротимый Довгочхун, и соль истории вроде бы в том, как смешна жантильомская щекотливость в зажиточном однодворце, — но это для читателей-современников, — или как пуста, из каких низких слов и телодвижений состоит жизнь? — это для других читателей, воображаемых, поумней, — а в толще текста сквозят ни с того ни с сего силуэты несчастных демонов: обращенные в животных, но обреченные на человеческую участь, они тщетно молятся о чем-то в темной церкви — совсем как Нос. Бедные чудовища — скучно им на этом свете! А злополучный *гусак* — не оскорбление, скорей предательство: кто смеет оглашать наши *тамошние* клички!

Гоголь был, как сказано, внук полкового писаря (будто бы из польской шляхты, да грамоты королевские пропали), зато сын коллежского асессора. Аттестат Нежинской

гимназии давал ему вдобавок право на чин четырнадцатого класса. В Петербурге он поступил в канцелярию старшим писцом (не сразу: до того в другой канцелярии провел месяца два за штатом) — и был утвержден в чине (1830). Очень скоро получил повышение — помощник столоначальника, — но, конечно, остался в четырнадцатом классе. Тут кто-то — вероятно, Дельвиг — свел его с Жуковским, Жуковский — с Плетневым, а Плетнев, служивший в Патриотическом институте, пристроил там Гоголя учителем истории в младших классах. И вот что случилось.

Гоголь уволился из департамента 9 марта 1831 года, определился в институт 10 марта. Учитель истории четырнадцатого класса из дворян... А 1 апреля того же года появился императорский указ, коим на Патриотический институт распространялись преимущества, присвоенные учреждениям, состоящим под покровительством вдовствующей императрицы. Там было сказано:

«Инспекторам и учителям сих заведений, если высших чинов не имеют, присвоить следующие чины и выгоды:

1. Инспекторы классов состоят в 8-м классе Государственной службы; Старшие учителя, то есть Учители Наук и Словесности — в 9-м. ...Прослужив четыре года, каждый утверждается в принадлежащем его званию классе...»

Из коллежских регистраторов Гоголь вдруг прыгнул (причем, с позволения сказать, задним числом) в титулярные советники! Правда, с условием прослужить в нынешней должности четыре года — не то прощай, девятый класс.

Так что когда Гоголь, добиваясь профессуры в Киевском университете, писал в июне 1834 года Максимовичу: *«Если бы какие особенные препятствия мне преграждали путь — но их нет! Я имею чин коллежского асессора...»* — и так далее, — он прилгнул.

И в чине титулярного-то советника не был утвержден.

Путешествовал с подорожной, где значился коллежским регистратором, — и подчищал в ней (рассказывают и Анненков, и Аксаков) чин и фамилию: коллежский асессор Гогель — или Гегель — или Моголь.

Через год эта игра потеряла смысл, какой бы то ни было: Пушкин выхлопотал ему место на кафедре истории в университете Петербургском.

Без году неделя титулярный советник стал без пяти минут — без нескольких лет — профессором: *«состоящим по установлению в восьмом классе»*. Но преподавал только два семестра...

В полицейском рапорте о смерти Гоголя он поименован отставным коллежским асессором, — со слов друзей: соответствующие документы не отыскивались — вероятно, сгорели. Но вообще-то, ежели рассуждать по строгости законов, у сына майорши Гоголь вряд ли имелся патент на восьмиклассный чин. Он был всего лишь титулярный советник, хотя дворянин природный, — как Пушкин, как Поприщин.

«Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: „Поприщин!“ — я ни слова. Потом: „Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!“ Я все молчу...»

Кстати: «Записки сумасшедшего» в тетради Гоголя начаты на странице, увенчанной заглавием: «Несколько слов о Пушкине», — и Гоголь не зачеркнул его, не переменял.

Удивительно, что ни говорите.

МЯГКАЯ ИГРУШКА

Смысл выражения «великий писатель» определить не так-то легко. Это скорее титул, чем термин. Многие охотно принимают его при жизни — посмертно же благодарная родина оставляет его лишь такому писателю, про которого полагает, что он умер не весь. Что одной смерти — простой физической — ему мало. Что надо обязательно проводить время от времени его могилу. Через каждые двадцать пять, в крайнем случае — через пятьдесят лет. И, как поступали в Средние века с погребенными вампирами и колдунами, каждый раз учинять ему, на всякий случай, смерть дополнительную. Так сказать, контрольную. Этот ритуал именуется «юбилеем великого писателя». В России общественность регулярно подвергает ему покойников двенадцать или около того.

Первый юбилей — вторая смерть, второй юбилей — третья смерть, и так далее. Опыт других стран подбадривает: после юбилея, скажем, девятого обычный великий писатель потеряет почти всю свою силу.

То есть надолго, если не навсегда, перестанет быть странным.

Как бы само собой отпадет подозрение, будто ум его был устроен не совсем как у всех.

Потомство, восхищенное тем, что наконец видит великого писателя насквозь — как облупленного, — полюбит его, как родного. Будет, не читая, чтить.

Любоваться на витрине в секции мягкой игрушки:

«...Тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и ста-

ричок Толстой, толстоносенький, в зипуне...» (Набоков. «Приглашение на казнь»).

Короче, достал меня очередной вихрь умиленного вздора. Попробую, назло юбилею, полистать Гоголя. Наугад. И вероятно, напоследок. Дать отчет самому себе — про что, например, «Шинель».

Как то есть про что? Про Маленького Человека, кто же не знает. Маленького такого маленького. Зарплата — 400 в год, надо понимать — серебром; на ассигнации — 100 р. в месяц. Почти как при т. н. советской власти. Только-только на комнату с пансионом, на ежедневный обед из говядины с мухами.

Почему, черт возьми, он ест мух?

А подслеповат, это во-первых. Во-вторых, отнюдь не безрелигиозен. И в-третьих, недаром же на шляпу ему, когда он идет по улице, выливается содержимое ночных горшков и помойных ведер (скажем приличней: «выбрасывали всякую дрянь»). Рассеян. В смысле — сосредоточен. Оттого что постоянно, непрерывно счастлив. Поглощен любовью к своему труду. Для которого, без сомнения, и рожден: поскольку ни к какому другому не имеет способностей, тогда как этот — предназначенный — составляет его неутолимую потребность. Зная, что жизнь дается один раз, он стремится прожить ее так, чтобы успеть скопировать как можно больше документов.

То есть ежели пройти по букве политэкономии социализма как науки, он воплощает ее идеал.

Кафедра истории философии тоже бурно аплодирует: за то, что «умел быть довольным собственным жребием».

А вместе с тем — отечеству, отечеству-то от него сколько пользы! При таком вдохновенном отношении к госслужбе. Как если бы прочитал в самиздате «Выбранные места из переписки с друзьями». Как если бы не забывал ни на минуту: должность в департаменте для него придумал и в штат зачислил — Бог.

Гармоничная, короче говоря, личность. Выдающаяся. Положительный герой. Не взяточник.

И вот у этого, значит, самоходного ксерокса поврежден футляр. Необходимо обзавестись новым. За 80 целковых. Это все накопленные сбережения плюс пасхальные премиальные плюс несколько месяцев воздержания от мухоедства.

Кстати, о сбережениях. В ящичке, запертом на ключ, — 40 с чем-то р. По грошу с каждого истраченного р. Полпроцента, стало быть, от совокупного дохода за долгое время — составившего, стало быть, 8 тысяч. Делим на четыреста — получается, два десятилетия проходил Башмачкин в прежней своей шинели. Получается — был у него когда-то и с нею роман. Разве что и в самом деле он родился на свет (заметьте: у старухи; от умершего, заметьте, отца) уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиною на голове. В этом случае вполне вероятно, что шинелью снабдили его в придачу к имени крестный отец — превосходнейший человек, И. И. Ерошкин, столоначальник в Сенате, — и крестная мать, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей (не правда ли, смешно), А. С. Белобрюшкова.

(Что характерно: младенец Башмачкин был окрещен практически в тот же самый день, что и младенец Гоголь-Яновский. Да только дать ему имя попроще, типа Николай, было — вы же помните — никак невозможно. Хоть не Павсикакий, спасибо и на том.)

Короче: новая шинель строилась около года — от зимы до зимы. Развившись в головном мозгу А. А. из крепнущей день ото дня тягостной суммы голых цифр, — постепенно превратилась в идею эстетическую (на этом этапе и особенно на заключительном не оценима роль соавтора — Г. П.) и наконец материализовалась. Как-то вдруг наступил день ее рождения. День восторга: носить шинель оказалось чуть ли не таким же наслаждением, как переписывать бумаги.

Но два счастья — это, извините, перебор. К одиннадцати туз. Поликратов перстень. Дабы восстановить квоту и лимит, судьба воспользовалась разгулом уличной преступности, вы в курсе.

Только не надо мне рассказывать — все равно не поверю, — что будто бы Акакий, перейдя в мертвецы, избыл

свое отчаяние и жажду мести кражей шинели чужой — шинели да хоть какого угодно значительного лица (а и всего-то, надо понимать, подразумевается столичный полицеймейстер). Это пошлое измышление пошлой полицеймейстеровой совести. А реальный призрак Башмачкина еще лет как минимум двадцать бродил по России, пока не осознал окончательно, что его прекрасная, единственная в мире шинель тоже приказала кому-то долго жить.

А также не говорите мне, что тут, видите ли, такая гуманная мораль: вот, дескать, смотрите, какой маленький человек, а все чувствует совершенно как вы, то есть как большой. Ergo: не обижайте его, лучше пожалейте. Как младшего брата.

По-моему, наоборот: взгляните, предлагает Н. В. Г., на этого низкооплачиваемого смешного уродца — вот его жизнь, вот его гибель, — какое убожество, не так ли. А ваша жизнь, воображаете вы, стоит больше? ваши радости возвышенней? ваши страдания важней? Или вы, чего доброго, надеетесь, что более приятной будет ваша смерть? Ах, ах, вам его жаль. Это так же глупо, как над ним смеяться. Никакой он вам не брат: он — вы.

Еще раз: не в том дело, что он якобы тоже, якобы как вы, человек, только бедный. А в том, что вы тоже, как и он, всего лишь бедное животное.

(Что и написано в черновике, как бы с изнанки:

«В существе своем это было очень доброе животное и то, что называют благонамеренный человек...»

И некто Г. Г. откликается из «Лолиты»:

«— Ничего, ничего. Я всего лишь бедное животное. Будемте продолжать эту грустную повесть».)

Надо же, какое великодушие: вы соглашаетесь, хотя и с оговорками про художественную условность, считать Башмачкина — и Ковалева, и Поцрищина, и Собакевича, и весь их сонм — отчасти людьми, поскольку эти существа отчасти подобны вам. О да: они тоже хотят есть, спать, некоторые особи — еще и размножаться. Кроме того, от них тоже пахнет материалом, из которого они

сделаны; отсюда у какого-нибудь Чичикова — страстишка к парфюму. Ваш силлогизм составлен грамотно, — но если одна из посылок некорректна, вывод неизбежен другой.

Позвольте, это же не всё: они еще стараются отличаться друг от дружки. Для чего используют одежду и деньги. Ни то ни другое не падает с неба — поневоле приходится применять то стратегию, какую-никакую, то тактику. Высшая нервная деятельность безусловно налицо.

А вот и сугубо человеческий комплекс: они щекотливы. Поцеловать, когда прищучат, генерал-губернатору сапог — за милую душу. Дать себя высечь на глазах у дамы сердца — пожалуйста. Но назвать завтра гостей — и под воздействием алкоголя позабыть своевременно распорядиться насчет обеда — позор невыносимый, невозможный (про что — «Коляска», кошмарное, глумливое эхо пушкинского «Выстрела»), — а впрочем, обойдется, как ни в чем не бывало. Или попробуйте обозвать одно из этих существ, хоть бы и с глазу на глаз, *гусаком...*

Дефиниции Homo Sapiens тоже, знаете ли, разнообразны. Есть и такая: отдельно взятый homo — не что иное, как душонка, обремененная трупом. Вот и в этих — в каждом — вызревает мертвец. Поспевает. К чему и сводится их жизненный процесс.

Зато в их мире нет зла: потому что ни у кого из них нет злой воли (доброй — тоже). И страшен только тот свет, — а на этом просто скучно. Поскольку в нем господствует какой-то непостижимый беспорядок, все пребывает в какой-то недвижимой суете, и Смысл не просматривается (не задумываться, не задумываться, проходите, про это — «Записки сумасшедшего»), словно Глупость своей массой задавила его.

Как это не просматривается? Совсем напротив — благодаря особенному коварству Автора. Который подарил Глупости для ее самореализации — самореализуйся, дескать, голубушка, на здоровье, — потрясающее, волшебное

устройство, называется — язык. Принцип действия засекречен, секрет утрачен. Представьте старинное пресс-папье на письменном столе — неправильных очертаний, увесистый такой кусок мутного стекла. Впитывая растворенный в окружающем воздухе свет, он проливает на поверхность бумажного листа яркую, вечную радугу... Ну, в общем, я только хотел сказать, что под пером (не исключено, что гусиным) этого великого писателя — Николая Гоголя — бессмысленное обращалось в смешное приблизительно так.

А как теперь — не знаю. Похоже, оно поступает в атмо- или, если угодно, ноосферу — прямо как есть, сырьем. Дописав предыдущий абзац, я включил радио: послушать выпуск новостей.

— 26-летний инструктор по карате из Казани расправился с семьей из трех человек, которые заразили его супругу педикулезом. Каратист и жена проживали в общежитии, располагающем лишь одной ванной и туалетной комнатами на весь этаж. На том же этаже проживала семья пенсионеров и их 25-летний сын, которые заразили весь этаж вшами. Узнав об этом, каратист расправился с неблагополучным семейством, убив мать и сына и нанеся тяжкие телесные повреждения отцу. Каратист задержан и находится в камере предварительного заключения, — сообщает интернет-издание «Мигньос».

— Вышла книга для детей о Гоголе: «Ярмарочный мальчик».

Такие-то дела, дорогой Николай Васильевич. Такие дела.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ!

— А она... ну, вот и они-то... девушка и старичок, — шептала она, продолжая как-то усиленное пощипывать меня за рукав, — что ж, они будут жить вместе? И не будут бедные?

— Нет, Нелли, она уедет далеко; выйдет замуж за помещика, а он один останется, — отвечал я с крайним сожалением, действительно сожалея, что не могу ей сказать чего-нибудь утешительнее.

«Униженные и оскорбленные»

— «Бедные люди»? Слезоточивый задор этой старомодной, невинной вещицы бесхитростен, как ее название. Бедная Лиза, укутанная в гоголевскую шинель. Дескать, и чиновники любить умеют. И под крышами Петербурга живут мучительные сны. И на черных лестницах от судеб нет защиты. И до чего же скаредно платят в России за труд, и как безутешно плачет неудачник... Жалобный дуэт флейты и тромбона в замызганном дворе в двух кварталах от Фонтанки. Торопливые переговоры надломленной швейной иглы с пером канцелярским, гусиным, истертым.

Она ему:

— *Я вам о многом хотела бы написать, да некогда, к сроку работа. Нужно спешить.*

А в ответ:

— *Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазьев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись — слава Богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее...*

Человеколюбивое, одним словом, сочинение. Маленько скучноватое в своей честной бедности. Два голоса жужжат из такой уж густой паутины, что трогательнейший в мире слог не спасет; без надежды, без тайны — что за роман?

Одна дама в 1846 году, весной, так и сказала профессору Никитенко — в ее гостиной он увидел на столике

«Петербургский сборник», разрезанный как раз на середине „Бедных людей“:

— Плачу, а дочитать не могу!

«Содержание „Бедных людей“ так просто, так просто, — разводил руками Аполлон Григорьев, начинающий рецензент, но будущая знаменитость, — что только с слишком большими силами можно было отважиться на трудный подвиг развить из этого бедного содержания целую внутреннюю драму...»

Простое содержание, бедное. Простая повесть о бедных людях. Бедный сюжет о простых существах и чувствах. Таков был общий глас. И самый сильный критик только и сумел, что обратить вздох упрека в восклицание восхищения:

«Посмотрите, как проста завязка в „Бедных людях“: ведь и рассказать нечего!»

Это даже и слишком. Кто-нибудь, у кого достало бы досуга и терпения перечитать роман, рискнул бы, пожалуй, на возражение. Можно ли назвать простой завязкой странный, отчаянный, фантастический поступок? Убогий копиист, из тех, что исхитряются в Петербурге существовать на 400 рублей в год жалованья, из тех самых, кому новая шинель (неправду, что ли, написал Гоголь?) заменила бы личное счастье и смысл жизни, некто из тьмы Башмачкиных, облезлая канцелярская крыса, — похищает и берет на содержание — точно офицер какой-нибудь гвардейский, точно ротмистр Минский из повести Пушкина «Станционный смотритель», — барышню семнадцати лет; лжет ей о каких-то своих капиталах в ломбарде; осыпает подарками, проматывая на конфеты и цветы выпрошенное вперед жалованье чуть ли не будущего года; в театр водит! — на наших то есть глазах улетает в пропасть, не отпуская Варенькиной руки, да еще изо всех сил улыбаясь, — и эта завязка, по-вашему, чересчур проста?

С какой тревогой девочка пытается угадать: что происходит? Этот смешной человек, будто бы родственник — седьмая вода на киселе, но в сущности третий встречный, — какое будущее он для нее придумал? Не

отпустил в гувернантки — отговорил наотрез от единственного, чудом блеснувшего шанса (неверного, правда) прожить без него. Стало быть, уверен, что не даст ей погибнуть, — ведь не играет же он ею, ведь это было бы злодейство, а он такой добрый...

Из этого-то сюжета выводите вы, г-н Первый Критик, пресноватую, действительно немудрящую — хоть и гуманную — мораль:

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья!“?»?

Значит, так тому и быть. Вам виднее. С остальных и спрашивать нечего.

Первый роман Достоевского прочитан Россией в слезах и впопыхах, как история слишком душещипательная, чтобы можно было в ней заподозрить непрозрачную глубину. Все так просто, так бедно. Новые похождения Башмачкина. Вторая заварка, так сказать, — а рецепт полезный.

Но перечитывать, когда слезы просохли, — с какой же стати?

«В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о „Бедных людях“. Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!.. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате!..»

Для всех — поначалу даже для Вареньки, не говоря уже о начальнике департамента, — Макар Деушкин — второй Башмачкин. И должность, и наружность, и манеры — все точь-в-точь. Он и сам, прочитав «Шинель», вынужден признать, что сходство полное.

И впервые в жизни запивает горькую.

Тут, правда, и обстоятельства подошли скверные, но что повесть Гоголя оскорбила Деушкина и огорчила донельзя — никакого сомнения. Конечно, можно и так объяснить, что истина показалась ему невкусна (как в кабинете Его Превосходительства: «Я взглянул направо в зер-

кало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел»). Однако чем же Самсон Вырин, скажем, презентабельней, стационарный-то зритель (огражденный своим чином только от побоев, и то не всегда, замечает Пушкин), — а в нем Девушкин чуть не с ликованием признает родного брата:

«...а это читаешь, — словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как!»

Не от зеркала самолюбию больно; а от взгляда чужого свысока. Вся жизнь Макара Алексеевича проходит под этим взглядом — так смотрят на него все и каждый, то есть он и ждет от всех и от каждого, что на него так посмотрят, — хотя ни за кем не признает ни малейшего права на этот мимолетный луч пренебрежения. Гордость и мнительность, да. Но мнительность небезосновательная: человеку смеются в глаза: *«Хотел было себя поочистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал, что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная»*, — как же ему не опасаться ухмылки невидимой, насмешки заочной, даже от незнакомых — от господина Быкова, например? Вот Варенька пишет:

«Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: „Какой же это чиновник, который с вами знаком?“ На ту пору вы через двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся...» (Читал, наверное, повесть Гоголя «Шинель» господин Быков.)

Из-за таких-то усмешек и чувствует Макар Девушкин, что он вроде как букашка под огромной лупой и за каждым его поползновением внимательно наблюдает чей-то холодный, немигающий, злорадный зрачок, — и повесть «Шинель» вдруг подтвердила нестерпимую догадку!

«Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголке своем, — каков уж он там ни есть — жить водой не замуля, по пословице, никого не трогая, зная страх Божий, да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы

и в твою конуру не пробралась, да не подсмотрели, — что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?..»

Как человек простодушный, Девушкин даже и не сомневается, что Башмачкин списан прямо с него. Как человек самолюбивый, взбешен, что столь тщательно им охраняемые унижительные тайны личного бюджета и гардероба рассказаны во всеуслышание — допустим, что с сочувствием, — какая разница для человека, ни за что на свете не согласного быть смешным! — ему ли не знать, как эти подробности забавны, особенно вчуже.

Но и это еще далеко не вся обида. Главное — что гордость уязвлена. Чем обстоятельней внешнее сходство, тем очевидней для Макара Алексеевича, что его оболгали, опошили, подменили двойником! Посторонние этого не увидят — где там! — если даже Варенька сбита с толку... Посторонние скажут о Макаре Алексеевиче словами критика, профессора и цензора Никитенко: «Этот маленький чиновник, этот бедняк, которому общество не может уделить более благ, как сколько следует существу переписывающему» (высокомерно-низкие слова! Профессор и цензор, несомненно, полагал, что сам-то стоит куда дороже). Это о нем — о Девушкине! Как будто это он — двойник Башмачкина! Посторонним-то все равно. Чего доброго, так и подумают.

Тоже переписывающее существо, тоже человек... Девушкин не умеет выразить, чем привело его в гнев и отчаяние такое явственное, но такое мнимое тождество. И неизвестно, поняла ли хоть впоследствии Варенька Доброселова, насколько был он прав, — если прав.

Кому и понять, как не ей: не повстречай ее Макар Алексеевич (в Спасской церкви, я думаю, что на Волковом кладбище, — где же еще?) — никогда и ни за что не узнал бы, что он — не Башмачкин. Так Башмачкиным и помер бы.

Они ведь и точно похожи, как близнецы. Только Акакий Акакиевич — счастливый человек, а Макар Алексеевич — несчастный.

Ну, и еще имеется несколько различий, столь же незначительных. Например: Башмачкин никого не любит, а Девушкин...

До революции (Великой Октябрьской социалистической) принято было считать, что «Бедные люди» — история отнюдь не о любви. Из рецензентов по крайней мере половина изловчилась вообще обойтись без этого слова, другая — окружила его самыми осторожными определениями.

«Два лица в высокой степени интересные, — говорит высокодаровитый Аполлон Григорьев о герое и героине романа, — просветленные... пожалуй, одно своим человеческим чувством любви и сострадания, другое своим страданием, своей христианской покорностью...»

Бесталанный Никитенко прибегает к точно таким же оборотам, только в другом порядке — и страшно запутывается, — но все-таки тоже доводит до сведения читателей, что ни Макар Алексеевич, ни тем паче Варенька ни о каких непозволительных отношениях и не помышляют:

«В характере чиновника выражена та истинно христианская любовь простой души, которая несет крест свой, как долг; для него жить и страдать значит одно и то же; он и не подозревает, что в глубине его души таятся те же силы, которые могли бы его повести по пути борьбы, могли бы, может быть, увенчать его венцом победы, но, вместе с сознанием этих сил, могли бы показать ему и тщету его любви, потому что не любят уже того, чего принуждены опасаться и что бесплодно стоило нам самой теплой и свежей крови сердца».

(Видимо, последнюю фиоритуру надо понимать так, что г-н Быков не мог не внушить обесчещенной им девочке отвращения к мужчинам. Допустим. Но как из этого следует, что чувство Макара Алексеевича тщетно — истинно христианская-то любовь? Просто Бог знает что!)

Только два критика — Первый и Второй, Белинский и Валериан Майков — решились признать, что герой в героиню все-таки влюблен, — впрочем, не совсем по-настоящему и, разумеется, совершенно безответно.

«Автор не говорит нам, любовь ли заставила этого чиновника почувствовать сострадание, или сострадание родило в нем любовь к этой девушке; только мы видим, что его чувство к ней не просто отеческое и стариковское, не просто чувство одинокого старика, которому нужно кого-нибудь любить, чтоб не возненавидеть жизни и не замереть от ее холода, и которому всего естественнее полюбить существо, обязанное ему, одолженное им, — существо, к которому он привык и которое привыкло к нему. Нет, в чувстве Макара Алексеевича к его „маточке, ангельчику и херувимчику Вареньке“ есть что-то похожее на чувство любовника, — на чувство, которое он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на вовсе неуместное. Но бедняк видит, что этого нет, и с героическим самоотвержением остается при роли родственника-покровителя».

Остается-то он остается, Виссарион Григорьевич, — да ведь роль фальшивая. Вас умиляют «эти отношения, это чувство, эта старческая страсть, в которой так чудно слились и доброта сердечная, и любовь, и привычка», — но ведь очень скоро Вареньке предстоит выбирать: на панель или в канал — потому что не прожить рукоделием в Петербурге, и в услужение не возьмут — понятно почему, — а какая погоня за несчастной девушкой, какая свора бежит по следу! — и вся-то была надежда на всегдашнего и верного друга Макара Девушкина, на вечного, неизменного друга, на истинного друга, на сердечного доброжелателя — так он подписывается, — и разве он не подал ей надежду?

Попреки в сторону: обман открылся и прощен — как безрассудство без памяти влюбленного прощен, а также потому, что без этого обмана решать: на панель или

в канал — пришлось бы еще в апреле. Но теперь, в половине сентября, — неужто нет иного выбора? Неужто ничем, совершенно ничем не в силах помочь достойный друг, душевно преданный? И ни вина не терзает его, ни предчувствие? Доволен собой, как Первый Критик им доволен... уж не сделался ли снова Башмачкиным?

«Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед Господом Богом, чтобы простил мне Господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве... Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко навещаюсь. Прощайте же, ангельчик, прощайте!»

Варенька в ответ извещает о появлении г-на Быкова и передает разговор с ним Федоры:

«...что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастье мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру...»

Макар Алексеевич — как и всякий раз, когда ему слышится тягостный вопрос, под конец этого письма действительно произнесенный: *«Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба?»* — выдерживает паузу, а затем, ни слова не отвечая, впадает в повествовательный тон; очень недурным, выработанным уже слогом описывает скоропостижную смерть соседа по квартире, пожилого женатого чиновника Горшкова, заключая свой рассказ хоть и тривиальной, а все же несколько неожиданной сентенцией:

«Грустно подумать, что так в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь... Погибаешь так ни за что...»

А еще через пять дней, читая в Варенькином письме, что она согласилась выйти замуж за Быкова, что все решено навсегда, — возможно ли, чтобы он и в эту минуту, и в этом письме не расслышал ни упрека, ни безнадёжной мольбы?

«Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отворотить от меня бедность, лишения и несчастья в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы?»

«Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что делать? Из чего выбирать мне?»

И под конец:

«Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить».

Возможно ли, чтобы влюбленный человек, получив такое письмо, не знал, что ему делать? Достоевский сам, как видно, еле сдерживает негодование — и обходится с Деушкиным сурово: заставляет высказаться до дна. И сквозь жалкий, слащавый, растерянный лепет проступает совершенно отчетливо одна-единственная мысль:

«Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь?»

Проговорился — спохватился — бормочет поспешно:

«Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти...»

Но автор не дает увильнуть, и нельзя не повториться:

«Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь?»

Что ж. Он ничего не присочинял, уверяя, будто ею только и живет. Он, Деушкин Макар Алексеевич, и сейчас на любую жертву ради нее готов. Сколько раз уклонялся — или даже отчитывал, — когда Варенька звала его к себе, а сегодня сам, не ожидая просьбы:

«Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу...»

Так, бессмысленными завитушками, скрепляет Макар Алексеевич приговор своей Вареньке и себе.

Надо отдать справедливость Белинскому: он единственный позволил себе вслух задуматься — отчего бы Девушкину не взять Вареньку замуж? Ответ оказывается такой:

«...По тесноте и узкости его понятий он мог бы навязать себя Вареньке в мужья уже по тому естественному и весьма справедливому убеждению, что никто, как он, не может так любить ее и всего себя принести ей на жертву; но от нее он не потребовал жертвы: он любил ее не для себя, а для ней самой, и жертвовать для ней всем — было для него счастьем».

Натяжка очевидна. Так можно рассуждать, лишь зная наверное, что г-н Быков явится в надлежащее время. Но Макару-то Алексеевичу откуда это известно? Он ведь этого романа не читал...

Кстати: мы согласились, что завязка проста, — но отчего же развязка так печальна? Все ведь оканчивается на удивление благополучно, во всяком случае, благопристойно. Варенька выходит за того самого, кто погубил ее честь, а от чухотки разве не лучше умереть помещицей, чем проституткой? Девушкин переедет в комнатку посветлей — разве не довольно ему связки писем да томика повестей Белкина, чтобы не спиться с кругу? Что же оба так стенают и отчаиваются, надрывая читателю сердце? Можно подумать, что и он, и она всерьез предпочли бы погибнуть вдвоем — под забором, например, замерзнуть, обнявшись. Ведь это же не так, правда?

Мы видим: вздумай Девушкин сделать Вареньке предложение — даже Белинский не одобрил бы. Все сочли бы такую затею нелепой, безвкусной и неприличной — словом, смешной.

Прежде всего — эстетическое чувство страдало: чижик — и крыса! Да к тому же крыса-то, что ни толкуйте, влюблена!

«Само собой разумеется, — полагает Валериан Майков, — что любовь Макара Алексеевича не могла не возбудить в Варваре Алексеевне отвращение, которое она постоянно и упорно скрывала, может быть, и от самой себя».

И прибавляет, как искушенный сердцеведец (ему, кажется, года двадцать три, но ведь настоящие критики не живут долго):

«А едва ли есть на свете что-нибудь тягостнее необходимости удерживать свое нерасположение к человеку, которому мы чем-нибудь обязаны и который (сохрани Боже!) еще нас любит!»

Вы недоумеваете? Да просто-напросто он стар, этот Макар Алексеевич. Непоправимо, позорно стар, а туда же — про поцелуй какой-то вспоминает. Хорошо хоть самому совестно: *«на старости лет с клочком волос в амурь да в экивоки»*.

Сам же говорит:

«...Было мне всего семнадцать годочков, когда я на службу явился, и вот уже скоро тридцать лет стукнет служебному моему поприщу...»

Это значит, что юбилей предыдущий — двадцатипятилетний — промелькнул не вчера, и Девушкину давно уже не сорок два — правда, и не более сорока шести. Допустим, что и поменее: «вот уже скоро» — это все-таки не завтра; в ближайшем будущем улучшения своих обстоятельств Макар Алексеевич явно не ожидает, а ведь награждение чином за выслугу лет или хотя бы прибавка к жалованью в тридцатилетие карьеры — не такая уж несбыточная мечта; видно, рано загадывать. Но как ни считай, все выходит, что Девушкину лет этак сорок пять или около того. Комический старик в роли героя-любовника!¹ Родился в кон-

¹ В 1839 г., вышучивая чей-то безымянный и бездарный водевиль, Белинский разбивает автора в пух вот какой выкладкой: «Интересно знать, каких лет был мужчина, которого любят две женщины — мать и дочь. Матери не могло быть меньше 35 лет, а если барон предпочел ее дочери, то и он, вероятно, был человек пожилой; в таком случае, как же полюбила его молоденькая девушка? Извольте после этого поставить на сцене такой водевиль!»

це прошлого века, А. С Пушкину, между прочим, ровесник¹, — и вот, извольте видеть, влюблен...

Прав Белинский, прав Майков: что-то есть отгалкивающее в старческой страсти. Бедная Варенька! (Но г-н Быков разве моложе Девушкина? — Это не обсуждается. И потом: Быков не требует ведь любви — поэтому скорее страшен, чем противен.)

Середина 1840-х. Тютчев еще не знаком с Денисьевой — она еще пансионерка — и не написал стихов о блаженстве и безнадежности. Но и еще через двадцать лет — как робко и долго, какими наивными обиняками станет допытываться автор «Бедных людей» у двадцатилетней стенографистки: что сказала бы девушка в ее возрасте, если бы пожилой — вроде него — человек просил ее руки?..

Советские люди, читая «Бедных людей», о возрасте Девушкина думали меньше всего. Сомневаться в том, что героев связывает взаимная любовь, а разлучает бедность, не рекомендовалось. Как вышло, что при такой любви расстаться навсегда оказалось легче, чем бедствовать вдвоем, — никого особенно не занимало.

Полагалось помнить, что Белинский будто бы сказал однажды Анненкову о «Бедных людях»: это первая попытка у нас социального романа; что Достоевский будто бы сказал однажды кому-то — какому-то иностранцу: все мы вышли из «Шинели» Гоголя; что за чтение письма Белинского к Гоголю в кружке социалистов автор «Бедных людей» был приговорен к смертной казни... А сюжет «Бедных людей» разбирали в учебниках и пособиях вкратце и слегка:

¹ Время «Бедных людей» навсегда останавливается 30 сентября 1844 г.; это число выставлено на письме Достоевского, в котором сказано: «Я кончаю роман. Я уже его переписываю». 30 сентября Вареньку Доброселову венчают с г-ном Быковым. Я думаю, прощальные письма Вареньки и Макара Алексеевича — или хоть одно ее письмо — сочинены именно в этот день, вернее всего — под утро, на рассвете: Достоевский уже тогда работал по ночам.

«Конец романа печален: Вареньку увозит на верную гибель грубый и жестокий помещик Быков, а Макар Алексеевич остается в безутешном горе...»

Великая вещь — слог! Было бы написано: Варенька стала госпожою Быковой и уехала с мужем в его имение, — разве министерство просвещения утвердило бы такой учебник? А ведь все правда: Быков груб, и отбыл из Петербурга вместе с Варенькой, и вообще в царской России помещики вытворяли с бедными людьми что хотели.

Так учили детей. Взрослым развязку романа — и сцепление событий, ведущих к развязке, и спор бедных душ, ею оборванный, — пересказывали витиеватей:

«Лейтмотив повести — духовная связь благородных и скромных людей в жестоких условиях современного строя. Взаимное влечение Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой подвергается испытаниям безжалостного миропорядка (Слушайте, слушайте! — С. Л.); мечтательницу-девушку, уже запроданную богатому сладострастнику, отдают теперь навсегда в его полную собственность...»¹

Попросту говоря, в эпоху так называемого Застоя, вплоть до начала так называемой Перестройки, официальная — то есть единственная — версия объясняла развязку романа финансовым положением Девушкина. В царской России бедные чиновники не могли себе позволить — не имели ни малейшей возможности — жениться на бесприданницах, слишком трудно при самодержавии женатому человеку, если он не помещик и не генерал, — вот какой безжалостный господствовал миропорядок.

Аксиома сама по себе внушительная. Никто, кажется, не пробовал подкрепить ее математическими расчетами, а зря. Вот, например, Белинский осенью 1843 года втолковывает своей невесте:

¹ Как хорош и как важен тут этот оборот с неопределенно-личным сказуемым: *отдают*, видите ли! Идеология только так и поддерживает свое существование: обволакивая присвоенные ею ценности непроницаемой скукой.

«...Нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разные непредвиденные издержки».

Как мы знаем, и эта цифра — 6000 в год — оказалась заниженной: положившись на нее и вступив в законный брак, великий критик утопал в бедности.

А у Девушкина жалованье не то 40 рублей в месяц, не то 50. Где уж ему жениться. Какое там! С его стороны это, можно сказать, благоразумный и благородный поступок — отдать Вареньку господину Быкову.

В 1854 году в Семипалатинске Достоевский — рядовой Сибирского линейного батальона — влюбился в жену одного чиновника. Затем чиновник этот, по фамилии Исаев, уехал с семейством в Кузнецк — и там умер. Вдова «осталась на чужой стороне, одна, измученная и истерзанная долгим горем, с семилетним ребенком и без куска хлеба». Она была молода и красива, к ней сватались.

«Бедненькая! Она измучается. Ей ли с ее сердцем, с ее умом прожить всю жизнь в Кузнецке Бог знает с кем. Она в положении моей героини в „Бедных людях“, которая выходит за Быкова (напророчил же я себе!)».

И точно: эта история до странности похожа на роман Достоевского.

«Пишет, что любит меня больше всего на свете, что возможность выйти замуж за другого еще одно предположение, но спрашивает: „что ей делать?“ <...> Что если ее собьют с толку, что если она погубит себя, она, с чувством, с сердцем, выйдя за какого-нибудь мужика, олуха, чиновника, для куска хлеба себе и сыну <...> Но каково же продать себя, имея другую любовь в сердце. Каково же и мне?»

Автор, очутившись на месте персонажа, не пожелал разделить его участь. Правда, если бы не произвели его в прапорщики, ничего бы не вышло.

«Но теперь, тотчас же после производства, я спросил ее: хочет ли она быть моей женой, и честно, откровенно объяснил ей все мои обстоятельства. Она согласилась и отвечала мне: «Да». И потому наш брак совершится *непременно*».

«Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду. Ты скажешь: „Чем я буду жить?“ <...> Но знай, мой бесценный друг, что мне надо немного, очень немного, чтобы жить вдвоем с женой. <...> Она знает, что я немного могу предложить ей, но знает тоже, что мы *очень* нуждаться никогда не будем; знает, что я *честный* человек и составлю ее счастье. Мне нужно только 600 руб. в год».

Расчет, как мы знаем, безусловно ошибочный. Но зато вот какое соображение представляется неотразимым — и невзначай разбивает вдребезги практичную, мещанскую, советскую трактовку сюжета «Бедных людей»:

«Ты скажешь, что, может быть, заботы мелкие изнурят меня. Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить, как в хлопочках, лениво и без забот, — отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности...»

Бывала, выходит, и в николаевской России любовь сильнее бедности — не так ли?

...Занятно было бы также узнать, каким образом согласуется с вышеозначенной аксиомой — насчет чиновников и бесприданниц — история женитьбы Мармеладова на Катерине Ивановне.

23 рубля с копейками в месяц положили ему в петербургском департаменте, и навряд ли в провинции, где встретил он ее — вдову с тремя детьми, — платили много больше. Но она была еще несравненно бедней — нищая безнадежно.

«И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея,

руку мою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание».

Не счастья искал и осчастливить не надеялся. И вряд ли не сознавал, что не только никого не спасет, а скорее всех погубит, что при его недостатках дай бог собственную дочь не отпустить в темноту, а участь чужой вдовы как бы даже и честней предоставить провидению (какому-нибудь г-ну Быкову), — а не смог, не выдержал: сострадание — такая мучительная, такая неотступная страсть.

А наш Макар Алексеевич отступился.

Неужто из малодушия? Но ведь несомненно, что умер бы он за Вареньку с восторгом, в любую минуту, и что умрет от тоски по ней все равно, и что сам очень хорошо это знает.

И потом, будь он малодушный, да просто рассудительный человек — романа бы не было. Авантюра, с которой все началось, обличает в Девушкине характер отчаянный до легкомыслия.

Заметьте, ведь это безумство с Варенькой — не первое в его жизни. С таким же пылом «врезался» много лет назад юный Макар в модную актрису, хотя видел ее только на сцене, и всего-то разок, и то даже не видел, а слышал с галерки.

«Так как вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал — уж и сам не знаю, зачем я тогда накутил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал: замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило!»

Анекдот смешной, и рассказан кстати — по дороге из театра, — и Варенька еще не знает о забранном вперед жалованье, — а, должно быть, припомнилось ей самое

первое после переезда на новую квартиру письмо Макара Алексеевича — донельзя игривое, наивно-развязное, с невозможными стихами; шалуней величал и пальчики целовать грозился.

Видно, не померещилось тогда ни ей, ни нам — ни ему самому, — что он просто-напросто закутил, завел интрижку, обзавелся тайным адресатом, личным ангельчиком (как сосед-мичман — очередным чижиком, не заботясь о том, что в здешнем воздухе чижики так и мрут) — и в восторге от своей изобретательности, а до чужой тоски ему и дела нет:

«Премило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску — значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора! Подымете — значит, с добрым утром, Макар Алексеевич, каково-то вы спали...»

Как же разобиделся он на нее — как разозлился на себя, — поняв, что свалял дурака: вместо куклы напрокат, вместо пташки еле одушевленной, «на утеху людям и для украшения природы созданной», поселил в окне напротив существо, способное на ответный пристальный взгляд!

Тотчас отступил, приосанившись как мог величаво, и злорадный выговор закатил: как это, дескать, угораздило вас, Варвара Алексеевна, принять невиннейшие стихи («*Зачем я не птица, не хищная птица!*») за намек на какое-то якобы чувство? Ошиблись, голубушка!

«Отечественная приязнь одушевляла меня, единственно чистая отечественная приязнь, Варвара Алексеевна...»

И видется отказался иначе как в церкви: «*это будет благоразумнее и для нас обоих безвреднее.*»

Казалось бы, очнулся, и переписываться больше не о чем.

Но Варенька заболела — чуть не месяц в беспомощности, не отдавать же в больницу, и без присмотра не оставишь, а лечение дорогое, — вицмундир пришлось продать, а что Макар Алексеевич похудел — так это клевета:

«...здоровехонек и растолстел так, что самому становится совестно, сыт и доволен по горло; вот только вы бы-то выздоравливали!»

И опять в конце письма: целую все ваши пальчики, — но слышно, что это не бесцеремонность, а нежность.

Запнувшись — нарочно? — на первом шагу, роман вновь устремляется вперед, к неизбежной, непонятной развязке. Малодушной расчетливостью героя — или героини — ее не объяснишь, не такие люди.

Не так давно высказана — и уже распространилась — мысль, что Валериан Майков-то угадал: Варенька не любит Девушкина и покидает его без сожаления, и он сам в этом виноват. Не особенно симпатичная личность: эгоист и мелкий тиран. В любви бестактен и небескорыстен: хвастает благодеяниями, напрашиваясь на благодарность и похвалу. Да и что это за любовь, если разобраться: «...при отношениях неравенства, при тех отношениях, когда один любит и благодетельствует, а другой благодарит и любит, нет и не может быть на самом деле никакой любви».

Для чего же пролито в этом романе столько чернил и слез? А чтобы современники Достоевского поняли:

«...Та логика общей социальной структуры (структуры неравенства), которая, отражаясь в сознании и чувствах отдельных людей, формирует их большую амбициозную психологию, эта же логика действует и в частных отношениях людей, извращая самое святое и бескорыстное чувство — чувство любви. И оно вместо того, чтобы роднить и связывать людей, их разделяет»¹.

В общем, получается, что, начитавшись Фурье, автор «Бедных людей» хотел запечатлеть психологические последствия эксплуатации человека человеком — в искаженных лицах Макара Алексеевича и Вареньки.

¹ Логика социальной структуры (структуры неравенства) извращает любовь... Это вам не старая песня о безжалостном миропорядке: та все же оставляла какому-нибудь Ромео или Вертеру некий шанс.

А они, глупые, знай предаются самообману извращенного чувства. Им невдомек, что до тех пор, пока социализм, хоть и утопический, не победит хотя бы в отдельно взятой империи... — ну и так далее.

«— Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами...

— Я вас как свет Господень любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка родная моя! и сам для вас только жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так!

— Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего...»

Совершенно как живые. Подумать только, что связь эта — литературный прием, не менее условный, чем если бы автор заставил пресловутого Акакия Башмачкина беседовать в бреду с украденной шинелью.

Судя по первым ходам, переписка приблизительно так и замышлялась. Эпиграф это подтверждает. Он взят из новеллы князя Владимира Одоевского «Живой мертвец».

Новелла — монолог человека, которому ночью приснилось, что он проснулся после смерти, приключившейся этой ночью. (Такой уж писатель — Владимир Одоевский: выдумка блестящая, многозначительная, — но исполнение чаще всего посредственное; впрочем, бездушно-отрывистые интонации этого монолога запоминаются: Достоевский использовал их — да и весь сюжет — много лет спустя, в рассказе «Бобок».) Умер, стало быть, человек, некий Василий Кузьмич. Покинул тело. И смотрит на свой труп, распростертый на постели, откуда-то со стороны (и немного сверху, надо думать: вероятно, и Тютчева эта новелла поразила; нетрудно доказать, что и сам Гоголь кой-чем из нее позаимствовался, и Некрасов, — но это к слову).

Умер — и удивлен: ничего страшного, центр вселенной, называемый Василием Кузьмичом, продолжает существовать, только поменял местопребывание; быть невидимым — обидно на первых порах, на зато бесплотный Василий Кузьмич перемещается в пространстве мгновенно и беспрепятственно; к тому же теперь он, так сказать, неуязвим; и речью наделен по-прежнему — правда, слышной только ему — и читателям.

А при жизни был этот Василий Кузьмич средней руки чиновник, в меру подлый: взяточник, интриган и прочее. Само собой разумеется, что ни родственники, ни сослуживцы, ни любовницы не убиты потерей, в чем раздосадованному герою нынешний его статус вездесущего соглядатая позволяет с легкостью убедиться.

Но сюжет Одоевского нацелен гораздо дальше. Бесовестные поступки, совершенные Василием Кузьмичом при жизни, своекорыстные распоряжения по службе, внушенные им циничные мысли, поданные им дурные примеры — все это вдруг на его глазах невероятно быстро начинает прорастать бесчисленными ужасными последствиями: вот развращенный его наставлениями старший сын отравил младшего из-за денег; вот обобранная им племянница вовлечена в разбойничью шайку, схвачена полицией, сходит с ума в тюрьме; а главарь той шайки — бывший камердинер Василия Кузьмича, от него научившийся «разным заливчатским штучкам»... Повсюду в городе, в стране, в целом мире — в каждом несчастье, в каждом злодеянии обнаруживается прикосновенность, причастность, вина Василия Кузьмича; и оказывается, что сознавать это — пытка погорше адской.

«Нет сил больше! уж где я только не таскался! кругом земного шара облетел! и где только ни прикорну к земле — везде меня поминают... Странно! Ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочкою, не умничал, не лез из кожи и ровно ничего не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое!..»

В том-то и дело. Проклятиями людей, дурной посмертной славой можно еще пренебречь. Но когда уму раскрыта взаимосвязь всех человеческих судеб и поступков и очевидно сцепление всех причин со всеми следствиями, — от невыносимого понимания собственной вины, от оценки личной доли в сумме мирового зла некуда деться.

И ненасытное чудовище — Совесть — овладевает этой бедной, мелкой душой, непрерывно ее истязая. Теперь единственная — неисполнимая, вот ужас! — мечта бывшего Василия Кузьмича — исчезнуть совсем, потерять сознание навеки. Но это невозможно — как невозможно исправить хоть строчку, написанную при жизни, взять назад хоть слово, ненароком брошенное...

«Так вот жизнь, вот и смерть! Какая страшная разница! В жизни, что бы ни сделал, все еще можно поправить; перешагнул через этот порог — и все прошедшее невозможно вернуть. Как такая простая мысль в продолжение моей жизни не приходила мне в голову?» — в лютой тоске недоумевает Василий Кузьмич — и просыпается по-настоящему, живой вполне, в своей квартире, в своей кровати.

Просыпается, припоминает ужасающий сон — и раздражается негодующей тирадой по адресу автора «какой-то фантастической сказки», прочитанной накануне, на ночь. Эту-то тираду мы и читаем теперь в эпиграфе к роману «Бедные люди»:

«Ох уж эти мне сказочники! Нет чтоб написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное! а то всю подноготную из земли вырывают! Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже! читаешь и невольно задумываешься — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретить им писать, так-таки просто вовсе бы запретить...»

Спрашивается: какое касательство имеют эти слова к совершенно правдоподобной жанровой картинке в духе натуральной школы («Бедные люди», мы видели, аттестованы по этому разряду)?

А между тем в тексте романа отгиснут слепок интонации эпиграфа — именно там, где Девушкин возмущается повестью «Шинель»:

«И для чего же такое писать? И для чего оно нужно?.. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил... а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться...»

Не позволительно ли предположить, что эта линия осталась от самого первого наброска? что роман обдумывался вначале как история о человеке, который, разглядев случайно свою сущность в магическом кристалле, ничему не поверил, ничего не понял, только впал в нелепый, бессильный гнев? Как история бунта: Башмачкин восстает на Гоголя; как трагипародия, что ли.

Ведь и за Башмачкиным замечены некие микроскопические безумства: ишь как загляделся на фривольную картинку в окошке магазина («Почему он усмехнулся? потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье...»); а после двух бокалов шампанского «даже побежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения»...

Так вот, не вообразен ли был некогда сюжет «Бедных людей» как превращенная — обращенная против героя (и автора) «Шинели» — метафора из самой этой повести:

«С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель, на толстой вате, на крепкой подкладке без износу».

Это — Гоголь о Башмачкине. А вот — Девушкин о Вареньке и о себе:

«Ведь вот как же это странно, маточка, что мы теперь так с вами живем. Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семейством меня благословил Господь!.. Никогда со мной не бывало такого, маточка. Я вот в свет пустился теперь. Во-первых, живу вдвойне, потому что и вы тоже живете весьма близко от меня и на утеху мне; а во-вторых, пригласил меня на чай один жилец...»

Загляните еще в «Петербургские сновидения в стихах и прозе» — там Достоевский от первого лица, как интимное воспоминание, рассказывает про какую-то Надю: как в ранней молодости, в отчаянной бедности он будто бы читал ей Шиллера, «Коварство и любовь», а потом она вышла «вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу», а всего-то имущества и было у чиновника-жениха — «только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки», — вот после замужества этой Нади, оставшись один, якобы и задумался впервые Достоевский о будущем романе...

Он затеял его, по собственному признанию (в одном письме, кажется), как тяжбу со всей литературой — и прежде всего ополчился на повесть «Шинель». Он подарил умственно отсталому герою Гоголя живую девушку взамен суконной тряпки — для того, наверное, чтобы доказать: способность чувствовать голод, холод и страх еще не делает человеком переписывающее существо, самоходное копировальное устройство... Казалось, ничего не стоило таким способом разоблачить Башмачкина — или того, безымянного, с шишкой на носу — как пародию на человека, но...

Но, как уже сказано, сначала Варенька слегла в простудной горячке, и Девушкину пришлось продать вицмундир; потом квартирная хозяйка потребовала уплаты долга; другие кредиторы набежали; офицер какой-то разлетелся к Вареньке с бесстыдным предложением; а там и его дядюшка с тем же пожаловал; и руку она обожгла

утюгом; и счет пошел уже на последние двугривенные; и во всем этом водовороте ежедневных унижительных бедствий Девушкин хоть и запил было, — а все-таки выказал (неожиданно, быть может, для сочинителя) столько храбрости, упрямства и любви, что мотив «Шинели» (хоть бы и наизнанку) как бы сам собой сбился на горестную тему «Станционного смотрителя», причем герой исполняет попеременно две партии — ротмистра Минского (понарошку) и Самсона Вырина (всерьез).

И эпитафия из Одоевского переменяет значение. Он, во-первых, дает основную тональность, напоминая об исходной точке замысла. Во-вторых же, по-видимому, отсылает читателя к другому эпитафию, коим снабжена сама новелла «Живой мертвец»:

«...Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым по-видимому незначащим поступком, с каждым движением души человека...»

Упрек ли это герою и героине «Бедных людей» — за то, что расстались, — или тем, кто вынудил их расстаться либо был виновником остальных бедствий, — в любом случае смысл эпитафия движется от гоголевского: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — к толстовскому — библейскому: «Мне отмщение, и Аз воздам».

А в глубине романа проступает — с каждой страницей все явственней — другой, потайной эпитафия и еще одним отражением освещает суть сюжета.

Самая, быть может, замечательная — в рассуждении блеска прозы — страница: Девушкин в кабинете Его Превосходительства нагибается за отлетевшей пуговицей. Кто только не восхищался обличительным гуманизмом, продуманно-мучительным темпом этой мизансцены. Никто не оценил многоплановую — что ваш Джойс! — глубину фразы:

«Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку...»

Похоже, что для всех и всегда этот период был и остается простым сообщением, что у бедного Макара Алексеевича от волнения и физического усилия, что называется, зашумело в голове.

Но вдумаясь же — какой это странный шум!

Быт в квартире, где проживает Девушкин, по существу — коммунальный, но хозяйка держит прислугу — двоих, как это говорилось, людей: женщину по имени Тереза и мужчину по прозвищу Фальдони.

«Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя, только он и на это откликается; все его так зовут», — рассказывал еще в начале романа Макар Алексеевич Вареньке.

Происхождение странной для угро-финна клички вполне разъясняется в комментариях к академическому изданию: должно быть, просвещенные квартиранты в свое время прочли популярный переводной (с французского) роман Н. Ж. Леонара «Тереза и Фальдони, или Письма двух любовников, живших в Лионе». Роман выдержал в России по крайней мере три издания (комментаторы указывают два), так что какой-нибудь остроумный отставной мичман, услышав, что служанку зовут Терезой... словом, понятно.

И вот эти два имени, чередуясь, позвякивают в переписке бедняков, живущих в Петербурге, — обозначая самых обыкновенных, второстепенных персонажей: то Варенька даст Терезе двадцать копеек, то Фальдони нагрубит Макару Алексеевичу.

С какой же стати воспоминание о них пробегает в мыслях Девушкина, пока он копошится у ног начальника? Неужто действительно — ни с того ни с сего?

Роман Леонара ему неизвестен. До знакомства с Варенькой наш герой прочитал — вы, конечно, помните — лишь три произведения словесности: «Ивиковы журавли», балладу Шиллера (из нее-то, несомненно, и почерпнув знание о справедливости); еще «Картину человека»,

умное сочинение Галича — в самом деле очень недурной учебник человековедения, — 613 параграфов: что такое гордость, что такое мнительность и чем *страсть половая* — *любовь* отличается от *страстей одинокого быта*, или *чисто животного самолюбия* и т. д. Маловероятно, что М. А. одолел всю книгу, вплоть до какой-нибудь *семиотики телесной*, — но кто же, если не Галич, укрепил его в мысли, что для настоящего человека наивысшим благом является *досточтимость* (А. С. Пушкин, слушатель первых лекций Галича, перевел бы: честь; ну а у Девушкина через каждые два слова на третье: амбиция)?

Читывал он и роман — тоже переводной, тоже с французского: «Мальчик, наигрывающий разные штуки колокольчиками» Дюкре-Дюмениля — и, должно быть, оттого с таким сочувственным интересом заглядывает в кареты знатных дам, проезжающих по Гороховой улице. В авантюрном этом романе бедный подкидыш, уличный музыкант, *маленький курантищик*, вызнав тайну своего происхождения и сделавшись в четвертом томе графом и богачом, на самой последней странице — «приказал высечь на фронтоне павилиона, во внутренности своего Замка, сии слова:

И теперь еще раздается в ушах приятный звук наших курантов».

Не этот ли перезвон слышен Девушкину в самую нелепую и жалкую минуту карьеры?

Но при чем Тереза и Фальдони, квартирная прислуга?

Не щегольство ли тут литературное: смотрите, мол, как тонко подмечено, что человек в крайне затруднительном положении думает о самых отдаленных, совсем ненужных предметах?

«Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближался тот счастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их счастья...»

Так повествует Карамзин в «Записках русского путешественника» будто бы о действительном происшествии, случившемся в городе Лионе «лет за двадцать перед сим».

В последний момент отец Терезы передумал — отказал жениху, по какой-то там важной причине. И тогда влюбленные решились на совместное самоубийство: встретились за городом, в каштановой роще, «приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался — они упали, обнимая друг друга...».

Приготовьтесь, читатель, еще к одной пространной выписке; я, в конце концов, не виноват, что старинные авторы бывали настолько красноречивы. Следующий пассаж многое объясняет, мне кажется, в «Бедных людях» — и в других созданиях русской литературы:

«Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Есть ли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или есть ли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства несчастного, и с приятными слезами нежного сожаления взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? Истинная любовь может наслаждаться и без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается...»

И еще два периода в том же духе. Причем к словам «чего более?» Карамзин дает в сноске примечание: «Кто хочет, рассмеется».

Этот-то отрывок — с примечанием в придачу — я и назвал бы потайным эпитафием «Бедных людей».

Если бы Достоевский думал, что в его романе никто никого не любит — например, хоть по вышеобъявленной причине: мол, в данной негодной социальной структуре некому и некого любить, — вся эта игра имен была бы пустой, никчемной, недоброй забавой. По-моему, это не так.

Возможно — более чем возможно, — что чувство, будто мир испорчен, изгажен чьей-то невообразимо огромной, беспощадно насмешливой волей, — не оставляло его.

Но, перечитывая первый его роман, трудно отказаться от мысли, что это — сочинение троих Д: Достоевского, Девушкина, Доброселовой; что в нем происходят среди прочих и такие события, которых Достоевский заранее не предвидел.

Можно ли было, скажем, предусмотреть — ведь другие романы Достоевского не были еще написаны, — что с конца июля, как раз когда раскроется обман и мнимое благополучие рухнет, — что с этого самого времени у героя и у героини переменятся голоса и чуть ли не роли, да как: Макара Алексеевича, вместо того чтобы поникнуть от вины и стыда, закуражится и закапризничает, — а в письмах Вареньки вместо отчаяния и обиды зазвенит такая жаркая тревога и жалость к старому безумцу — никакого сравнения с прежней грустной дружбой — прекрасный собою италиянец Фальдони позавидовал бы...

Так что не вовсе случайно развязка романа — возвращаемся к ней напоследок — напоминает решение лионских любовников.

Но точно ли бедность, одна только проклятая бедность всему причиной? То есть должно ли так понимать, что и Девушкин, и Варенька, в уверенности, что вдвоем не спастись, оба одновременно отталкиваются от слишком углого для двоих плотика, захлестываемого судьбой, — чтобы не лишиться другого ничтожной, ненужной, но единственной возможности выплыть?

Бедность и впрямь ужасна, бедность сжигает, как кислотой, какую угодно любовь, — так прочитал, например, «Бедных людей» молодой чиновник Салтыков и написал вслед повесть «Запутанное дело», в которой петербургский

бедняк видит во сне, как женился на своей Наденьке, и вот уже ребенок у них умирает голодный, и она уходит из дому — продать себя богатому старику, чтобы только раздобыть денег — на гробик ребенку и ужин отцу, — впрочем, это уже Некрасов, тоже год 1847-й.

Но похоже, что и еще какой-то призрак держит Макара Алексеевича в оцепенении, заставляет разжать руки.

В XIX веке это было очевидно — оттого тогдашние критики и принимали молча развязку романа как наилучшую из возможных.

Они-то догадывались, отчего, как унижительную тайну, прячет Макар Алексеевич от соседей по дому свою с Варенькой связь.

И почему никак не отвечает на Варенькины слова, что никто, кроме г-на Быкова, не возвратит ей честное имя.

По-видимому, в сороковых годах сказанного столетия жениться, как Мармеладов, на вдове с тремя детьми, хоть бы и нищей, все еще казалось несравненно легче, чем взять за себя, как Покровский-старший, любовницу — жертву — так или иначе, наложницу — г-на Быкова.

И дело даже не в том, что Макар Алексеевич у нас — какой-никакой, а все-таки дворянин (выйди в свое время крестик — стал бы и потомственным, совершенно настоящим, никого не хуже... «ну да уж что!») и не забывает при случае вернуть словцо «в своем смысле, в благородном, в дворянском-то отношении»...

Дворянство, быть может, и вздор, а вот Шиллер не вздор, «Коварство и любовь» не вздор:

«Как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который, по крайней мере, получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на своей чести в моем позоре?»

Как это в последней советской монографии — амбициозная психология? испорчен логикой социальной структуры? — вот-вот. Почти не имеет понятия ни о Шиллере, ни о Бомарше, — а ведет себя так, словно наслышан отку-

да-то, что борьба за права человека начиналась в литературе с борьбы за право первой ночи. Невольник амбиции.

(Кстати: нечто очень похожее на «Коварство и любовь» мелькнет в сюжете «Идиота»...)

Смирись, бедный человек, то есть восстань против мнений света: будь счастлив; говоря стихами из ада — плюй на все и торжествуй, переписывающее существо! — Не желает.

Любовь и честь, или Бедные люди...

«Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги главное», — говорит литератор Ратазьев одному из двойников Девушкина — чиновнику Горшкову — и треплет его по плечу. Это тот самый Горшков, которому совсем недавно, не устояв перед униженной мольбой, Макар Алексеевич отдал свой последний гривенник. А теперь он, видите ли, оправдан в чем-то там по суду и вознагражден знатной суммой. И слова Ратазьева ему не нравятся.

«...То есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, — возбужденно рассказывает Девушкин Вареньке, — а только посмотрел как-то странно на Ратазьева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! — добавляет он. — Впрочем, различные бывают характеры...»

Почти все мы читаем «Бедных людей» не более чем дважды за жизнь, причем второй раз — как правило, поздно. В промежутке сохраняем уверенность, что смысл нам внятен: совпадает с названием. Быть может, так и есть. Но в названии недостает какого-то знака — то ли восклицательного, то ли многоточия: ведь это вздох.

Постскриптум

Полузабыт или недочитан, а все же в глубине русского литературного сознания этот роман светится постоянно.

Вот стихотворение Пастернака «Разлука»:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома...

Пропускаю несколько строф.

...И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сглохнет...

Последние строчки:

Он бродит, и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иглой,
Внезапно видит всю ее...

Что это, по-вашему? Лара уехала от Юрия Живаго? Ивинскую арестовали? Да, разумеется, и то и другое. Но и вот еще что:

«Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: „Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу“ — и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кровать стоит... Голубчик вы мой!!!»

Так у Достоевского: три восклицательных знака.

...И плачет втихомолку.

Ночной смотр

ЛАВРЫ ВОЛЬТЕРА

Для гения (что бы ни значило это слово) Вольтер был чересчур плодовит и слишком умен. И если ему по-счастливилось — единственному из всех писателей планеты, — дотянувшись до маятника человеческой истории, дать ему заметный толчок, это удача и заслуга у м а, сверх всякой меры проворного, сверх всякой меры неутомимого. А что все-таки две-три вещи, писанные на седьмом десятке, на восьмом — причем как бы между делом, чуть ли не забавы ради, — оказались произведениями гениальными — это чудо и счастье, это, если угодно, награда судьбы. Не прояви она тут, в этом исключительном случае, столь несвойственные ей справедливость и великодушие — литературная слава Вольтера еще в XIX веке грузной тучей охладелых сочинений ушла бы за горизонт. А он ею дорожил, и он не предвидел, умирая знаменитым автором трагедий, поэм, трактатов, памфлетов, монографий, что очень скоро из восьмидесяти томов лишь один, самый легковесный, будут читать всерьез.

Но и семидесяти девяти томов сочинений (плюс пятьдесят томов писем) хватило, чтобы кое-что переменить. Читали мы или не читали «Задига», «Кандида», «Простодушного», «Историю доброго брамина» — в любом случае нас окружает реальность, которая выглядела бы по-другому, если бы лакеи шевалье де Рогана, избивая Вольтера палками, повредили ему головной мозг.

Не напиши Вольтер — под ста тридцатью семью псевдонимами — своих бесчисленных книг, — разве осмелились бы десятки других литераторов — а за ними тысячи

читателей — усомниться в том, что христианская Церковь — ум, честь и совесть XVIII века?

Официальную непререкаемую идеологию, позволяющую над собою потешаться только собственным функционерам в узком кругу, Вольтер выставил на посмешище толпе, создав из общего хохота общественное мнение — но с таким, однако, расчетом, чтобы власть имущие воображали, будто смеются первыми.

Стратегия без ошибок! Интеллектуальное тщеславие начальников притупило в них инстинкт самосохранения. В конце концов Государству стало стыдно за Церковь — за кровавые массовые репрессии (драгонады) против гугенотов; за жестокие приговоры мнимым еретикам; за лицемерные проповеди развратных и алчных священнослужителей — но пуще всего за нелепость главных догматов: с каким блеском Вольтер противопоставил им здравый смысл и передовую английскую науку!

Государство отпустило руку Церкви — пошатнулось — выронило экономику — на ту беду лиса близехонько бежала — и через поколение Великая революция, о необходимости которой Вольтер, вступая на попрание, и не помышлял, — совершилась...

Короли всех мастей, хоть и портили ему на первых порах игру, отнюдь не были противны этому безродному космополиту. Без отвращения целовал он руку то Людовику XV, то Фридриху II, и Екатерине II писал: целую ваши ноги, белые, как снега вашей страны. С монархией господин де Вольтер не враждовал — только с Церковью Христа.

В наши дни трудно объяснить — хотя легко понять, — за что так неотступно ненавидел преуспевающий поэт и делец организацию, которая лично ему не чинила ни малейших препятствий. Но бесспорно, что это была сильнейшая — и целеобразующая, так сказать, — страсть его жизни. Утоляя этот пламень, Вольтер не брезговал ничем, вплоть до того, что осквернял суеверия толпы — ее же предрассудками: к примеру, честил католиков просто-напросто жидами.

«Да, жиды и идолопоклонники, если вам угодно знать. Разве ваш Бог не был рожден евреем? Разве он не был обрезан, как еврей? Разве он не исполнял всех еврейских обрядов?.. Разве ваши крестины не еврейский обычай, заимствованный у восточных народов? Разве вы до сих пор не называете главный из ваших праздников еврейским словом „пасха“? Разве вы уже семнадцать с лишним веков не поете, в сопровождении дьявольской музыки, еврейских песен, которые вы приписываете еврейскому царьку — разбойнику, развратнику и человекоубийце?..»

Апостол терпимости, как видим, недурно знал свою публику. Именно поэтому от всего сердца порицал пропаганду атеизма. Он предугадывал последствия:

«Бедный и сильный атеист, уверенный в своей безнаказанности, будет глупцом, если не убьет вас, чтобы украсть ваши деньги. С этого момента все общественные связи будут порваны, тайные преступления заполняют землю, подобно стае саранчи, которая, будучи едва заметной поначалу, затем опустошает ваши поля. Чернь станет только разбойничьей ордой...»

Тем не менее нового Бога для бедных Вольтер так и не выдумал — и распространял религию, какую исповедовал сам: беснуясь при мысли о Спасителе, он все же, как человек просвещенный, не мог себе представить мироздание без Творца. Насмехаясь над Крестом, он верил как бы в вечный двигатель, вращающий ярмарочную карусель.

Эта гипотеза удовлетворительно истолковывала все факты — кроме зла и кроме страдания.

Погрешность, в общем, терпимая для наблюдателя бесстрастного — то есть умеющего исполнить совет сэра Фрэнсиса Бэкона Веруламского: не оставлять заложников Судьбе, — а Вольтер умел, и не дорожил ничем, за исключением здоровья и богатства (в частности, как замечает Пушкин, «он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении других людей»).

Но, почитая себя всех умнее, он был несчастлив, как все, и утешался только сознанием, что «не пожелал бы счастья, если бы ради него надо было стать дураком».

И он тосковал, особенно сильно в старости, по неверной хотя бы надежде на иллюзию, будто жизнь содержит какой-то смысл, пусть совершенно непостижимый.

В «Задиге» надежда эта высказана горячо, в «Кандиде» она совсем плоха, в «Простодушном» — умирает вместе с прекрасной Сент-Ив, и эта последняя повесть печальней Шекспировой — действительно, самая печальная на свете.

Не странно ли, что ее создал циничный сочинитель «Орлеанской девственницы» (столь ценимой, к слову сказать, русскими декабристами)?

Отражаясь одна в другой, обесчещенные героини поэмы и повести, обе — распутная и невинная, намечают судьбу и облик так называемой души автора — личной, бессмертной (что бы ни значили эти слова).

...Кое в чем Вольтер не сомневался: в могуществе печатного слова; и еще в том, что мир потихонечку с течением времени становится лучше.

Вдруг это заблуждение и маятник уже пошел обратно?

Если даже и так, не Вольтер виноват.

Он же нас предупредил, самый словоохотливый из литераторов, что не наше дело — рассуждать, для чего создано такое странное животное, как человек: наше дело — молчать; и возделывать свой сад — конечно, если удалось приватизировать участок.

КАКОВА ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ

Не приходится сомневаться, что Эмануэль Сведенборг был человек необъятных познаний, к тому же необыкновенно умный. Ведь это он первый установил, что наше Солнце — одна из звезд Млечного Пути, а мысли вспыхивают в коре больших полушарий мозга — в сером веществе. И он предсказал день своей смерти — пусть незадолго до нее, но точно: 29 марта 1772 года.

Исключительно толковый, правдивый, серьезный, добросовестный представитель шведской знати; почетный член, между прочим, Петербургской АН.

Вот что с ним случилось в Лондоне на пятьдесят восьмом году жизни (1745). Он сидел в таверне за обедом, как вдруг туман заполнил комнату, а на полу обнаружились разные пресмыкающиеся. Тут стало совсем темно среди бела дня. Когда мрак рассеялся — гадов как не бывало, а в углу комнаты стоял человек, излучавший сияние. Он сказал Сведенборгу грозно: «Не ешь так много!» — и Сведенборг вроде как ослеп на несколько минут, а придя в себя, поспешил домой. Он не спал в эту ночь — сутки не притрагивался к еде, — а следующей ночью опять увидел того человека. Теперь незнакомец был в красной мантии; он произнес: «Я Бог, Господь, Творец и Искупитель. Я избрал тебя, чтобы растолковать людям внутренний и духовный смысл Писаний. Я буду диктовать тебе то, что ты должен писать».

Диктант растянулся на много лет и томов: это было непосредственное Откровение — *«то самое, которое разумется под пришествием Господа»*, как понял вскоре Сведенборг. При его посредстве Создатель в последний

раз объяснял человечеству смысл Библии, смысл жизни, а также раскрыл тайну нашей посмертной судьбы. Чтобы текст стал как можно более отчетливым — высоконаучным, Сведенборг получил допуск в загробный мир — побывал в раю, осмотрел ад, интервьюировал ангелов и духов; не довольствуясь признаниями умерших, сам отведал клинической смерти.

В результате оказалось, что *«по отрешении тела от духа, что называется смертью, человек остается тем же человеком и живет!»*

«Человек, обратясь в духа, не замечает никакой перемены, не знает, что он скончался, и считает себя все в том же теле, в каком был на земле... Он видит, как прежде, слышит и говорит, как прежде, познает обонянием, вкусом и осязанием, как прежде. У него такие же наклонности, желания, страсти, он думает, размышляет, бывает чем-то затронут или поражен, он любит и хочет, как прежде; кто любил заниматься ученостью, читает и пишет по-прежнему... При нем остается даже природная память его, он помнит все, что, живя на земле, слышал, видел, читал, чему учился, что думал с первого детства своего до конца земной жизни...»

Чрезвычайно отрадное известие, не правда ли? Даже и слишком: вечной собственной памятью не отравится разве компьютер — и мало кому нужен тамошний самиздат... Но это мы еще посмотрим — а главное, главное: никто не исчезнет. По Сведенборгу выходит, будто исчезаем мы — просто из виду: не из пространства, но за горизонтом — всего лишь с точки зрения других; и теряем не себя — даже и не тело, — а только сыгранную роль; расстаемся, правда, навсегда — слово ужасное! — но с кем? с чем? — с декорацией пьесы; ну, и с трупной, разумеется: прощайте, прощайте, действующие лица и исполнители!

При таких условиях смерть не страшней развода — или какого-нибудь железного занавеса: эмиграция в новую действительность, и больше ничего. Если никого не любить — — —

Но в том-то и дело, и погодите ликовать. Сведенборг утверждает, что все остается «как прежде» только на первых порах — обычно не дольше года. За это время умерший человек уясняет — из бесед с другими духами, а также в уединенных размышлениях: что или кого любил он при жизни — и весь преобразается в ту любовь, которая над ним господствовала. И вот, те, кто любил благо и истину — то есть Бога и ближнего, — те потихоньку становятся ангелами, плавно погружаются в небеса и там ведут увлекательную жизнь, здесь непересказуемую. А кто любил и продолжает любить больше всего на свете зло и ложь — а именно материальный мир и самого себя, — такие без чьего-либо принуждения, по собственному горячему желанию летят вверх тормашками в ад, чтобы жить среди своих и наслаждаться на свой собственный лад: это дьяволы.

«...Когда дух по доброй воле своей или с полной свободой прибывает в свой ад или входит туда, он сначала принят как друг и потому уверен, что находится между друзей, но это продолжается всего несколько часов: меж тем рассматривают, в какой степени он хитер и силен. После того начинают нападать на него, что совершается различным образом, и постепенно с большей силой и жестокостью. Для этого его заводят внутрь и вглубь ада, ибо чем далее внутрь и вглубь, тем духи злее. После нападений начинают мучить его жестокими наказаниями и не оставляют до тех пор, покуда несчастный не станет рабом. Но так как там попытки к восстанию беспрестанны, вследствие того что каждый хочет быть больше других и пылает к ним ненавистью, то возникают новые возмущения. Таким образом, одно зрелище сменяется другим: обращенные в рабство освобождаются и помогают какому-нибудь новому дьяволу завладеть другими, а те, которые не поддаются и не слушаются приказаний победителя, снова подвергаются разным мучениям, — и так далее постоянно...»

Странно знакомая картинка, вы не находите? Необходимо добавить, что Сведенборг раньше Канта понял, насколько условны обычные представления о времени,

пространстве и причинах. Он уверен — и уверяет, — будто небеса находятся внутри каждого из нас — и притом изрыты множеством адов.

Таким образом, и Сведенборг не особенно утешает. А как хотелось бы, кончаясь на койке — или на мостовой под обувью, например, патриотической молодежи, — успеть подумать, что рано или поздно еще увидишься с кем-нибудь, с кем невыносимо разлучиться. По учению христианской Церкви, как известно, такая встреча может состояться лишь в конце времен, после глобальной катастрофы, — да еще найдем ли, узнаем ли друг друга в многомиллиардной толпе?

Но если верна гениальная формула Сведенборга: *человек есть олицетворение своей любви*, — то даже если неверна другая его догадка: *будто человек после смерти навеки пребывает таким, каков он есть по воле своей и по господствующей в нем любви*, — жизнь все-таки бессмысленна не вполне.

Как заметил один из внимательнейших читателей Сведенборга: «Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!»

Не знаю, корректно ли другой читатель — Клайв Стейплз Льюис — выводит из проблемы личного бессмертия моральный выбор между тоталитаризмом и демократией: «Если человек живет только семьдесят лет, тогда государство, или нация, или цивилизация, которые могут просуществовать тысячу лет, безусловно, представляют ббольшую ценность. Но если право христианство, то индивидуум не только важнее, а несравненно важнее, потому что он вечен и жизнь государства или цивилизации — лишь миг по сравнению с его жизнью».

Лично я все-таки подозреваю, что Вселенная — тоталитарная система. Но из этого не следует, по-моему, что, убивая нас, она права. Просто она больше ничего не способна сделать с теми, кто стал олицетворением своей любви.

ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПЕЧАЛЬНО ЗАМЕЧАЕТ

Занятный какой случай рассказан в главе «Городня» радищевского «Путешествия». Крестьяне государственные — казенные — покупают у некоего помещика крепостных, чтобы сдать их в солдаты вместо своих сыновей.

Помимо извечной любви народа к своей армии, тут замечательна юридическая изобретательность, а вернее — наглость: преступный умысел, движимый взяткой, не то что не разбивается о мрачную скалу закона — даже не дает себе труда обогнуть ее, — а подхватывает, играет ею, словно бумажным корабликом.

«— Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.

— Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты».

То есть документы не просто в порядке — там идиллия, даже с оттенком патриотизма: добродетельный помещик освобождает рабов, а те по доброй воле — из любви, например, к земледелию — вступают в сельскую общину, а община постановлением собрания доверяет им защищать отечество.

По сравнению с этой аферой, затеянной бесправными мужичками («*Отойди, пока сух*», — советуют они Путешественнику), — что проделки Джона Лоу, Чичикова или Мавроди? Всего лишь игра, хоть и азартная.

Трудно, кстати говоря, отделаться от мысли, что Гоголь «Путешествие из Петербурга в Москву» читал (разве

не мог свой знаменитый экземпляр ссудить ему Пушкин?), что автору «Мертвых душ» пригодились и эта кибитка с пьяницей Петрушкой на козлах, и многозначительная метафора: *«крестьянин в законе мертв»*, — и не у таможенника ли Радищева перенял таможенник Чичиков эту округлую приятность обхождения с противоположным полом:

Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности.

В средней школе не замечают (учителя невинны, ученики невнимательны), что Путешественник обожает не одну лишь справедливость, но также и женщин — и уже поплатился, бедный, вензаболеванием (*«невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь»*), и уверен, что передал инфекцию покойной своей супруге (*«Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселии, преселился в чистое ее тело...»*), и теперь терзается за детей (*«Все ваши болезни суть следствия сея отравы...»*).

Хорошо еще, ум его так счастливо устроен, что без особенных усилий справляется с чувством вины: *«Кто причиною: разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не только путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан...»*

До этой главы («Яжелбицы») обычно никто не добивается, кроме разве сугубых специалистов. Поучительный, актуальный сюжет обходят стороной. Только в самом научном из научных изданий он удостоен разъяснения — вполне ханжеского: дескать, мало ли что понаписано в художественном произведении — главное, что лично великий писатель ничем таким, разумеется, не страдал; в данном конкретном случае, зарубите себе на носу, автор за героя, хоть и положительного, не отвечает.

Именно так и преподают: политические суждения, высказанные в «Путешествии», — те, мол, действительно принадлежат Радищеву, а интимные признания выплакивает в скобках воображаемое существо — двойник, тень, типичный представитель.

Но это неправда — и книжка жива до сих пор только потому, что автор кое-где проговорился о собственных личных, о внутренних обстоятельствах.

То есть, разумеется, — кто же спорит — из политэкономических иные наблюдения Путешественника тоже словно бы сегодня записаны.

Демагогу зрелого социализма было бы, наверное, в высшей степени противно прочитать: *«Все то, на что несвободно подвигаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледельцев в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво, и не радеют о том, не запустеет ли среди делания...»*

Равно и военномыслящий патриот с величайшей охотой запретил бы сочинение, в котором сказано: *«Что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутость и истощение... Несмысленной! воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя услаждающего...»*

Разумные идеи, благородные чувства, забавно превозвышенный слог, — но впивается навсегда строчка легкомысленная: *«Анюта, Анюта, ты мне голову скружила!»* — и за нею меланхоличная исповедь пылкого сердца, и Путешественник не в силах утаить, что — совсем как Радищев — завел (*«от плотской ненасытности»*) роман с сестрою жены... Без этих неуютных подробностей, при одной политической отваге — сочинение остыло бы давно.

Однако монумент Радищеву перед Зимним дворцом очередная Великая революция воздвигла только за ненависть: за ненависть к царям; не то гипсовый, не то

фанерный, он не устоял в петербургском климате, сгинул без следа.

Радищева определили в советскую среднюю школу воспитателем — еще бы, такая анкета, да при ней характеристика за подписью Екатерины II: бунтовщик похуже Пугачева. Но вот-вот, боюсь, откроется, что императрица произнесла — сверх того — *мартинист!* — и по совокупности этих эпитетов исключат «Путешествие» из программы. И в предстоящем веке если кто и вспомнит о злосчастном Александре Николаевиче — то разве для отрицательного примера: смотрите ж, дети, на него — не напрасно ли рисковал и мучился, и зубрил церковнославянские глаголы, и погубил свою жизнь, и принял страшную смерть — стакан азотной кислоты!

«О безумие, безумие! О пагубное тщеславие быть известну между сочинителями! О вы, несчастные и возлюбленные чада, научитесь моим примером и убегайте пагубного тщеславия быть писателем!»

Вот какое послание оставил Радищев на станции Петропавловская крепость.

Совет бесполезный! Путешествие почему-то продолжается — гремит и становится ветром разорванный в куски воздух — куда несемся мы? Не приближаемся ли, чего доброго, к месту своего назначения? — угрюмый ландшафт необыкновенно знаком, — какая станция, говорю, после ГУЛАГа? — не дает ответа.

Лишь кричит вдогонку голосом Радищева:

Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности — рабство...

ТЕОРЕМЫ ЧААДАЕВА

Масон. Франкоязычный литератор. Написал страниц триста, напечатал — тридцать, из них прочитаны многими десять; за каковые десять страниц заподозрен в русофобии; наказан.

Там было нечто вроде примечания, как бы отступление от предмета речи: втолковывая одной знакомой даме, что быть настоящей христианкой в миру хоть и трудно, однако возможно, только надо построже обращаться с собственной душой, — автор вдруг спохватывается: не сбился ли на пересказ банальной религиозной брошюры. Вот тут-то и вырываются эти роковые слова:

«Я знаю, что это старая истина, но у нас она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах, и даже у народов, гораздо более нас отсталых...»

Подцензурный текст звучал мягче. Остановись Чаадаев тут, вернись он хоть на время в основной сюжет: реализация идеи христианства как смысл истории, — судьба Чаадаева была бы другая. Наша с вами, пожалуй, тоже. Мнительный, но тщеславный гвардии капитан предпочел продолжать движение: напролом, сквозь отрицательный, сквозь опасный пример — к высоте, только ему видимой. (*«С этой высоты открывается перед моими глазами картина, в которой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии грядущего блаженства людей мое прибежище...»*)

Он считал себя автором одной мысли — одной, но страшно важной для всего мира, — причем уверен был,

что в «Философических письмах к г-же***» выразил ее вполне. Когда через полтора столетия книгу напечатали — обнаружилось немало занятных суждений, но «истина века» — эта единственная, ослепительная, неотразимая мысль так и не нашлась. То ли вдохновение обмануло Чаадаева, то ли от времени обесцветились чернила на рецепте, что выписал человечеству мнимый больной, — а это был рецепт христианского счастья.

Странное, не правда ли, сочетание слов? Сам-то Петр Яковлевич, как известно, зачем-то носил с собою повсюду рецепт на какой-то препарат мышьяка.

Но это уже после, потом... Когда он, бывший герой стихов Пушкина, сделался гоголевским персонажем. И не Маниловым, что было бы хоть отчасти поделом, — его объявили Поприщиным, ославили Собакевичем...

Отчего не допустить, что и впрямь не без воспоминания о мученике мартобря поставлен был злорадный августейший диагноз: *«Смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного»?*

А «Ревизору» император аплодировал — и Чаадаев чуть не плакал: *«...Никогда ни один народ так не бичевали, никогда ни одну страну так не волочили по грязи, никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха... Почему мы так снисходительны к циничному уроку комедии и столь недоверчивы к строгому слову, проникающему в суть вещей?..»*

Он умер, так и не догадавшись, что русская литература за него отомстит. Что десять страничек запрещенного старинного журнала отзовутся десятками томов, и писатели один другого гениальней целью жизни поставят — доказать хоть одну из двух теорем Чаадаева. Действительно ли Россия — факт географический только (игра природы, а не ума, как шутят в романах Достоевского)? Точно ли ей, тем не менее, суждено преподавать миру великий урок (летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства, — как сказано все знают где)?

Тютчев остроумно связал обе идеи — Солженицыну, боюсь, такое легкомыслие не понравилось бы: *«Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и комфортабельным, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой Родины».*

Кроме шуток — обе теоремы решились в XX веке сами собой: Россия воспрянула ото сна, как и предсказывал Чаадаеву Пушкин, — и на обломках самовластья построила ГУЛАГ — опять воспрянула — и его разрушила — однако ж не до основанья.

Третий, последний вопрос Петра Яковлевича остается без ответа:

«Кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества, и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?»

Правда, в подцензурной публикации этих строк нет.

ЗЛАК ЗЕМНОЙ

Скуки дорожной ради — отчего бы и не поворошить чужую тайну? Верней — насыпанную над нею грудую слов.

Добудем из-под басни — сплетню. Это, по крайней мере, жанр взрослых людей: подтверждает, что жить не умеет никто; тем самым утешает.

О женщинах (по крайней мере, о своих) Федор Тютчев думал — как бы это сказать? — не подолгу. Гораздо больше, чем о детях, но меньше, чем, например, о стихах.

Это не мешало им (разумею женщин) поочередно разорять и благоустраивать его жизнь, разорять и благоустраивать, словно какое-нибудь завоеванное королевство. И он переходил из рук в руки, не оказывая сопротивления. Будучи постоянно занят заботами поважней.

Если бы, скажем, цыганка нагадала Тютчеву, что через двести лет его будут помнить лишь как поэта, — он только усмехнулся бы снисходительно. Для себя — и для всех, кто его любил, — он был пророк.

Теперь это называется — политтехнолог, политконсультант, правильной всего — политсценарист. Человек, умеющий вообразить последствия происходящих событий. Уловить смысл своего времени — как бы разгадать, куда клонится сюжет сериала и кого какая ждет судьба.

Европейские державы были для Тютчева живые существа с человеческими характерами, толпящиеся вокруг огромного игорного стола. Себя же он чувствовал зрителем — но каким! Единственный в зале, он знал расклад и, сверх того, умел читать мысли. Тот из игроков, кто прислушался бы к его шепоту, неизбежно сорвал бы банк.

Император Николай, вообще-то, был извещен, что, дескать, есть в МИДе чиновник с таким удивительным даром. Прочитал пару меморандумов с прогнозами. Ничему не поверил.

И конечно, был прав: прогнозы строились на таких диагнозах, которые свидетельствовали только о пламенной любви камергера Тютчева к отчизне, где он четверть века отсутствовал. Типа того, что если российское самодержавие, как истинный оплот демократии, не примет срочных мер, то Западной Европе — конец: ее ждет всеобщая революция, вслед за которой восторжествует диктатура папы римского. И т. д., и т. п.

Короче, Тютчев был праздный мечтатель. Пикейный жилет. Но красноречивый неотразимо, поскольку предсказывал то, что предчувствовал. Искренне принимая свою личную хроническую тревогу — за гениальность.

Перед которой ни одна слушательница устоять не могла.

Уж на что практичная дама была вторая супруга (урожденная Пфевфель, в прежнем браке баронесса Дёрнберг). До того трезво смотрела на вещи, что, начиная прямо с медового месяца, сохраняла все счета, по которым платила за Тютчева и его дочерей, когда он на несколько лет был отставлен (из-за нее, между прочим) от должности и оклада. Но вот что писала из Петербурга (в 1850 году) мюнхенскому кузену:

«Он думает (он — мой муж), что в интересах ваших детей, в частности ради будущего вашего сына, вам следует до наступления новых катастроф реализовать ваше состояние и переселиться всем домом в Россию, где с вашими капиталами вы еще сможете приобрести земли на юге, получать хороший доход, воспитать сына для русской службы и выбраться из крушения, которого, по его мнению, Западной Европе совершенно невозможно избежать. Что до меня, дорогой друг, я уверена в его правоте и очень хотела бы внушить вам свою убежденность...»

И все они так понимали: что у Тютчева сверхчеловеческий ум, и сам он не совсем человек, а высшее существо. И чуть ли не каждая говорила ему, что готова в любую

минуту за него умереть (он это пересказывал — им в похвалу). И каждая была убеждена: во-первых, что не нужна ему; а во-вторых, что без нее он пропадет. И то и другое, разумеется, было правдой.

К своему счастью, они не читали его стихов. Одна Денисьева, к своему несчастью, читала (и приходила в такое исступление, что швыряла ему в голову тяжелые предметы; чуть не убила однажды каким-то пресс-папье; но все равно требовала стихов еще и еще).

Он писал про любовь, которой в нем нет, или уже нет, или даже никогда не было. (Денисьевой — просто с какой-то иезуитской прямоотой: дескать, прямо восхищаюсь и завидую — до чего сильно ты меня любишь; даже совестно, что мне так чувствовать не дано.)

1835 год, Мюнхен, дом где-то на Каролиненштрассе, кабинет, камин, кресло, сигара. Тщедушный большоголо- вый карлик в круглых очках.

Сижу задумчив и один,

(слышен акцент, не правда ли?)

На потухающий камин
Сквозь слез гляжу...
С тоскою мыслю о былом,
Но слов, в унынии моем,
Не нахожу.

Былое — было ли когда?..
Что ныне — будет ли всегда?..

И т. д. Разные общие места, с носовым таким призвуком. Все проходит, благодаря чему природа обновляется; и ты, земной знак по имени человек, знай свое место в круговороте и не ропщи, поскольку на смену тебе придут другие такие же растения.

Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветешь...

Ты сорван был моей рукой
С каким блаженством и тоской —

То знает Бог?
Покойся ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох...

Немного забавно: цветок на груди у злака. Но первая м-те Тютчева — Эмилия-Элеонора, урожденная графиня Ботмер, в предыдущем браке — Петерсон, владеет она русским языком, рыдала бы всю ночь, вникнув, что тут ведь не обещание любить до последнего вздоха, — наоборот: ожидание последнего вздоха любви!

А наутро, глядишь, раздумалась бы: неужели это про нее Теодор сочиняет, что сорвал ее, как цветок? Про женщину старше себя, мать четверых сыновей, изменявшую Петерсону с ним, тогда двадцатидвухлетним?

Но если не про нее, то кто же сей бедный, бледный цвет? Не Эрнестина же Дёрнберг, та очень даже яркая. Да и тоже вдовушка, не ландыш.

Амалия Лёрхенфельд? Она теперь Крюденер, и далеко, в Петербурге, и флиртует с императором...

Ботмеры — странный род, причудливые люди. С Элеоноры стало бы обыскать ящики письменного стола.

И ей, чего доброго, попался бы на глаза еще и такой листок:

ДВУМ СЕСТРАМ

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней..
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж свежесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!..
И всё, как в зеркале волшебном,
Всё обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

Давнишнее стихотворение — 1829 еще года, — и в нем уж недомолвок никаких. Это точно про нее, про Элеонору, — что свою молодость отдала другому. Это про любовь

к ней — погибшая любовь! А та — прекрасное отражение — конечно, Клотильда.

Клотильда, графиня Ботмер! Младшая, неразлучная сестра. Сколько ей было, когда Тютчев появился в Мюнхене, — тринадцать, четырнадцать? В 1829-м — двадцать. У нее с Гейне все уже было кончено. А пока продолжалось, Теодор не ревновал, вчетвером было так весело. Его погибшая любовь! Погибшая любовь!

Это все беллетристика. Русский язык труден, изучать его Элеоноре, рожавшей за дочерью дочь, было некогда.

И текст 1836 года остался ей неизвестен:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь...

И т. д. Ни этих строф, ни, само собой, «Лолиты» не прочитав, бедная Элеонора тем не менее в том же 1836 году, в начале мая (когда весенний первый гром), почувствовала «неизъяснимую тоску и желание освободиться от нее во что бы то ни стало... Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогоднего маскарада. Вид стали приковал ее внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь... Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в 300 шагах от дома, падает без чувств...»

Умерла она, впрочем, только в 1838 году, после пожара на пароходе, долго рассказывать.

Тютчев был буквально убит (по семейной легенде — поседел за одну ночь), буквально сходил с ума (в письмах к Жуковскому и другим) и появился на публике об руку с баронессой Дёрнберг только через полгода.

Тотчас же Клотильда Ботмер, взявшая было осиротевших племянниц к себе, уведомила его письмом, что приняла предложение барона Мальтица.

Это было очень кстати: ввиду беременности Эрнестины откладывать венчание на сколько-нибудь приличный срок не приходилось. Тютчев написал министру:

«Мною было принято твердое решение надолго еще отсрочить этот шаг. Однако одно обстоятельство, касающееся моих детей, поневоле вынуждает меня к другому решению. Я поручил их прошлой осенью заботам своей свояченицы, графини Ботмер, живущей в Мюнхене. Последняя в будущем месяце выходит замуж и тотчас же после свадьбы должна уехать из Мюнхена в Гаагу. Итак, я вижу себя вынужденным, взяв их к себе, как можно скорее озаботиться о том, чтобы доставить им необходимый уход и надзор, которые я один не мог бы им обеспечить...»

Вот, стало быть, и дети пригодились. И были вознаграждены. Во всяком случае, их дедушку и бабушку (своих то есть папеньку и маменьку) в далеком Овстуге Тютчев порадовал:

«...Меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом... Я не буду говорить вам про ее любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы ее чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это ее нежностью к детям и заботой о них... Утрата, понесенная ими, для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Мюнхен мы взяли их к себе, и две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери...»

Впоследствии оказалось, что всё не так замечательно. И старшая дочь — Анна — записала монолог:

«— Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними

все исчезло безвозвратно. Теперь та пора моей жизни — всего лишь далекая точка, которая отдаляется все более и более и которую достигнуть я не могу...»

Предстоял еще роман, и за ним — трагикомическая старость.

В которой под конец — после всего — случилось и свидание с г-жой Мальтиц. И было воспето подобающим образом — с галантным таким, расслабленным умилением:

...Как после вековой разлуки
Гляжу на вас, как бы во сне,
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Вообще так себе стишки — тенором, тенором! — если бы не инициалы **К. Б.** над ними да не восклицательный знак в конце:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Из наслаждений жизни любовь уступает лишь иностранным газетам.

Но хорошо, что предсказание ни одно не сбылось.

ПАРАДОКС ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Нет, не автор «Идиота» проронил, словно нарочно для нынешних пошлецов, вплоть до телерекламы конфекциона: *мир спасет красота*, — не автор, а один из персонажей, причем в бреде: он слышал от кого-то, будто есть у главного героя — тоже, кстати, не всегда вменяемого — такая фраза или такая мысль.

И не Чернышевский высказал категорический императив советской школьницы: *умри, но не давай поцелуя без любви!* — нет, не Чернышевского скрипучий голос произносит эти — золотые, впрочем, французские слова, — а щебечет их некая Жюли, уличная в прошлом проститутка, прибывшая из Парижа в Петербург на ловлю счастья и чинов.

И точно так же, я полагаю, не одному Набокову принадлежит блестящий очерк о Чернышевском в романе «Дар»: молодой поэт Годунов-Чердынцев сочинил этот очерк и едва ли не считает его тоже романом. (Вот, например, выходка дилетанта: он скорбит, что рукопись «Что делать?», оброненная Некрасовым, подобранная прохожим, — не погибла в сугробе или же в печи; Набоков, разумеется, позволил бы себе на этот сюжет шутку, в знак презрения к скверной прозе ложного классика, — но Годунов-то его Чердынцев своему герою как бы по-настоящему тут, видите ли, страдает, неизвестно с какой стати вообразив, будто, потеряйся «Что делать?» и не расхвали книгу Писарев, — жизнь Чернышевского прошла бы веселей.)

И кто читал роман «Пролог» — правда, читателей таких немного на свете, а скоро не будет ни одного, — тот знает: не сам Чернышевский, а другой литератор, по

фамилии Волгин, и не за письменным столом, а в аристократическом салоне — на тусовке российской политической элиты 1857 года — на неформальной встрече лидеров и богачей ради дискуссии об условиях освобождения крестьян — и уже поняв, какие это будут условия: неизбежно самые невыгодные для всех, и крестьян и помещиков, и для страны, потому что реальная власть — у ничтожеств, движимых исключительно шкурным и притом копеечным интересом, — и уже поняв, что делать ему тут нечего, — с тяжелым сердцем, чуть ли не со слезами этот Алексей Иванович Волгин про себя твердит фразу, навлекшую на Н. Г. Чернышевского столько клевет:

«Жалкая нация, жалкая нация! — Нация рабов, — снизу доверху, все сплошь рабы... — думал он и хмурил брови».

Тут не вся мысль Волгина, Волгин же — не весь Чернышевский, — хотя очень похож, как бы автопортрет от лукавого (и явно с Волгина писал своего Чернышевского двойник Набокова). Волгин изображен с нестерпимым кокетством — как ведут себя в романах Диккенса застенчивые филантропы: только и думает, как он нелеп и некрасив, и какой сухарь и трус, — и будто бы совершенно не замечает нечеловеческого благородства своих поступков и побуждений; очевидно, что Чернышевский Волгина этого нарочно на себя наговаривает: во-первых, из нечеловеческой же якобы скромности, во-вторых — якобы для цензуры и конспирации, в-третьих — именно чтобы читатель догадался полюбить автора еще сильнее, чем героя... но главное — конечно, был гордец.

На следующей же странице о Волгине сказано: *«Он не считал себя борцом за народ: у русского народа не могло быть борцов, по мнению Волгина, оттого что русский народ неспособен поддерживать вступающих за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?»*

На вид — вопрос вполне риторический. Здравый смысл со вздохом отворачивается, встает, уходит — умыть руки, пить водку, ждать будущего века: что же делать, коли делать нечего!.. Но в спину ему тот же скри-

пучий голос продолжает: «...о себе Волгин твердо знал, что не имеет такого глупого желания, и никак не мог считать себя защитником народных прав. Но тем меньше и мог он делать уступки за народ, тем меньше мог не выставлять прав народа во всей их полноте, когда приходилось говорить о них».

Вот он, парадокс Чернышевского. Есть **совесть ума**, и для своего собственного самосохранения — в сущности, из чистого эгоизма — из циничного, если угодно, расчета — ум вынужден эту интеллектуальную совесть убаготворять, то есть высказывать ее требования, даже с опасностью для черепной коробки: ум себе дороже.

Ну что же делать, если случайность рождения забросила тебя в историческое прошлое, лет на триста или на тысячу назад, в империю, населенную несчастными, злыми дикарями? Наслаждаться дефицитными прелестями импортной цивилизации — под полицейским надзором и, главное, за чужой счет, ценою бесчисленных жизней? Аристотель умел, и какой-нибудь Цицерон умел, — но ведь они-то жили в *своем* времени, они-то не знали, что рабы тоже люди, а сверх того полагали Глупость вечным двигателем Судьбы. А в XIX столетии доказано — и лично Чернышевский экспериментом проверил, — что вечный двигатель невозможен и, вероятно, даже Глупость не бессмертна и вроде как подчиняется второму закону термодинамики. А овладев знанием, ум ни за что не откажется от него — и требует жертв.

Вот и выходит — чем притворяться рабом, умней бесславно и бессмысленно погибнуть. Потому что есть **гордость ума** и потому что одному из пророков недаром сказано: держи лицо твое, как кремень.

Не погибнуть нельзя — на то и полиция, чтобы все в империи были рабы. Не бессмысленно тоже нельзя — на то и рабы, чтобы ликовать, когда казнят их непрошеного спасителя. Ну а что касается славы — какие-то надежды, понятное дело, Чернышевский на историю возлагал.

Хоть и сознавал, что *такая* отмена крепостного права не приведет к отмене рабства, хоть и предвидел смутно

революцию вот именно рабскую, но не предчувствовал за ней опять империю рабов; допускал, и с охотой, что внуки Хорь-и-Калинычей возведут его в святые, — но не верил, что праправнуки низложат.

Почти во всем заблуждался: плохой был философ (а все же изобрел экзистенциализм — и опробовал на себе), никудышный эстетик, неловкий (но, согласитесь, не скучный) беллетрист, совсем не художник. Но критика и особенно публицистика, и особенно, особенно! — политическая мораль безупречны: понимал отношения вещей, и писал и жил в точности как думал.

Отчасти, притом и нехотя, и как бы в волшебном зеркале, Набоков его припоминал в Цинциннате Ц., в «Приглашении на казнь».

Но Цинциннат, счастливчик, перешел в другое измерение, оставшись молодым, — а Чернышевского с эшафота увезли в Сибирь, и хуже того — в старость.

Тюрьма, каторга, ссылка — для гордого ума ничто. Но старость, и старость в России, да еще без денег и под страхом не за себя — ломает кого угодно. Тлеет, тлеет в человеке безумие — и вдруг нет человека: говорящая голова; бормочет, бормочет, превращаясь в черный прах.

Зато никто уже не скажет: все сплошь рабы.

ПРИНЦИПЫ ТУРГЕНЕВА

Ученик Пушкина — учитель Чехова — современникам литературным Тургенев был чужой. Не припомнить, чтобы еще кого-нибудь лучшие писатели так самозабвенно ненавидели, так отважно презирали. Замечательные статьи, стихотворения и романы сочинены с надеждой уничтожить или хотя умалить Тургенева — опровергнуть, высмеять, заклеить. При этом никто не осмелился отказать ему в таланте, а что касается бесчестных якобы его поступков — сами обвинители не очень-то верили в свою правоту.

По-видимому, литераторов отталкивали как раз те черты, что завораживают публику: неограниченность неверующего ума, всепрощающая ирония, вопрошающий взгляд, ни на чем не настаивающий голос.

Обыкновенные люди, почти сплошь хорошие, в глубине волнующего пейзажа много и превосходно говорят о самых разных вещах; при этом некоторые мужчины влюбляются в женщин, а некоторые женщины — в мужчин, и входит призрак счастья... Тут вмешивается судьба: ластиком стирает с бумажного листа самых привлекательных персонажей, оставляя автора в горестном недоумении.

Жизнь — сказка, смерть — развязка, только и всего, а разгадки не ищите, — кто из идеологов тут не вознегодует, кто не бросит в лицо: дескать, с кем вы, Иван Тургенев? чей вы враг, чей друг? какое оружие рекомендуете?

Как Толстой ему кричал:

— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею

в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы...

Между тем убеждения у Тургенева были, причем он, в отличие от Толстого или Достоевского, никогда их не изменял. Вот, на первый случай, одно из самых глубоких:

«...всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь...»

В тургеневской России только смерть и любовь — неоправимые бедствия; все остальное летит к лучшему, а наиболее ценное от века прекрасно донельзя: природа, речь и женская душа...

Не может быть, чтобы Тургенев сочинил такую страну. Она определенно существует. Вот только не мы в ней живем — она кое в ком из нас длится.

Как в глубине странного мозга, ради необыкновенных размеров будто бы сохраняемого безумной наукой под формалином, за стеклом, — ария m-me Виардо.

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Эффектную концовку придумал для главы о Гончарове А. Ф. Кони в своих воспоминаниях: *«Когда почил Иван Александрович Гончаров, когда с ним произошла всем нам неизбежная обыкновенная история, его друзья — Стасюлевич и я — выбрали место на краю этого крутого берега, и там покоится теперь автор Обломова... на краю обрыва...»*

Мог ли почтенный мемуарист вообразить, что каламбур пойдет прахом (увы, буквально), что впереди еще другая история — необыкновенная, что обрыв раскопают и гроб извлекут и отправят автора «Фрегата „Паллада“» в новое странствие, а вечность он принужден будет коротать в одном болоте с Тургеневым, которого ненавидел, с Григоровичем, которого презирал, и с остальными литераторами, столь досаждавшими ему в жизни?

Впрочем, нельзя исключить и такой вероятности, что перенесли надгробную плиту и мраморный бюст (пускай с Григоровича не сводит глаз!), — Гончаров же так и остался — без обложки — на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, на берегу пруда, где разоренные склепы с надписями вроде *«Зенит — чемпион!»*.

Зато ему надолго отвели обширный участок в школьной программе, то есть доверили и обязали формировать убеждения и характеры советских людей.

И наряду с другими коренными вопросами бытия, как то: не напрасно ли Татьяна отказала Онегину? благородно ли поступил Печорин с княжной Мери? Базаров — с Феничкой? счастлива ли в браке m-me Лопухова-Кирсанова? — несколько поколений должны были решить для

себя и доложить экзаменаторам, отчего Илья Ильич Обломов не женится на Ольге Ильинской.

Причем ответ был, конечно, известен и непреложен, хотя полагалось получить его как бы заново, как бы собственным размышлением, лишь слегка подкрепляясь цитатами из Добролюбова.

Горе тому, кто вздумал бы предположить, например, будто этот брак не состоялся по тем же причинам — действительно важным, — по каким сорвалась и женитьба Подколесина, и что вряд ли следует припутывать сюда крепостное право. Дорога к высшему образованию закрывалась перед таким вольнодумцем впредь до его полного исправления.

Странная эта система работала, надо сказать, не хуже любой другой.

В частности, при всех недостатках прозы Гончарова, вялой и косной (*«Лишь только червь сомнения влез к нему в душу, им овладел грубый эгоизм»*, — это из «Обрыва». *«В сердце у него проснулась и завозилась змея сомнения»*, — это из «Обломова», первое попавшееся. Проверьте сами, если давно не заглядывали: там таких цветов из промокательной бумаги — целые заросли. Только диалоги хороши — вернее, женские речи; да еще дядюшка Петр Иванович и бабушка Татьяна Марковна восхитительно забавны), — так вот, при всех недостатках этой прозы и несмотря на ее принудительно-предвзятое истолкование, предписанное официальной наукой, романы Гончарова, как и другие книги русской классики, все-таки заронили первое представление о человечности в умы юных жителей аморального, свирепого, лицемерного государства.

На исторической нашей судьбе это никак не сказалось, но в так называемой личной жизни многие, прежде чем притереться к реальности, мучились горестным и негодующим недоумением (столь сжато выраженным у Блока: *«Разве так суждено меж людьми?»*) — недоумением, совершенно непостижимым для тех, кому не посчастливилось в свое время (то есть гораздо раньше, чем разрешают, — и потому с сердцебиением) прочесть хоть

что-нибудь похожее на сцену Райского и Веры над обрывом:

«Она бросилась к обрыву; но упала, торопясь уйти, чтоб он не удержал ее, хотела встать и не могла.

Она протягивала руки к обрыву, глядя умоляющими глазами на Райского.

Он собрал нечеловеческие силы, задушил вопль собственной муки, поднял ее на руки.

— Ты упадешь с обрыва, там круто... — шепнул он, — я тебе помогу...

Он почти снес ее с крутизны и поставил на отлогом месте, на дорожке. У него дрожали руки, он был бледен.

Она быстро обернулась к нему, обдала его всего широким взглядом иступленного удивления, благодарности, вдруг опустила на колени, схватила его руку и крепко прижала к губам...

— Брат! вы великодушны, Вера не забудет этого! — сказала она и, взвизгнув от радости, как освобожденная из клетки птица, бросилась в кусты...»

Нелепая сцена. Смешная. Дурно написанная. Незабываемая.

Истлевает пошлая фабула — остается музыка великодушного порыва.

Великодушие... Много ли было у нас возможностей догадаться, что значит это слово? Реализм работает главным образом в диапазоне от справедливости до милосердия.

Должно быть, не случайно все-таки Гончаров был однокурсником Лермонтова в Московском университете. Все три его романа разыгрывают в разных лицах знаменитое роковое стихотворение о том, что любить на время не стоит труда, а вечно любить невозможно, и жизнь, как помотришь с холодным вниманьем вокруг...

Помните горячечный, ожесточенный, сквозь удерживаемые слезы, разговор Веры с Марком Волоховым? Оба влюблены до безумия, и ничто, в сущности, не препятствует соединиться навсегда хоть завтра — бабушка, без сомнения, простит, а Райский будет шафером, — но даже

и без венчания, в крайнем случае, можно, только бы Марк произнес это слово: «навсегда» (только бы Илья Ильич пообещал от всего сердца, что никогда не остынет, не заскучает, не задремлет), — но ведь эти несчастные эгоисты знают себя, и что вечно любить невозможно, а солгать — ни за что не солгут, а что останется от самого искреннего любовного признания, если отжать всю влагу самообмана? И вот молодой, безжалостно честный голос говорит из темноты:

«— ...Нет, не могу — слышите, Вера, бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей и не требую ее и от вас, венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь больше всего на свете...»

Может показаться удивительным, что в жизни Гончарова было так мало любви, а в характере — ни капли великодушия. Досадно и жутко читать его письма, его цензорские отчеты, его «Необыкновенную историю» (невидимый враг притаился за спиной, заглядывает через плечо и гнусным, пронзительным шепотом повторяет каждую выводимую строку, чтобы все эти Тургеневы и Флоберы услышали и украли)... Но, наверное, так уж устроено — или задумано кем-то? — чтобы иной писатель воображением восполнял, приписывая персонажам, те самые черты, каких недостает его собственной личности. Это, должно быть, один из способов, используемых литературой для того, чтобы привнести в наше существование необходимый смысл.

Если бы жизнь состояла сплошь из таких людей, как Иван Александрович, — о ней не стоило бы и говорить, не то что сочинять романы.

Не будь на свете таких, как Гончаров, сочинителей, — жить не стоило бы вообще.

ЕВАНГЕЛИЕ ЛЬВА

Лев Толстой — писатель неизвестный. Собрание сочинений — девяносто томов. Кто прочитал больше десяти?

До революции 1905 года последователям Толстого приходилось бежать из отечества. После Великой Октябрьской их истребили в местах заключения. Убежденная цензурой и полицией, что великий романист был чуть не до слабоумия скверный мыслитель, — Россия не успела даже перелистать его книги, проклятые Церковью и государством.

Даже «Соединение и перевод четырех Евангелий» как бы не существует. «Это сочинение, — писал Толстой Черткову, — есть лучшее произведение моей мысли, есть та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во всю свою жизнь».

Учение Толстого представляется неопровержимым. Ум и совесть — на его стороне. Другое дело, что слабость, именуемая гордостью, не дает додумать принятую мысль до чувства непреложного долга. Оттого, должно быть, современники Толстого и предпочли ему Маркса: Марксу можно верить, не ломая себя, а вмешиваться в жизнь других куда легче и соблазнительней, чем переменить свою.

Учение Толстого бессильно, потому что верно.

А что бессмертная проза осталась непрочитанной — каждый пожалеет в свой час.

«Вы все думаете, что вы стоите и что вам и тем, кого вы любите, следует всегда быть такими, какими они сейчас. Но ведь вы не стоите ни минуты, все вы течете, как река, все летите, как камень, книзу, к смерти, которая, рано или поздно, ждет всех вас».

ОТКРОВЕНИЕ КОНСТАНТИНА

«...Но что Тургенев и Достоевский выше меня, это вздор. Гончаров, пожалуй. Л. Толстой, несомненно. А Тургенев вовсе не стоит своей репутации. Быть выше Тургенева — это еще немного. Невелика претензия...»

Ни крошки литературной славы ему не досталось, Россия не обратила внимания на его беллетристику. И вот — совсем как злая волшебница, которую на празднике в королевском замке обнесли пирожным, — Константин Леонтьев стал выкрикивать угрожающие предсказания. Они отчасти сбылись, и очень похоже, что сбудутся полностью. Он уважать себя заставил — и лучше выдумать не мог.

Тридцати двух лет он отчаянно, до безумия, испугался смерти — и что душа пойдет в ад, — с тех пор неотступно умолял Церковь избавить его от свободы: слишком хорошо знал силу разных соблазнов, слишком отчетливо и ярко воображал пытку вечным огнем.

Литературные и житейские обиды и предчувствие ужаса изощрили в нем злорадную пронизательность. Леонтьева раздражали прекраснодушные толки Тургеневых, Некрасовых о каких-то там правах человека и страданиях народа. Леонтьев не сомневался, что понимает отчизну несравненно глубже. Он восхищался Россией за то, что свободу она презирует.

«Великий опыт эгалитарной свободы, — писал Леонтьев в 1886 году, — сделан везде; к счастью, мы, кажется, остановились на полдороге, и способность охотно подчиняться палке (в прямом и косвенном смысле) не утратилась у нас вполне, как на Западе...»

Поэтому только России под силу приостановить историю — то есть оттянуть приближающийся стремительно конец света. Ведь только здесь масса еще не раздробилась — и живет заветной мечтой о могучем органе принуждения, неизбывной идеей государственности.

«Нет, не мораль призвание русских! Какая может быть мораль у беспутного, бесхарактерного, неаккуратного, ленивого и легкомысленного племени? А государственность — да, ибо тут действует палка, Сибирь, виселица, тюрьма, штрафы и т. д...»

Притом огромная удача для России, — утверждал Леонтьев, — что в ней порядочные люди — такая редкость: это залог ее исторического долголетия и духовной чистоты:

«...все эти мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправности и разной дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас малоспособными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор еще так крепко держится в Европе».

Анализ обстоятельств, сложившихся столь счастливо, убедил Леонтьева, что именно России суждено возродить самый красочный из идеалов общественного устройства — средневековый, но не иначе как на основе самой передовой теории:

«Без помощи социалистов как об этом говорить? Я того мнения, что социализм в XX и XXI веке начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной тогда, когда оно начинало торжествовать...»

Предвидение поразительное, но это еще не все. Почитайте дальше: на этой же странице частного письма к старинному знакомцу ход истории предугадан так надолго вперед — и так подробно, и так безошибочно, — как не удавалось никому из смертных. Кроме разве что Нострадамуса — да только Нострадамуса попробуйте проверить, а пророчество Леонтьева исполнилось действительно и буквально. Итак — 15 марта 1889 года. Третий

том «Капитала» еще не издан. В России царствует Александр III. Толстой пишет «Воскресение», Фет — «Вечерние огни», Чехов — «Скучную историю», Салтыков — проект газетного объявления о своей кончине. Владимиру Ульянову 19 лет, Иосифу Джугашвили — 10. Будущего не знает никто, за исключением безвестного мыслителя, проживающего у ограды Оптиной Пустыни, в отдельном домике, на втором этаже. Под его пером впервые обретает бытие новый властелин судьбы — император социализма, спаситель России:

«Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин, там и сям разбросанных. Найдется и для него свой Константин (очень может быть, и даже всего вероятнее, что этого экономического Константина будут звать Александр, Николай, Георгий, то есть ни в каком случае не Людовик, не Наполеон, не Вильгельм, не Франциск, не Джемс, не Георг...). То, что теперь крайняя революция, станет тогда охранением, орудием строгого принуждения, дисциплиной, отчасти даже и рабством...»

Гениальная интуиция — но и логика гениальная: «Социализм есть феодализм будущего»!

Тут же изображена и альтернатива: если социализму не удастся покончить с либерализмом и поработить население планеты — «или начнутся последние междуусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и „воздух, как свиток, совется“, и „сами они начнут гибнуть тысячами“ ...»

Тоже в высшей степени правдоподобный прогноз, не так ли? Но предначертание Творца не считается с теорией вероятности — и постигается все-таки не рассудком; окончательная формула осеняет Леонтьева только через полгода; слушайте, слушайте!

«Чувство мое пророчит мне, что славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки

движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю».

Запад обречен — а Россия восторжествует, превратившись в нерушимый рай рабов. Знай наших, плакса Чаадаев! *«И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому»...*

Остается слабая надежда, что Леонтьев хоть раз, хоть где-нибудь ошибся; что этот демонический ум ослепила безответная любовь к русской литературе; что он пошел бы дальше этой отвратительной утопии (утопии ли?), не напиши Леонтьеву Тургенев в 1876 году: *«Так называемая беллетристика, мне кажется, не есть настоящее Ваше призвание...»*

Но если Леонтьев просто был умнее всех и угадал верно — литература отменяется, и вообще не о чем жалеть здесь, на земле.

Н. И. ЩЕДРИН, ОН ЖЕ М. Е. САЛТЫКОВ

Салтыков-Щедрин. Генерал-сатирик. Клинописный почерк, неприятный характер, неистовые глаза.

«После выхода из Лицея (в 1844 г.) стихов больше не писал. Затем служил и писал, писал и служил вплоть до 1848 года, когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 г. возобновил литературную деятельность «Губернскими очерками» и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти».

Салтыков-Щедрин. Как срослась фамилия с псевдонимом. Двадцать томов скрипучей от бешенства прозы, отравленное кружево неотразимых обиняков; недомолвки из тех, что смываются только кровью; и аллегории, прямые, как зуботычины. Презрительный голос. Вывернутый наизнанку слог. Ум, в точности передразнивающий бессмыслицу мира. Свинцовая латынь подцензурного красноречия.

«Я думаю насчет этого так: истинные ораторы (точно так же, как и истинные баснописцы), такие, которые зажигают сердца людей, могут появляться только в таких странах, где долго существовал известного рода гнет, как, например, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные (а отчего же, впрочем, и не в отдаленные) и проч. Под давлением этого гнета в сердцах накапливается

раздражение, горечь и страстное стремление прорвать плотину паскудства, опутывающего жизнь. В большинстве случаев, разумеется, победа остается на стороне гнета, и тогда ораторы или сгорают сами собой, или кончают карьеру в местах более или менее отдаленных».

Действительный статский советник Салтыков скончался в собственной постели, завещав семейству личный капитал.

Государство, семья, собственность, — он утверждал, что эти принципы распались, но был вынужден откупиться от них биографией.

Совесьть его долго маялась между теорией и практикой. У Салтыкова были идеалы. Он отыскал их в книгах своей безотрадной юности — в Евангелии, сочинениях Сен-Симона, Жорж Занд и Белинского. Имея неудобную привычку додумывать всякую мысль до конца, он сличил идеалы с фактами и вывел убеждения, с которыми сообразовывал свою деятельность всегда. Испуг от внезапной высылки, наркоз провинциальной скуки, соблазн административной карьеры, искус литературного успеха, либеральные иллюзии, задор цинической безнадежности — все прошло, а убеждения остались.

Золотой век находился несомненно впереди, но так далеко, что ради него можно было только погибнуть. Оставалось решить — как погибнуть полезнее.

«...вопрос, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашнего дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шел между ними спор, как пристойнее жизнь прожить: ничего не совершив, но в то же время удержав за собой право сказать: по крайней мере я навозной жижи не хлебнул! или же, погрузившись по уши в золото, в виде награды сознавать, что вот, мол, и я свою капельку в сосуд преуспеянья пролил».

Жизнь человека, задавшегося такой дилеммой, должна быть очень горька. Но Салтыкову открылся выход. В пределах литературы он мог доставить своим

идеалам торжество. Ведь сатира — приемная дочь утопии.

Салтыков был прирожденный политический писатель. Перемену правительственного курса он угадывал заранее, как ревматики — ненастье: по ломоте в суставах. Общественную ситуацию переживал как личную тоску. И видения этой тоски описывал.

Получался пейзаж современности, выдержанный в тонах рентгеновского снимка.

«И небо, и земля, и движение, и жизнь — все исчезает; впереди усматривается только скелет смерти, в пустой череп которой нарочатский проезжий, для страха, вставил горящую стеариновую свечку».

Поверхность жизни представлялась Щедрина фальшивой. Это была ширма, вся в разводах случайности, над ней марионетки выкликали тексты передовых статей. Он слышал шорох ниток и видел, как за ширмой копошатся уродливые тени, видел *«ту другую действительность, которая доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению».*

Он знал, что настоящее содержание всякой минуты — игра и драма злых исторических сил. Произвол, хищный интерес, шкурный страх и глупость.

Четыре стихии, как у Гераклита. Спасти невозможно. Жизнь, управляемая ими, одних истребляет и растлевает других, отрывая людей от человечества, исключая из истории, наполняя вселенную мертвецами, из которых иные, впрочем, способны совершать поступки и произносить слова в пользу произвола, хищного интереса, шкурного страха и глупости. Порочный круг, ночь низких призраков.

Салтыков веровал, что она не вечна и все может перемениться, когда угнетенное нуждой и невежеством большинство очнется и примет участие в политике.

Но он не унижался до оптимизма. В сопротивлении животным инстинктам, оккупировавшим историю, союзниками были только здравый смысл и нравственное чувство.

Щедрин без конца репетирует диалог здравого смысла с наглым, ликующим насилием:

«— Говорил я ему: какой вы, сударь, имеете резон драться? а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! Вот тебе резон!

Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях».

Так бьется мысль об эпоху, точно муха между стеклами закрытого на зиму окна.

Излагать азбучные истины как крамольные парадоксы. Изображать жизнь, заплывшую ненужными подробностями, — пустой и отвратительной хуже смерти. Пародировать эту ханжу — официальную идеологию, заменяя ее наличность набором злобных междометий (цыц! не твое дело! фюить!), а также идиом вроде той, излюбленной, про Макара с его телятами... Компрометировать цензуру, искажая стиль гримасой комического ужаса. Превзойти мучительной фантастикой произвол власти. Подвергнуть самым унижительным словесным наказаниям героев политического сыска и пресмыкающейся прессы.

Втоптать в грязь газетные знамена. Оскорбить не только начальство, но и покладливых обывателей, вообще всех, кто рассчитывает выжить в данное время и при данном порядке вещей. Вменить себе в гражданский долг остервенелую работу мрачного остроумия.

И ни минуты отдыха. Ни тени счастья. Ни слова о любви.

«Я на свете любил только одну особу — читателя...»

Литература была его религией.

«Все, что мы видим вокруг нас, все в свое время обратится частью в развалины, частью в навоз, одна литература вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята от законов тления, она одна не признает смерти... Ибо ничто так не соприкасается с идеей о вечности, ничто так не поясняет ее, как представление о литературе».

Литераторские мостки зимой очень похожи на жизнь Салтыкова. Холодно, безлюдно. Стоят в сугробах монументы знакомых классиков. Бронзовый Салтыков-Щедрин смотрит в другой конец аллеи на бронзового Тургенева.

«Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое».

Листики перекидного

ЗВЕЗДЫ ОКТЯБРЯ

27 октября 2003

— Мы не являемся своими современниками, — говорил мне один старый советский писатель, давным-давно это было, и посмеивался этак безнадежно. Добрейший был трус; эстет, опущенный (как посмертно узналось) до стукача. Он так и не осмелился вывести эту остроту на бумаге (например — приписав отрицательному персонажу).

Я много лет понимал ее (наверное — правильно) в смысле самом простом: нам, гагарам, практически недоступны наиболее ценные вещи XX века (отчего, между прочим, римские цифры и читались: Ха-Ха). Вещи, которые придают современности некоторую, что ли, важность. Или прелесть. И включают ее в историю, как небесмысленную главу. И главное, скрашивают каждому его личный срок, вообще-то невеселый, не говоря уже — краткий. Мол, я все-таки недаром жил именно в это время, тоже и на меня отчасти пролился блеск просиявших в нем звезд, — разумеется, исчезну без следа, но все-таки стоило поприсутствовать, ведь я одним из первых узнал то-то и то-то, и вкусил, и оценил, и понял...

А то — ну что, в самом деле — как мне сказать *на тем свету* (если вдруг спросят, что, конечно, вряд ли): дескать, жил на Земле в одно время с Чарли, допустим, Чаплином, — если впервые увидел «Диктатора» через 60 (пропишью: через шестьдесят) лет после остального человечества? С Джойсом или, там, Кафкой, допустим, я сам виноват: кто мешал выучить языки? (а в первый круг спецхрана, глядишь, и пробился бы) — но как насчет якобы современной мне философии? насчет живописи? насчет лженауки кибернетики? Да что науки! Впервые человек

прошелся по Луне тоже в якобы мое время, — и глазком на это не позволили глянуть обитателю столетия Ха-Ха.

Одно утешение — «Чевенгур» я прочитал (и то лишь потому, что посчастливилось необычайно, из ряда вон!) хоть и через полвека после того, как Платонов написал, но лет за двадцать до того, как напечатали. Тут я, значит, иностранцев обошел.

А зато они нас всех — с «Доктором Живаго»! На целых тридцать два года! Они там сняли культовый фильм, написали полторы тысячи научных работ, — а родина, которую прославил великий писатель, произвела за тот же промежуток времени одну-единственную о нем идею (статья изъятая Синявского не в счет): что напрасно многие товарищи сравнивают Пастернака со свиньей, потому что свинья, в отличие от Пастернака, не гадит там, где кушает (это буквально), — в собственном то есть гнезде (тоже буквально, я своими ушами слышал по радио).

Так изволили сформулировать лично тов. Семичастный, председатель КГБ, сорок пять лет тому.

Да, ровнехонько сорок пять лет назад присудили Борису Пастернаку Нобелевскую премию за выдающийся вклад в мировую лирику. И тотчас, не теряя ни минуты, тов. Семичастный вкупе с организованной группировкой т. т. сергеев михалковых принялись вгонять лауреата в гроб.

А когда вогнали — контора удумала потрясающую штуку. Под скамейкой, что стояла у могилы поэта на Переделкинском кладбище, пристроили микрофон. А записывающее устройство — за надгробной плитой. (Шнур, естественно, прикопали.) Над прахом властителя тайных дум (прибавим к всемирной славе — подпольную) люди, расслабившись, рассуждают о подходящих месту предметах. Судьба России, литература, Бог, — все такое. Причем с искренностью, на допросе и то недостижимой. А тут — поручи аккуратному исполнителю регулярно менять кассеты, всего и делов. И так сорок лет подряд труп гения служил отчизне — в лице тов. Семичастного и преемника его тов. Андропова — наподобие приманки в мышеловке.

Потом эта история всплыла (проболтался аккуратный исполнитель), но скамейку, знаете, отремонтировать недолго. И с исполнителем разобраться. И вот уже, скажем строчкой Бориса Леонидовича, — «никто не помнит ничего».

Действительно, мы не современники. Не то что Борису Пастернаку или, предположим, Венедикту Ерофееву, а даже и сами себе. (Вот помяните мое слово, будем еще уверять внуков, что умиротворение Чечни происходило не при нас, что мы ни сном ни духом и т. д.) Как выяснилось — и если вдуматься, — это касается не одного лишь дефицита культурных витаминов. Оболванивание — не пустое слово, а планомерный процесс, конечным продуктом которого становится не просто неумный невежда, но именно болван, существо бесчувственное. По-видимому, партия, правительство, ленинский комсомол и пионерская организация, не говоря о главных органах, взяли на вооружение дефиницию (Аристотеля, что ли?): человек — животное политическое. Подразумевается — в отличие от раба. Отсюдава эрго: загасите какую-то ничтожную долю мозга (где так называемое гражданское беспокойство) — и перед вами разнообразно похотливое, но, в общем, послушное дитя. Из пеленок в саван плетущееся как бы сквозь тусклый полусон. Это тоже отмечено доктором Живаго:

«...Вообще говоря, всеми за последнее время овладело удивительное равнодушие, которого прежде в России не знали. Эта бесчувственность развилась незадолго до войны и за ее время усилилась. Ничего подобного радикализму Герцена, спорам Толстого с жизнью и Гаршинским „Четырем дням“ уже нельзя было встретить. Не имея сил победить свою нравственную вялость, тысячи мыслящих и образованных людей молча сносили, как изо дня в день извращали их собственные чувства и мнения именем народа, ничего этого не подозревающего и к этому непричастного, и все сваливали на него и все им оправдывали».

ПРЕДСКАЗАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

3 ноября 2003

Пятьдесят лет прошло с того дня, как умер в Париже Иван Бунин, русский гений.

Мы, бывает, посмеиваемся, не без горечи, над знаменитой размашистой фразой: что в сочинениях Пушкина, дескать, выразился русский человек «в конечном его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». Посмеиваемся: не угадал Николай Васильевич, восторженность подвела. Вот уже почти что на исходе предсказанный срок, а попал бы Гоголь на минутку в современность, взглянул бы на потомков одним глазком — не разбирая дороги, кинулся бы к себе в Донской, затаиться навеки под черным камнем.

А на самом-то деле он как раз угадал. То есть ошибся намного, но в другую сторону. Предсказанный им человек, сделав для нас все, что мог, умер 8 ноября в городе Париже, обзавелся собственным черным камнем на Сент-Женевьев-де-Буа.

Единственно Бунину было дано — или предназначено — передать русскими буквами то состояние, ради которого, наверное, только и стоит быть человеком: когда понимаешь реальность всеми чувствами сразу, причем все они до предела обострены, работая сверхстремительно и согласно.

И это нестерпимое наслаждение — осознавать подлинность сущего, вбирая в себя его прелесть и глубину. Как если бы жизнь была мучительный рай без единой помарки, прозрачная насквозь, насквозь пронзая...

Да что я бормочу. Как будто сами не знаете. Раскрываем Собрание сочинений на любой странице — клянусь, раскрываю наугад! — и вот, пожалуйста. Хоть и нелепо

переписывать, но перепишу, чтобы напомнить это состояние абсолютной полноты, когда в любой частности — вся жизнь. Все равно чья. Когда читаете — ваша.

«От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером... и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

„Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем...“»

Припомнили? Ведь никакого такого особенного словесного мастерства, и сюжет — не новость, и психология — дело прошлое...

А сила вся в том, что вы разом попадаете в особенное пространство, сплошь из резких, отчетливо говорящих подробностей. Каждая — в фокусе, от каждой — укол смысла. И если у вас хватит воли оторваться от текста и оглядеть помещение — вы поразитесь: насколько все вокруг бледней, тусклей.

Этим вот многоочитым бунинским зрением Россия увидела себя всю, в первый раз и в последний.

Понадобилась именно такая биография — чтобы родовитый дворянин был нищим недоучкой, перекатиполем, — не забудем и деревенское детство, и провинциальную молодость, и внезапную столичную славу, и дружбу Чехова, и приязнь Льва Толстого, а также добавим счастья и несчастья донельзя, через край...

Кажется, только таким образом и могло случиться, что один человек проник в мысли огромной страны — почувствовал, о чем она молчит, — с тоской и ужасом догадался, что вот-вот взорвется и потеряет человеческий облик.

Прекрасная Родина больна. Населена безумными дикарями.

Помните, как в «Деревне» она сама же себя честит:

«— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! „Как люди, так и мы“, — только и всего».

Вскоре, как известно, Россия рухнула. Осталась — зато навсегда — в прозе и стихах Бунина: да, безумной, но все-таки прекрасной. Судьба позаботилась о том, чтобы никто его не тронул, чтобы не мешали дописать до конца. Множество тайных пособников было у него, тайных союзников, даже и за границей: закаты, дожди, облака, звезды не сводили с него глаз, постоянно утешали: мы с тобой, ты не один.

В результате трудов и удач образовалось сокровище. Мы держим его под спудом, откладываем наслаждение на какое-то потом. На какое? Разве будет на свете радость увлекательней, чем перечитать еще хоть раз эти девять томов?

Это настоящее. Другого нет и, похоже, не предвидится. Морок, желтый туман. Не жили хорошо — не фиг и начинать. Все так же больна прекрасная страна злобой и глупостью; только нынче — не царское время! — государство играет на них с особым цинизмом.

И опять у нас Окаянные дни — с правосудием преступным, с громогласной воинственной пошлостью, вплоть до съездов комсомола. Моря крови пролиты, вконец обнищал народ — а все-таки не опомнился.

Так что примемся лучше перечитывать Бунина, пока его не запретили опять.

Вот он видит в советской газете: «Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» И в ярости кричит:

— Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

Голос, точно, как у Пушкина.

СВОБОДА И ЖАЛОСТЬ

18 марта 2004

Сто тридцать лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева, русского философа.

Того самого. Знаменитого на Западе настолько, что кое-кто даже читает его книги (переведены в двух десятках стран). А на родине известного тем, что по приказу правительства ее покинул: уплыл в сентябре 1922 года на так называемом «философском пароходе». (Кстати, на самом-то деле назывался пароход — «Oberbürgermeister Naken».)

Изгнание — признание. Кого попало не выдворяют. На пять советских лет пришелся пик русской славы Бердяева. Ему даже выписали было — как одному из двенадцати самых видных интеллигентов — спецпаек. И в ЧК допрашивал его Дзержинский лично. А закончив допрос, обратился к Менжинскому с такими словами:

— Сейчас поздно, а у нас процветает бандитизм, нельзя ли отвезти господина Бердяева домой на автомобиле?

(«Автомобиля не нашлось, но меня отвез с моими вещами солдат на мотоциклетке».)

Забавно, что и при первом аресте, задолго до революции, жандармы вели себя исключительно корректно: обыскивали на цыпочках, арестовывали шепотом. Потому что Бердяевы — не только древний род, но и с большими заслугами перед престолом, со связями даже придворными: сплошь генералы, притом все, как один, георгиевские кавалеры; дед Н. А., герой сражения при Кульме, был атаманом войска Донского, и все такое. Мальчик должен был сделаться пажом, а после кавалергардом, — но увлекся марксизмом. Потом православием. Потом опять каким-то

измом. И повсюду искал свободы уму. Две отсидки при царе, две — при Ленине; там ссылка, тут — высылка. Как заметил сам Н. А., — для философа это много.

Важнейшие сочинения — «Философия свободы», «Смысл творчества», «Философия неравенства», «О назначении человека», «Русская идея». И еще много, все с названиями бесконечно заманчивыми. Очень хороши статьи о Достоевском — «Ставрогин» и «Великий инквизитор». Есть еще — мемуары не мемуары, большой автопортрет — «Самопознание», труд последний. Кажется, над одной из его страниц Бердяев и умер. В марте 1948-го. За письменным столом, с пером, как говорится, в руке. У окна, выходящего в сад. В Кламаре, под Парижем.

Кто я такой, чтобы пересказывать философию, чью бы то ни было? Да и мало кто может. Мы не приучены думать об отвлеченных предметах — оттого и считаем их отвлеченными, эти предметы: такие, допустим, как личная участь каждого из нас в вечности. Для метафизики, как все равно для секса, в русском языке даже нет обыкновенных слов: какие-то газообразные (а в другом случае — наоборот, сверхплотные). Попросту сказать, не нужна она нам, — хотя в сущности это значит, что мы сами себе не нужны.

Бердяев и написал еще в 1909-м:

«С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине».

Если считать последнюю фразу автобиографичной, то про школу — неточно. Просьба также не путать любовь к истине с тягой к знанию. Это скорей предчувствие, что чего-то самого главного не узнать никогда, — и, значит, это главное — существует.

Но раз уж оно существует — не думать о нем невозможно.

А думать о том, чего знать не дано, нельзя иначе как сквозь мнимость, ограниченность и условность всего, что знаешь; усилием погружения в собственный ум на максимальную глубину; при этом предчувствие — истины — то есть поражения — то есть победы — становится все сильнее, волнуя необыкновенно.

«Однажды, на пороге отрочества и юности, я был потрясен мыслью: *пусть я не знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу свою жизнь этому исканию смысла*. Это был настоящий внутренний переворот, изменивший всю мою жизнь».

Странный был мальчик. Играл в куклы и читал Шопенгауэра. Любимую куклу — в офицерском мундире — звал Андреем Болконским, соответственно и обходился: как с абсолютно реальным (в отличие от товарищей по кадетскому корпусу) существом. Кузине в альбом вписывал цитаты из Гегелевой «Феноменологии духа».

И на всю жизнь остался таким, как будто Толстой и Достоевский его сочинили, — самым симпатичным персонажем русской жизни — вечным Подростком. Это, если помните, такое состояние, когда теория терзает, как тревога; когда «за разговором или спором по какому-нибудь вопросу я склонен видеть решение судеб вселенной и моей собственной судьбы». Когда основной внутренний конфликт — между свободой и жалостью.

«Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви». «Я не делаю себе никаких иллюзий о действительности, но считаю действительность в значительной степени иллюзорной». «Жизнь эротическая, за вычетом отдельных мгновений, — самая печальная сторона человеческой жизни». «Бог никакой власти не имеет, Он имеет меньше власти, чем полицейский... Потому что на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть».

Так изо дня в день он записывал скороговорку своего ума. Признавался, что внутренний голос ему диктует.

«Но вместе с тем я сознавал трагическую неудачу всякого действия вовне. Меня ничто не удовлетворяет, не

удовлетворяет никакая написанная мной книга, никакое сказанное мной вонне слово. У меня была неодолимая потребность осуществить свое призвание в мире, писать, отпечатлеть свою мысль в мире. Если бы я постоянно не реализовал себя в писании, то, вероятно, у меня произошел бы разрыв кровеносных сосудов...»

Как знать? Может, и на родине прочтут.

ШАЛАВЫЙ

21 мая 2004

83 года Андрею Сахарову. Исполнилось бы.

Но вовремя ушел со сцены, и за это благодарная дирекция поставила ему за кулисами памятник: отдыхай, заика, в бронзе, а то совсем заколебал.

Хотя какое — ушел: гикая и топоча прогнали на тот свет. Чисто советское убийство в прямом эфире.

Должно быть, это невыносимо страшно — когда тысячи людей так громко тебя ненавидят. Но Сахаров, если помните, трактовал народный гнев исключительно как акустическую помеху. Как если бы пришлось излагать тезисы на берегу моря, некстати разбушевавшегося: что взять с бессмысленной стихии.

В действительности это был пруд, из которого вынырнул внезапно динозавр.

В ночь перед открытием пресловутого этого Съезда народных депутатов, наивный, я предавался подсчетам типа: две с половиной тысячи представителей двухсот пятидесяти миллионов — должны же среди них оказаться человек двадцать порядочных. Начались заседания — боже мой, какие речи! как же плохо я знал свою страну! порядочных, да еще каких смелых — сотни чуть ли не две!

Последнее упоминание о Сахарове в стенограмме: *Сахаров А.Д. (не слышно).*

Видимо, страну я представлял себе довольно отчетливо. И поутру 15 декабря 1989-го, пока передавали сообщение о смерти А. Д., подумал — нет, почувствовал: вот и всё.

Чувство это помню, а что разумел под словом *всё*, — почти забыл.

Невольных убийц осуждаю не особенно. Ведь их, как и весь советский народ, науськивали на беднягу Ученого двадцать пять лет подряд. Полагаю, что ГБ боролась с ним целеустремленней, чем с каким-нибудь ЦРУ. Изобретательней. Задействовав лучшие свои умы. (Вплоть до того, что живых тараканов запускали ему в конверты из иностранных академий, — разумеется, прочее содержание изъяв.)

На еженедельных политинформациях в трудовых коллективах, на ежедневных политзанятиях в воинских частях, не говоря уже о всевозможных политгрищах партхозактива, четверть века подряд опытнейшие мастера снова и снова лепили Сахарова в полный рост.

Настоящая фамилия, сами понимаете, Цукерман. Естественно, горький пьяница. Пить приучила, конечно, жена по заданию империалистических разведок. Она же (и я читал это своими глазами в толстенной книжке, выходявшей несколькими изданиями, умопомрачительными тиражами!), она же, зловредная супруга, тоже с кошмарной фамилией, обучает Сахарова ругаться матом — и бьет палкой, если он не выучит очередного урока.

(Вернувшись из ссылки, А. Д., говорят, сочинителю книжки публично врезал. Завидел, подошел: «Извините, я вам должен дать пощечину» — и дал. Объяснив, что за жену.)

Как обычно, пользы от этих усилий воображения было — чуть. Гораздо сильнее действовала на людей самая обыкновенная правда. Люди же умеют считать: лауреат Сталинской, да двух Ленинских, да трижды Герой Труда и, ко всему, академик, — это же какая прорва деньжищ! это же, выходит, всё у человека есть, а он еще чем-то недоволен! совсем, значит, стыд потерял!

Если бы ГБ догадалась еще рассказать, что он сделал со своим богатством, — никаких и политинформаций дальнейших не понадобилось бы: сорную траву — с поля вон, и доколе терпеть.

А так — терпели: начальству все-таки видней. Но клеймили от чистого сердца:

«Мы, хлеборобы, единодушно поддерживаем осуждение Сахарова крупными учеными нашей Советской Родины и выражаем свое резкое возмущение его поступками и словами...»

«Мы, представители многотысячного коллектива рабочих Автозавода имени И. А. Лихачева, как и все люди труда нашей страны, возмущены и решительно осуждаем недостойное поведение Сахарова, клеветующего на наш государственный и общественный строй...»

Меня не так удивляет, что А. Д. отказался от денег, как трогает, что он об этом пожалел: «...я под влиянием импульсов, представляющихся мне сейчас несостоятельными, передал в фонд государства (на строительство онкологической больницы и в Красный Крест) почти все свои сбережения. Я не имел в то время личных контактов с нуждающимися в помощи людьми. Сейчас, постоянно видя вокруг себя людей, нуждающихся не только в защите, но и в материальной помощи, я часто сожалею о своем слишком поспешном поступке».

В общем, это был конфликт Совести и Зависти. С исходом предрешенным, как в романе «Идиот». Противопоставил себя человек своему народу. И ему показали кузькину мать. И привели в состояние памятника.

Это удобно. Потому как правильно сказал один министр еще в 1960-е: Сахаров крупный ученый, и мы его хорошо наградили, но политик он шалавый.

Афганскую войну считал, видите ли, преступной, — а что сказал бы про чеченскую?

А ведь сказал бы непременно. Говорил бы каждый день. И не только про нее. Наверяд ли занялся бы, как подобает великому человеку, чем-нибудь серьезным, конструктивным, типа за что нам любить евреев. А полез бы опять к руководству с такими идеями, которые оно видело именно в гробу.

Впрочем, одна из этих идей — чуть ли не самая главная — осуществилась, но как пародия. Конвергенция, мы как раз при ней живем: социализм переродился в капитализм, полностью сохранив злокачественность.

История не утешает. А. Д. утешался космологией. Перечитаем Нобелевскую лекцию:

«В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более „удачные“, чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более „удачные“, должны существовать бесконечное число раз на „предыдущих“ и „последующих“ к нашему миру листах книги Вселенной».

Вместе с тем он почему-то полагал, что мы все равно не имеем права на полный кретинизм, а обязаны осуществлять требования Разума.

УЧИТЕЛЬ ХРАБРОСТИ

22 июня 2004

19 июня Василию Быкову исполнилось бы 80 (только!) лет. Но не исполнилось: 22-го — год, как он скончался.

В школьной программе он числится нынче писателем иностранным — и совершенно напрасно. Мир знает Василя Быкова по русским текстам и переводам с них, а русские тексты почти всех своих романов создавал он сам.

Не знаю, на каком языке он думал, но его сочинения освещают нечто важное в русском образе мыслей, не вытесненное советским: гордое терпенье мучеников, жертвенный идеализм героев.

Потомкам нелегко будет понять, за что так ненавидело книги Быкова политическое начальство. Почему газеты честили его последними словами, типа «абстрактный гуманизм» (обозначавшими одну из опаснейших ересей: отсюда и до «общечеловеческих ценностей» рукой подать).

А между тем был момент — году так в 1971-м, между «Сотниковым» и «Дожить до рассвета», в аккурат по случаю «Обелиска», — когда в ЦК правящей партии всерьез решали: не закрыть ли Быкова совсем, наглухо, как Солженицына? Но победил проект прогрессивный, хитроумный: как следует припугнув, тут же (конечно, если выкажет покорность) расхвалить и наградить. Покорность Быков выказал, раз в жизни унизился: напечатал отповедь немецкой какой-то критикессе: увольте, дескать, меня от ваших сомнительных комплиментов, уважаемая фрау, — никакой я не экзистенциалист, а, наоборот, самый настоящий советский писатель-фронтовик, и с пресловутым Сартром ничего общего иметь не желаю. И ему дали Государственную премию.

Но работать хуже он не стал — просто как бы приостановил социальный анализ на достигнутом в «Сотникове».

Быков и в самом деле не был никакой экзистенциалист. И если посматривал на кого из западных, то уж никак, действительно, не на Сартра — на Хемингуэя: рукописный перевод «По ком звонит колокол» бродил по Союзу, как призрак.

Быков писал о том, как ведут себя люди в смертельной опасности, в безвыходном положении, в предпоследнюю, все решающую минуту. Снова и снова воспроизводил, из романа в роман, два типа поведения, две программы. В каждого из людей вставлен — неизвестно кем — предохранитель от моральной смерти (так называемая честь; Быков этим словом не пользуется). И другой, природный — категорическое несогласие организма не существовать. Быков задает персонажам выбор: смерть физическая или моральная, третьего не дано. И в некоторых перегорают один предохранитель, а в некоторых — другой. От чего это зависит — загадка. Исход — в любом отдельном случае — непредсказуем. Несомненно — хоть и парадоксально, — что так называемая храбрость выглядит не только привлекательней, но и понятней, даже как бы естественней, чем так называемая трусость. То есть писатель устанавливает с читателем взаимопонимание благородных людей, часто — назло персонажам (см. хотя бы пересуды о Ляховиче в «Круглянском мосте»). То есть эта проза — того же материала и качества, что первый предохранитель.

А поскольку она состоит сплошь из поступков, причем роковых, да из пронзительно-четкой топографии, — оторваться невозможно.

Так что Василь Быков не просто настоящий писатель. Он писатель надолго. Классик, вечный инакомыслящий, храбрец на войне и в жизни.

Не случайно он единственный громко назвал преступление века — преступлением века. Спас честь русской литературы, чью славу составлял.

ШУТОЧКА

15 июля 2004

Сто лет назад была эта ночь — в Баденвайлере, душная, с молниями в разогретом густом тумане, — когда Чехов, почувствовав на груди тяжесть колотого льда, сказал жене: «Не надо... Пустому сердцу не надо льду...» — и через несколько минут врачу: «Ich sterbe!»

Всего сто лет назад. Период вполне умопостигаемый. Например, так: если вы, мой читатель, разменяли пятый десяток, то, значит, в 1904 году все четверо ваших прадедушек уже были, скорей всего, знакомы с вашими прабабушками. Возможно, кто-то из них читал хотя бы «Каштанку» или «Белолобого», и, узнав, что Чехов умер, — пожалел.

Да, ваших собственных прабабушек и прадедушек (скажем аккуратней: их современников) антропологический словарь — вот что такое эти восемнадцать томов. Сотни фигур в тысячах положений. Реальные люди узнавали себя, знакомых, обстоятельства, привычки, речевые обороты — то есть считали литературу Чехова очень похожей, всерьез похожей на свою жизнь, на проживаемое ими время, — за это, собственно, и любили. Наполовину за это. За резкую наблюдательность, превращенную как бы в ясновидение: когда сквозь персонажа просвечивает, как на Страшном суде, его последняя цена, — притом что все (как и читатель, как и зритель пьес) — ассортимент одной и той же бракодельной фабрики.

Которую, как известно, вскоре взорвали. А продукцию изъяли из обращения, потом планомерно ликвидировали.

Сегодня у Чехова знакомых не встретишь: как в огромном аквариуме, плавают существа, каких никто не видел

на земной поверхности. Не сразу и вспомнит читатель-зритель, что проживает в одноименной с ними стране.

А вспомнишь — тоска. Сострадаешь им, как живым, даром что в большинстве несимпатичные. Оттого, что всё угадал про них Чехов, кроме самого главного: что с ними со всеми будет. А нам более чем ясно.

Впечатление точно такое же, как от знаменитого (не помню составителя) фотоальбома, где типы и сцены еврейского местечка в Польше, накануне Второй мировой. Старухи, дети, богачи, нищие, уроды, красавицы — все куда-то идут, о чем-то говорят, смеются, плачут, курят, играют на музыкальных инструментах. Штемпель рока в линзу не попадает. А дышать нечем.

«← Знаете, — говорит учитель Ярцев купцу Лаптеву („Три года“), — я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!»

А повесть 1895 года, Ярцеву этому и Лаптеву — тому и другому немного за тридцать, впереди унижительная старость и, почти наверное, насильственная смерть. Чудесным девочкам — само собой, ГУЛАГ, — или повезет, прошуршат машинистками. Но дело не в этом, не просто в гибели (живем снова), не просто в несчастьях (счастья никто не стоит, да его и нет). Главная, пусть воображаемая, но все-таки главная ценность их культуры, какой бы то ни было, но все же культуры: *смысл жизни* (пусть — так называемый), то есть то самое, отсутствие чего заставляло их всю жизнь страдать, — на их глазах и для них самих теряет смысл.

Извините тавтологию, не умею сказать лучше. Но факт: на другую половину любили Чехова за то, что этот призрак бродит по его текстам, иногда — казалось читателю, — приближаясь чуть не вплотную. Вот прямо сейчас нам скажут: кем не стыдно существовать в России; однако же — нет, почему-то не говорят.

«— ...А для наших детей и внуков вопрос этот, — правы они или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, — внушает доктор Королев Лизе Ляликовой, дочери фабриканта („Случай из практики“), — жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». Еще бы не интересно: 1948-й, самое то.

Чехов ошибся, не угадал. Он думал приблизительно так: фактически отмена крепостного права растянулась на двадцать лет. Государство расплатилось с землевладельцами за крестьянскую землю и потом взимало с крестьянских общин этот долг в рассрочку аж до 1883-го. Тем временем помещики успели разориться, крестьяне обнищали вконец. И вот она — свобода: безумная нехватка рабочих мест и масса недвижимости за бесценок. И никто не хочет вписываться в новую экономику, потому что каждый привык к своей прежней роли, чуть ли не всерьез уважает себя в ней, этим и смешон. От этого так много умных — праздных — несчастных. И глупых — несчастных — измученных сизифовым (он же мартышкин) трудом.

«На одного умного полагается тысяча глупых, и на одно умное слово приходится 1000 глупых, и эта тысяча заглушает, и потому так туго подвигаются города и деревни. Большинство, масса всегда останется глупой, всегда она будет заглушать; умный пусть бросит надежду воспитать и возвысить ее до себя; пусть лучше призовет на помощь материальную силу, пусть строит железные дороги, телефоны, телеграфы — и этим он победит и подвинет вперед жизнь».

Смирись, умный человек, вытерпи жизнь, как железнодорожная шпала — поезд, главное — не поддавайся сырости, не искрошись в труху.

Живи хотя бы как Старцев, Дмитрий Ионыч, любимая мишень в советском школьном тире: лечит больных, копит деньги, не пускается в интимности с дурами и тем более с дураками, — чего еще вы от него хотите? чтобы в карты не играл? или чтобы трудовые трешки завещал

РСДРП(б)? А вась инсульт хватит его раньше, чем красноармейский штык. Он на несколько семестров моложе тургеневского Базарова, гордый неудачник, «поляк надутый».

Живи, умный человек, как Антон Павлович Чехов: защищайся от подлых мелочей — приятными. Что-нибудь работай, хоть кому-нибудь помогай. Всё против тебя — история и тело, вообще время. А ты перед смертью постарайся пошутить, желательно — на свой счет.

ПЕНЯ ПЕНЕЙ

25 июля 2004

75 лет Шукшину, Василию Макаровичу, славному писателю. В такой день хорошо заглянуть в его книжку, — а дома, как на грех, ни одной.

Побежал в районную библиотеку, благо близко. Попросил сборничек-другой рассказов. (Роман этот, про Степана Разина... Бог с ним совсем.)

Книжки принесли, но попросили перерегистрироваться (простите за такое длинное слово). Я расписался в своем формуляре под каждым из шести пунктов библиотечных правил, — а над седьмым, вписанным от руки, затормозил.

Текст был такой: *«О пени предупрежден»*.

— Что непонятно? — спрашивает библиотечка (то же длинное и скучное слово, но чем же я виноват?) — Вам же сказано: удерживаем пятьдесят копеек за каждый просроченный день.

— Это, — говорю, — мне в высшей степени ясно, — но тут ошибочка. Давайте исправлю. Не люблю, знаете ли (а голосом и лицом даю понять, что дружелюбно шучу), — не люблю ставить свою подпись под безупречным текстом.

И с этими веселыми словами спокойно переправляю: *«О пенЕ предупрежден»*. И опять-таки расписываюсь.

А тетенька (до этого была молодая женщина, миловидная, в платье таком приятном, а тут вдруг сразу сделалась тетенька, строгая как лед, — заведующая, наверное) — тетенька эта, значит, мне указывает брезгливо:

— Это вы напрасно испортили документ. Там написано, как полагается. Пени, — говорит, — несклоняемое слово.

— Что вы! — отвечаю все еще таким тоном, как будто мы два интеллигентных человека и обсуждаем занятный грамматический казус. — Это множественное число. Помните, — шучу, — у Пушкина: излить мольбы, признанья, пени, — все, все, что выразить бы мог...

— Не знаю, не знаю, — брезгливо говорит. — Всю жизнь это было несклоняемое слово.

И книжек не отдает, как бы в раздумье. Типа неизвестно еще, можно ли доверить их такому непредсказуемому субъекту, который документы портит почему зря.

А за мной уже очередь. (И передо мной, кстати, была. Только женщины. Берут и сдают книги только в сверкающих обложках. Наверное, детективы про любовь.) Из очереди насмешливая реплика:

— Вы бы еще написали — о пне. Или — о пнях.

Поворачиваюсь — тоже молодая. В сарафане, что ли. Усмехается презрительно мне и понимающе — руководительнице предприятия культуры. Дескать, бывают же такие нахальные старые склочники.

— Действительно, — говорит заведующая. — У нас все сотрудники так пишут. И читатели. Вы первый недовольны. С чего бы это?

— Давайте поспорим, — восклицаю, обращаясь к сарафану. — Хотите? На рубль. И с вами тоже! У вас ведь найдется, — к заведующей (признаюсь, я таки завелся), — найдется, — спрашиваю, — словарь? Принесите, проверим.

Кстати, я блефовал. Рубля у меня не было с собой, тем более — двух.

Но и заведующая с места не трогается.

— Может, вы не знаете, — этак цедит, — что за последние годы все правила поменялись?

— Как не знать, — говорю. — Конечно, поменялись. Все до одного. Только это слово — и в этом самом смысле — осталось, как было. Ну, принесите же словарь.

— Ни у кого не осталось, — чеканит она, — только у вас осталось почему-то.

Дальше не помню.

Потому что слишком явственно прозвенело в этом *у вас* — действительно множественное число. И — ненависть.

Ненависть — хотелось бы надеяться — лично ко мне (сам виноват, и наплевать). А множественное — вы поняли. Очередь — тоже.

Шел я потом по улице и думал: зачем перечитывать Шукшина? Он про это и писал. Он от этого, собственно, умер. Чуть ли не самый последний, самый страшный, самый сильный рассказ — да уже и не рассказ, а просто написал в газету (в «Литературку»), как было: как он лежал в больнице, а родных не пускали, передачу не брали — под черт знает каким пустячным предлогом, но с необыкновенным наслаждением — со сладострастием унижая, доводя до нечеловеческой злобы и адского отчаяния, до разрыва сердца, — ни из чего, на ровном месте, просто так.

Просто потому, что раз ты пациент, а я — медперсонал, — ты полностью в моей власти. Признай это, вырази, обозначь, унизься хоть ужимкой. Не ломай мне кайф. А поломаешь — берегись. Если ты пассажир, а я — кондуктор, — ты в моей власти. Если я библиотекарь, а ты — читатель... Если я милиционер... И так далее без конца, снизу доверху, сверху донизу, с утра до вечера, с вечера до рассвета.

Той статьи в «Литературке» — или очерка — или рассказа — у меня сейчас нет, но, по-моему, я дословно запомнил последнюю фразу, последний выкрик:

— Что же с нами происходит?

Он мучительно во все это вдумывался: как деревенские превращаются в городских; как из тех и других общественный уклад штампует советских. И какое отвращение питают друг к другу рабы. И как при удобном случае извергают его — в виде так называемого хамства.

И как они бывают талантливы — несравненно ярче, чем в других сферах, — как изобретательны, когда представляется эта счастливая возможность дать понять другому: ты такое же ничтожество, как я; не воображай, что ты кто-то — старик, допустим, или литератор, или еще

кто; ты, как и я, — никто, меньше нуля; минус единица; и будь проклят.

Незадолго до смерти Василий Макарович прожил неделю или две в Комарово, в Доме творчества. И сочинил там два, что ли, текста. Положил их в портфель, сел в электричку, приехал в Ленинград, зашел в журнал «Нева»: вот, дескать, написал, не посмотрите ли.

А была не то среда, не то пятница. Словом, такой день (назывался, кстати, — библиотечный), когда меня в отделе прозы не было, а принимал авторов литконсультант. И этот самый консультант завернул Шукшина: мол, стану я читать написанное от руки! много вас таких! мечтаете печататься — потрудитесь отпечатать на машинке.

Не опознал. А Шукшин не стал ничего объяснять. Молча ушел.

Утешают только словари. Например: «Члены канцелярии осуждены уплатить... значительную пеню. Пушкин. История Пугачева». «...И разных недоимок и пеней скопилось больше двух тысяч. Чехов. В усадьбе».

ОРАТОР

21 сентября 2004

75 — Юзу Алешковскому. Дата странно солидная для человека таких стремительных текстов. Более чем подходящий момент вспомнить, что он сделал для русской литературы и советской интеллигенции: сочинил бессмертные, надеюсь, песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый...» и «Окурочек», а также с полдюжины романов и повестей, в которых отпраздновал полное и окончательное поражение стилистики официоза.

Свел буквально на нет, к итогу резко отрицательному, многолетнюю работу всех идеологических органов, отделов и служб.

Работа эта, как известно, состояла в том, чтобы каждому ввести в мозг — в разные зоны и как можно больше — сверхпрочные словесные блоки, прерывающие процесс мышления, как только оно приближается (естественно, изнутри) к одной из сторон охраняемого периметра.

В результате интеллект страны подавить удалось, но легальный язык, обездвиженный, тоже впал в маразм. В такое состояние, когда (кое-кто еще помнит этот анекдот) практически любой газетный заголовок годился на подпись к порнокартинке. Юз Алешковский — сразу вслед за Венедиктом Ерофеевым, но независимо и средствами своими — зафиксировал это тотальное превращение страшного в смешное. Потому что тоже был уже к началу 1970-х свободный человек. Это ведь и есть свобода — по крайней мере, в России пока что не бывало другой — осознать абсурд, сколь бы ни был он опасен, как самую заурядную глупую ложь.

«Странно все-таки было мне, Коля, что доброй славой среди своих земляков пользуется молотобоец, член горсовета Владлен Мытищев, когда труженики Омской области сдали государству на десять тысяч пудов больше, ибо выборы народных судей и народных заседателей прошли в обстановке невиданного всенародного подъема, а партия сказала „надо!“ и народ ответил „будет!“, следовательно, термитчица коврового цеха Шевелева, протестуя против происков сторонников нового аншлюса, заявила советским композиторам: „Так держать!“ Подписка на заем развития народного хозяйства минус освоение лесозащитных полос привело канал Волго-Дон на-гора доброй славы досрочно встали на трудовую вахту в день пограничника фельетон обречен на провал Эренбург забота о снижении цен простых людей доброй воли и лично товарища руки прочь...»

Продолжать цитату нельзя — там следует оборот неприличный. Юз Алешковский, дай ему Бог здоровья, умеет письменно пользоваться последними словами как никто. Не только как противоядием от пафоса и фальши. Не всегда как усилителем презрения. В необыкновенном тексте под названием «Николай Николаевич» он употребил нецензурную лексику по назначению — первый! — для описания страсти: не одних только телодвижений, но таинственной силы, их одухотворяющей.

По этой причине — а верней, под этим предлогом: что якобы автор груб, — никогда, никогда не будет «Николай Николаевич» допущен ни в одну школьную библиотеку. Равно как и роман «Кенгуру». А также повести «Маскировка», «Блошиное танго» и «Синенький скромный платочек».

Значит, Алешковскому судьба — оставаться классиком для взрослых. И то не для всех. И навеки непереводаемым — как Салтыков и Лесков, и даже безнадежней.

Его жанр — жестокий фарс. Его сюжет — фантазматическая, работающая на такой обыденной при реальном социализме диалектике не по Гегелю: переход невозможного в неизбежное. Любимый персонаж — очарованная

душа, моралист-самоучка. Слог — сама стихия народного публичного — подземного — красноречия. Затейливого, с коленцами, с присвистом и слезой.

Конечно, Юз Алешковский — писатель не без слабостей. А именно — жизнелюбив и сострадателен. Поэтому склонен к финалам великодушным. Всем перед всеми повиниться, друг друга простить. И разумеется, выпить.

Сегодня, точно, повод есть.

ОЧЕВИДЕЦ

29 сентября 2004

— Наш паровоз назад летит, в ГУЛАГе остановка, — напевает мальчик, переключая кнопки.

Паровоз — никакой не паровоз, а назад или вперед — без разницы: дорога электрическая, рельсы на паркете образуют замкнутый круг. Лишь бы трансформатор не перегорел, а так все нормально — опасности вроде ни малейшей, моторчик приятно жужжит.

Но вот странность: крошечные пластмассовые человечки — которых продают в комплекте игры, наподобие фурнитуры, — ведут себя совершенно как живые: половина разбирает за прошедшим составом полотно, а другая половина толпится на картонных платформах, размахивая малиновыми такими фантиками, а на фантиках нацарапано *ура!* и *даешь!*

Не по-хорошему возбуждены эти неодоушевленные существа. Суется как-то угрожающе.

Вот притазили из чулана, отбив у мышей, книжку под названием «Как закалялась сталь». Пытаются водрузить над трассой как декоративную скалу. Якобы на таких стояло когда-то что-то ихнее нерушимое.

Это вряд ли. Но спасибо, лишний раз напомнили. Николаю Островскому ровно сто лет. Пора перечитать его роман.

Как бы то ни было, единственный по-настоящему чувственный в советской школьной программе. Насквозь отравлен сладким, ожесточенным целомудрием.

О эта белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка! О носочки с каемочкой — одни суффиксы чего стоят, а ведь они к тому же «плот-

но обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках!» О пожатия рук, такие разные — то просто крепкое, то крепкое с секундной задержкой, наконец — крепкое до боли, а вот незабываемый миг: «он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился!» О — самое главное — «поцелуй, жгучий, как удар тока»!

У положительных упругая грудь вырисовывается сквозь ткань гимнастерки — или «молодой упругой груди тесно под полосатой рабочей блузкой». С положительными обращаются в простоте сердца:

«— Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? С тобой так хорошо! После встречи бодрости больше и работать хочется без конца».

На отрицательной — платье из тончайшего шелка (лионского, между прочим) оставляет обнаженными плечи и руки, словно выточенные — из чего бы вы думали? — из слоновой кости; вздрагивают, конечно, ноздри, знакомые с кокаином... Ничего, ничего, сейчас услышишь свой приговор.

«Павел выпрямился.

— Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял — такую!»

Вот! А ваш хваленый нигилист Базаров — не более чем долгополый, старорежимный слюнтяй.

Женщины умоляют — Корчагин отворачивается. Сжимающая челюсти, это понятно.

Но какую роскошную фразу говорит (в кулуарах съезда ЦКП(б)У), уразумев, что отвернулся в свое время зря, а теперь поздно:

— Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял.

А как болит у него нога в засыпанной снегом калоше! И этой Тоне Тумановой, когда-то в носочках с каемочкой, а сейчас в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, — мало не покажется:

«— О моей жизни беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал.

Года два назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И, скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем».

Мартин Иден с партбилетом. А что в антрактах классово-борьбы читает исключительно про Спартака и Овода — это маленькие хитрости автора, для отвода глаз.

Толковые тинейджеры пройдут роман Николая Островского с большой пользой для себя. Им откроется логика революции. Если, например, петлюровские бандиты раздербанивают галантерейный магазин Фукса — то это разбой, погром. А когда чекисты опустошают погреб трактирщика Зона — это реквизиция у шкуродера, «тут разводить кисель нельзя».

Черные немцы, белые поляки грабят крестьян, отнимают последнее. Пришли красные. Требуют, чтобы ревком обеспечил кавдивизию сеном. Следует абзац, в невинности своей прелестный (внутри, понятно, кровь):

«Сережа был послан с двумя красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сереже попало меньше других, его пощадили по молодости... В село был послан отряд. Сена достали на другой день».

И так далее. Однако ж не думаю, чтобы Сталину нравился этот роман.

Во-первых, масса еврейских фамилий, причем обозначенные ими лица не противны.

Во-вторых же (и в-главных), этот Корчагин, и матрос Жухрай, и Рита Устинович, и Анна Борхарт, и прочие положительные — представляли самую ненавистную для Сталина породу людей: идеалистов — смертельно чужой ему человеческий тип. И он всю эту сталь сгноил. Руками Суловых, Брежневых, Кагановичей, Хрущевых — уничтожил. Через два года после смерти Островского не стало его героев на свете, как будто никогда и не было. Горстка уцелевших вернулась из лагерей в литературу тридцать лет спустя: несчастные старики трифоновских повестей.

И теперь никто не верит (я тоже), что фанатик — не обязательно либо идиот, либо лицемер. Что они существовали, даже бывали прекрасны, слепые вожди слепых.

Мученик Островский — свидетель их защиты. Хотя тоже слепой. И с головы до ног покрыт сусальной ложью всевозможных тунеядцев.

В метро стоит один, просит милостыню. Был — доцент в ЛГУ, преподавал не то диамат, не то истмат (все такие кафедры были заняты в основном незрячими) мне, и военному министру, и президенту. Суровый такой унтер идеологии, пономарь партхрама. Подают ему плохо, стараются не смотреть на отварные, в страшных прожилках, шары.

Кстати: отщипнули бы, что ли, отставному наставнику — хоть от оборонного бюджета, хоть от какого. Пока ваш моторчик жужжит.

РЕСУРС ЖИЗНИ

28 ноября 2005

Очень круглая дата: со дня рождения Александра Блока — ровно 125. Стало быть, согласно лит. святым, полагается ему лит. акафист или вроде того.

Сам бы я, чего доброго, мог и запомнить. Но тут как раз прибыл в наше захолустье один столичный режиссер человеческих душ. Привез в подарок, за что ему большое спасибо, очередную разгадку смерти Сталина. И, зазывая публику на свой медиумический сеанс (*вот увидите, нам явится Он! Я надеюсь, друзья, мы с вами ощутим Его присутствие!*), мимоходом обронил в местный микрофон словечко-другое про автора поэмы «Двенадцать». Дескать, вот чья смерть — не бином Ньютона. Дескать, понял человек, что написал *не то*, — ну и поставил боты в угол, дело житейское.

А написал бы, значит, *то* — надо полагать, не умер бы? Ай, браво.

Пошлоглулость такого накала действует освежающе. Легкий такой озноб, как от сквозняка. Действительно же, думаешь, ноябрь, а Блок у нас 1880 г. р., и какой это уважительный предлог увильнуть от политики, переменить разговор.

Да только не особенно переменишь. Потому что все эти персонажи, которые, ясно уже, ни за что не позволят нашей стране жить по законам здравого смысла и доброй воли, — все эти государственники, они же державники, они же патриоты, православные коммунисты, монархисты-ленинцы, красные черносотенцы, — воплощают спектр свойств человека советского. Новая, прочная, уже неотребимая порода, специально выведенная Сталиным для

нужд госбезопасности. Это существа, которые легко, по первому же сигналу (обычно — в пубертатном возрасте) расстаются с т. н. душой и в дальнейшем обходятся без нее до глубокой старости.

А на Блоке русская культура поставила эксперимент свой: дала ему — и только ему — высказать жизнь этой самой т. н. души (конечно, его собственной, личной) практически от начала до конца, без помарок и помех. Чтобы она вся превратилась в записанный голос. Его снабдили огромным талантом, солидным культурным багажом, некоторым достатком и почти неограниченным запасом досуга. Окружили любовью, доставили славу. Будь маменькин сынок, тетенькин племянник, баловень барышень — будь свободен совсем, от всего; никого не слушай, кроме души, но за ней записывай буквально.

Получился, как известно, роман. В котором иные — многие — страницы прекрасны, вероятно, навсегда; но очень многие — уже темны либо угасают, причем стремительно. Словно воздух превращается в гипс.

Боюсь, никто уже не прочитает, волнуясь, всё, от корки до корки. Это жаль, потому что Сталин и Блок в пространстве сознания несовместимы. Как мещанский текст — и текст трагический.

Хотя стихи состоят всего лишь из неистойвой тревоги, по-разному окрашенной. И трактуют один мотив: отращения к пресловутому счастью — простому человеческому, реальному, земному; оно — не настоящее; а другого не дано, да и не бывает, а раз так, лети все в тартарары. А все как раз туда и летит — что и есть единственный смысл судьбы. «Будьте ж довольны жизнью своей, Тише воды, ниже травы! О, если б знали, дети, вы, Холод и мрак грядущих дней!»

Такой взгляд на вещи легко пародировать, не будь он передан интонациями, которые усваиваются мгновенно, словно их-то вашему голосу и не хватало.

Но все равно: стихи Блока больше ни для кого не являются ресурсом жизни. Блок уходит. Сталин возвращается. Мещанин победил, — и, должно быть, с концами.

Не могу забыть, как тысячу лет назад (точнее — со-рок) сидел в гостях у одной старушки. У вдовы того человека, сестре которого Блок посвятил «Под насыпью, во рву некошеном...». Тесная такая комнатка в коммунальной квартире на Карповке. Шестой, кажется, этаж. Абажур. Печка. Духота. Нищета. «Александр Александрович всегда садился вот на этот стул...» Стулья пошатывались, шевелился абажур, шевелились фотографии на стенах. Я подумал: голова кружится, — потом пригляделся: по всем поверхностям передвигались полчища клопов.

Теперь у Александра Блока есть две могилы (на Смоленском и Волковом) и опрятный музей, — чего еще надо? Опять же, интимная его переписка доступна любому, кому не лень почитать. С научной, разумеется, целью: интересно же, по какому курсу он конвертировал свою жизнь в стихи, пока не доигрался до дефолта.

Зато присутствие Сталина ощущается повсюду.

НАСЧЕТ ХОЛОДА

28 января 2006

В Липецке макак отпаивают кагором. В Ярославле верблюды согреваются водкой. В Нижнем Новгороде трубят, приняв на хобот, слоны.

Холодно в заточении, в рабстве.

Очень холодно без прописки.

Крестьянин — и тот не сказать, что торжествует. Как-то даже не верится, что в николаевскую эпоху обязательно при минусовых температурах торжествовал.

Настоящая зима, без хитростей, без потайных разных теплоемкостей — совсем не праздник, а правда судьбы. Про это писали Некрасов, Тютчев, Бродский.

Причем Некрасов и Бродский умерли в январе.

Причем Бродский — ровно 10 лет назад.

Был на два года старше меня, теперь — на восемь лет моложе.

И вот я с обидой читаю:

Те, кто не умирают, — живут
До шестидесяти, до семидесяти,
Педствуют, строчат мемуары,
Путаются в ногах.
Я вглядываюсь в их черты
Пристально, как Миклуха
Маклай в татуировку
Приближающихся
Дикарей.

В общем-то, нельзя отчетливей и оскорбительней сказать — отстаньте раз навсегда.

Человек хотел, чтобы о нем помолчали.

Это сбудется. О Бродском помолчат основательно. Как только эти самые приближавшиеся было дикари наконец удалятся и перестанут путаться в ногах.

И перечитывать. И воображать, что история этого абсолютно одинокого человека отчасти передает события каких-то других жизней. Что его неумолчный разговор исключительно с самим собой — касается еще кого-то, как отчаянно волнующий опыт превращения работы ума прямо в звук голоса. Что найденная им система речевой игры открывает нам — каким-то нам — новые аспекты существования.

Все это уже сейчас довольно трудно. Требует мужества, которое где же взять? Я раскрыл третий том сочинений, перечитал от конца к началу, перешел в том второй, вернулся к четвертому — и бросил. В такую впадаешь печаль.

Смелость фантазии необычайна, изобретательность, а равно изобразительность почти невероятные, чуть ли не в каждом стихотворении что-нибудь сказано так, что прекрасней и пронзительней, кажется, и нельзя, — иная совсем короткая строчка уводит черт знает в какую даль, — но ценой какого отчуждения все это написано. Ценой — не в смысле биографических утрат, до которых действительно никому не должно быть дела (и не сметь жалеть порицать), — а в смысле установки взгляда на резкость, возможную только если смотреть с *той* стороны всех вещей. Оттуда, где нет тел. Где вообще ничего нет, кроме свободы.

Которая, как оказывается, мрачна и нестерпимо холодна. По-своему не легче рабства.

Думаю, не было в мире писателя, зашедшего в эту область настолько далеко, как Иосиф Бродский.

Он нашел — установил — выяснил — что-то такое, чего люди, вообще-то, знать не хотят. О чем бояться думать долго.

Это знание могли разделить с ним, как победу, только те, кто научился и привык жить без надежды и смысла.

Людам более счастливым тексты Бродского должны быть тяжелы.

Все собаки съедены. В дневнике
Не осталось чистой страницы. И бисер слов
Покрывает фото супруги, к ее щеке
Мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не шадит сестру:
Речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
Как чулок девицы из варьете.

Собственно, я только хотел сказать, что не случись Иосифа Бродского, жизнь некоторых была бы бедней, скучней, темней, нелепей, несчастней. Примерно такая, как у пьяного верблюда в железной клетке зимой.

О ПОЛЬЗЕ. О СЕБЕСТОИМОСТИ. О ЦЕНЕ

7 октября 2006

Что он, собственно, сказал? Почти наверное — почти то, что думал. Более того — получилось довольно близко к правде.

Вам представляется странной сама идея, что иные убийства бывают вредней некоторых печатных текстов? Но рассудите: текст вреден, когда опасен; опасен же — когда обладает определенной силой; которая часто заключена в его убедительности. Ergo: убийство, повышающее убедительность наказуемого текста, действительно может причинить больше вреда, нежели сам текст.

Например, убийство автора, который уверял — тщетно! — своих читателей, что в РФ укоренился и процветает «государственный самосуд».

В самом деле: Анна Политковская писала и печатала про «эскадроны смерти». Про убийства свидетелей убийств.

А сама была свидетель. И собирала свидетельства.

Вообще-то неопровержимые. Но недостаточно убедительные. Поверить ей было невозможно.

Поверить ей — значило выбирать: или немедленно все бросить и прямо с «Новой газетой» в руке бежать на улицу, крича: давайте все вместе сейчас же прекратим этот кошмар! Или, наоборот, спокойно продолжать жизнь, ее горечью заедая тошноту, немного похожую на стыд.

Должно быть, примерно что-то такое чувствовали порядочные немецкие люди лет этак семьдесят тому назад. Правда, жалея их, государство к тому времени уже избавилось от всяческих «Новых газет». И некоего Карла фон Осецкого, между прочим, сплавило в концлагерь.

А нам все еще приходится — чтобы почти ничего не знать — почти ничему не верить. Чтобы, значит, не презирать (о, совсем чуть-чуть, а все-таки неуютно) самих себя. Но не бежать же, и в самом деле, на улицу.

И мы возражали Анне Политковской (почти все — молча; но некоторые — совершенно вслух):

— Сочиняешь! Как минимум — страшно преувеличиваешь! Как это — свидетелей убирают? Сама-то небось жила!

Это был наш главный контраргумент.

И вот ее убили. Застрелили в кабине лифта. Четырмя, что ли, пулями, считая контрольную. Вычислив момент — до секунды: чтобы обе руки у женщины были заняты тяжелыми продуктовыми сумками (для матери покупала, в больницу); чтобы не могла хоть заслониться ладонью; вообще-то удобней, когда на приговоренном — просто наручники.

Эти четыре пули — все равно что круглые печати на текстах Анны Политковской: с подлинным верно. Подтверждающие опасную ценность текстов.

Ну, он так и сказал. Он сказал так: убийство этой женщины повредило Государству (это, положим, оперативный псевдоним) больше, чем ее публикации.

То есть вклеил жертве строгача с занесением в личное дело, но и убийцам поставил на вид: дескать, услужливый дурак опаснее врага. Себе же выговорил, на всякий случай, алиби: как потерпевшему. Как, прямо говоря, единственному безвинно пострадавшему.

Публицистика отчизны схватила это на лету. И донесла до своей публики: что Политковскую убили ни в коем случае не ее враги, а его. А значит, скорей всего, ее друзья. Не исключено, что по ее же наущению. Что она, если хорошенько разобраться, сделалась убитой назло ему. Чтобы бросить на него тень. И обеспечить распространение своих текстов.

Отчизна зарыдала от жалости к нему. Но он-то находился за границей — как назло, в самый день похорон, подвергаясь публичному расспросу от людей западных,

сентиментальных. Которым нормальной, взвешенной реакции, видите ли, мало. У них так: раз убийство — обязательно надо его осудить. С какой-нибудь дополнительной точки зрения. Помимо той, что пользы — чуть, а неприятностей вагон.

Уставились и ждут, этак чуть ли не требовательно: осуди да осуди. Ну хоть за что-нибудь еще.

Он сосредоточился. И осудил — за жестокость.

Хотя, между нами говоря, мгновенная, внезапная смерть от пули — совсем не худшее из того, что может в нашей стране случиться с человеком, сочиняющим тексты, вредные для государства. Как, впрочем, и с любым другим — если своим поведением или просто своим видом он возбуждает в окружающих патриотизм.

Например, с девятилетней таджикской девочкой в петербургском саду.

Без сомнения, он это знал. А Политковская знала еще в тысячу раз подробней. Про разные вещи, которые несравненно хуже выстрела в упор.

А на расстрел ее уже выводили. Дважды в течение одной ночи. В феврале 2001-го. В расположении 45-го полка.

Так что ума не приложу, какую он имел в виду гуманную альтернативу.

Разве что яд — как в том самолете, 1-го не то 2 сентября 2004-го, когда она пробивалась в Беслан.

Как бы то ни было — ему пришлось что-то такое произнести. Такую фразу, чтобы западные отстали. Но чтобы и свои не почувствовали себя оскорбленными в лучшем из чувств. Осторожно так: какими бы мотивами ни руководствовались, преступление омерзительно. По своей жестокости.

Ну и пару слов про меры, само собой. Что будут приняты. Или предприняты. Короче, вас не касается. А также не делайте из мухи слона. Ее тексты не имели никакого значения. Не пользовались спросом.

Как видим, он не хуже нас с вами понимает, за что убита Анна Политковская. Под какой мотив.

Как и мы, догадывается — кем, но тоже вряд ли когда-нибудь узнает точно. И ему тоже неприятно и некогда думать об этом.

Не сейчас. Когда-нибудь на пенсии, на благополучной старости лет. Отрастив бороду и вставив линзы. В европейском городке, посредине которого будет стоять Политковской памятник. Присесть в сквере на скамью между клумб и неторопливо так, внимательно прочитать ее последнюю книгу.

Книга называется: «Путинская Россия», так что в одноименной реальности достать ее негде.

А предыдущая озаглавлена: «Вторая чеченская» — согласно общепринятой нумерации этих войн.

Сама же Анна Политковская участвовала исключительно в третьей чеченской войне. И на ней погибла. Пав смертью храбрых.

Объявленные две — независимо от того, что назывались не так, и вообще кто что про них ни думай, — состояли из боестолкновений вооруженных людей с вооруженными людьми.

Третья зажглась в глубине первой, пылала под покровом второй и все не гаснет.

Это война вооруженных с безоружными.

Вооруженных воодушевляла тройная цель: ограбить, унижить и уничтожить как можно больше безоружных. Полагаю, на бумаге такой директивы нет и не было. Она была написана на лицах начальников и читалась так: дозволено все! Как известно, таков лозунг ада.

В который Чечня и превратилась. В 2000 году — окончательно. И может быть, бесповоротно.

На любой войне гражданское население бедствует: бомбежки, обстрелы, голод, эпидемии. Разрушенные жилища, разнузданные инстинкты.

Ничем таким нас, телезрителей по преимуществу, не удивишь, наши сердца не тронешь. Зато и за описания соответствующих ужасов никого не убивают. Описания —

более или менее прощительный дамский аполитичный пацифизм. Ужасы — неизбежные издержки политического процесса.

«Вон женщина со строгим лицом и холодными глазами — типичная чеченка времен войны. Она из горного селения Махкеты в Введенском районе. У нее трагедия: 14-летнего сына „замочили в сортире“. Натурально так „замочили“, без всяких иносказаний — прямым попаданием снаряда в деревенскую „дырку“, когда парень отправился по нужде. Дом этой женщины — почти на краю села, вот федералы и видели с постов, кто куда по двору идет. Поняли, зачем мальчик двинулся по тропинке в дальний угол огорода, — и пальнули. С одной стороны, в собственное удовольствие. С другой — непосредственно исполняя волю своего президента, — просил же Путин, главковерх, „мочить“».

Таких историй в текстах Политковской сотни. Как лютовали артиллерия, авиация. Как самолет пролетает над уединенным хутором, видит во дворе женщину с пятью малышами — разворачивается — и р-раз по ним ракетой «воздух—земля», прицельно и точно.

Или вот — как расстреливают с вертолетов беженскую толпу. Хотя — не совсем толпу: люди (среди них и Политковская) просто лежат по обеим сторонам шоссе, вжимаясь в траву и пыль.

«Вот они — вертолеты. Очередной заход. Они спустились так близко, что видны руки и лица пулеметчиков. Некоторые уверяют — даже глаза. Но это преувеличение от страха. Главное — их ноги, небрежно спущенные в открытые люки... Ноги большие и страшные, подметки тычутся чуть ли не в нас. Между ляжками зажаты дула. Страшно, но всем хочется посмотреть, кто же твой убийца. Кажется, они смеются над нами, над тем, как мы умонительно ползаем внизу — старые, грузные тетки, молодые девушки, дети. Нам даже слышен этот хохот, хотя это опять вранье — слишком шумно вокруг...»

Или как стирают с карты населенные, вообще-то, пункты, — протирая карту до дыр. Всюду ликует одна и та же

вроде бы бессмысленная, но неистово целеустремленная жестокость.

Но по здравом размышлении придется признать, что вред Государству от этих сюжетов сравнительно невелик. Они практически безобидны: во-первых, не приводят в движение никого, кроме иностранцев; а во-вторых, по ним никого не притянешь ни к одному суду, кроме разве что Страшного — от которого трудно утаить необходимые человеческому правосудию фамилии, воинские звания, номера частей, даты под приказами.

«У офицеров в Чечне, как у нелегалов-разведчиков, — по два-три-четыре комплекта документов на разные фамилии. Они все *никто*, и спросить не с кого...»

Значит, и беспокоиться не о чем.

Кроме того, эти сюжеты, со стрельбой из всех видов оружия по всему, что шевелится, — они ведь благополучные. Что ни финал — настоящий чеченский хеппи-энд: человек умер быстро и почти сразу похоронен по обряду.

Другой ряд событий страшней — не сравнить: врываются в дом (по ходу зачистки либо внезапно), избивают, связывают, бросают в БТР либо багажник — доставляют в застенки, пытаются! — пытаются так, что ничего подобного не бывало в Европе полтысячи лет, — пытаются и насилуют, унижают и унижают — наконец-то убивают (как собаку) и закапывают (как собаку), лишь иногда и за большие деньги выдавая родственникам местонахождение истерзанных тел.

Впрочем, возможны варианты: иногда продадут и незакопанный труп. Или даже более или менее живого человека.

«...А в сторонке — отец, незамужняя взрослая дочь которого прошла через фильтрационный лагерь в Урус-Мартане, где... Ох, в этом случае лучше уж не вслух... Лишь один штрих заточения: ее заставляли ползать по ступенькам вниз-вверх на четвереньках, по-собачьи, держа в зубах ведро с говном...»

Тут — расследуя факты данного ряда, — Политковская, безусловно, опасней. Причиняет Государству

действительный вред. Вернее, боль — жизненно важным органам.

Поскольку тут речь не об эксцессах, а о повседневном, будничном труде. Благодаря которому система бесперебойно выделяет два основных политических гормона — ненависть и страх.

Речь о рутинной процедуре. Вполне рациональной. Огромному войску полагается много врагов — убитых и плененных. Желательно, чтобы все они оказались, например, боевиками. Но если боевиков не хватает, приходится брать обычных людей. Которых попробуй уговори признать себя боевиками добровольно. А без признания — как изобличишь и вообще оформишь? Ergo: пытаться. А потом пытаться еще — чтобы каждый назвал какого-нибудь сообщника. И так далее по нарастающей — как по маслу.

Разъяснив эту целесообразность, Политковская, в сущности, выдала гостайну. Все равно что распечатала инструкцию по сборке Большого Террора.

И еще позволяла себе жаловаться, что никто не обращает внимания.

«Дело в том, что мы *думаем плохо*. В массе своей мы совсем не страдаем от того, что творится в стране, что у нас на потоке бессудные казни и уже тысячи жертв „нового 37-го“. Мы успокаиваем себя тем, что это пока только *чеченский 37-й год* и до нас не доберутся...

Напрасно и легкомысленно: история доказывала это неоднократно. В стране царит идеология ненависти к ближнему. Вот в чем наша настоящая беда...»

Позволяла себе обобщать:

«„Чечня“ как образ мыслей, чувств и конкретных действий гангренозной тканью расползается повсюду и превращается в общенациональную трагедию с поражением всех слоев общества. Мы дружно и вместе озвереем».

То есть какой-никакой, а урон наносила. Но, конечно, никто ее не слушал — как говорится: знаем все сами, молчи! — и, в общем, лично я думаю, что не понадобилось бы ее убивать — сама бы осознала тщету усилий, — не появившись на горизонте из тумана Европейский суд.

Пресловутый, по правам человека.

Кто же думал, кто мог вообразить, что какие-то старики, какие-то старухи когда-нибудь доползут из Чечни аж до Брюсселя — просить справедливости для своих давно погибших детей. Что у них будут при себе какие-то документы. Что их примут, выслушают, заведут дела. И чего доброго, постановят рано или поздно, приговоры. На которые, оказывается, не наплевать.

Вообще-то, ничего страшного. Руки короткие, не говоря о том, что фиг докажешь.

В окна комнаты, где я все это пишу (как обычно, ночью), толкается музыка: через двор, в милицейском культурном центре, празднуют *день кадровика*.

Если не ошибаюсь, кадровик — это что-то такое серое за железной дверью первого отдела в каждом крупном учреждении, недреманное тусклое око ГБ.

Но и подобные существа умеют веселиться: после концерта — дискотека, и квартал слегка подрагивает на своих сваях.

Пляшут сержантки в кожаных мини-юбках. Пляшет, я думаю, петербургский ОМОН — вот которому (говорят — и рязанскому) только что Страсбургский суд выписал штраф. 230, что ли, тысяч в инвалюте. За убийство пятерых безоружных — в их числе беременной женщины — в поселке, что ли, Алды, лет тоже пять назад.

Анна Политковская как раз и разбиралась — чей ОМОН и что там было, — но вот мертва. ОМОН же пляшет, потому что зачищали в масках, а значит — никто не опознан, рязанский не рязанский, питерский не питерский, а значит — никому ничего не будет. А штраф заплатит (если заплатит) РФ — если, опять же, будет кому платить.

Поскольку истцы один за другим изымаются из оборота. И в картотеке Политковской появилась новая рубрика: *мученики за Страсбург*.

Вот им, а не компенсация. Но все равно: факты вдруг резко подорожали.

Представьте такой, можно сказать, анекдот. 2000 год, начало февраля. Только что взят разрушенный Грозный.

Телевидение, как положено, живописует триумф. Вот генерал Б. — большой генерал, начальник штаба всей группировки, подъезжает к сельской больничке. Перед нею собраны раненные пленные. Которых сажают в какой-то автобус. Лицо одного из этих пленных генералу не нравится особенно. Причина неотчетлива. Не нравится, и все. И генерал кричит, неясно к кому обращаясь: «Уведите его к черту, прикончите его, дерьмо... Вот и весь приказ. Давай уведи его, прикончи, пристрели к черту...»

А телеоператоры снимают. И звукооператоры записывают. И вечером все это показывают по ящику. Для вящего реализма дают крупным планом страницу паспорта: *Яндиев Хаджимурад*. И все путем.

Но мамаша этого самого Хаджимурада сидит перед телевизором. Видит эту картинку. Встает со стула, одевается и уходит искать сына. По всей Чечне. По тюрьмам и т. д. Обивает пороги всех начальников. Пишет по всем официальным адресам. В том числе и в Страсбург. (Поскольку грамотная: учительница, вообще-то. А сын, кстати, был студент. Экономист.)

Так она бьется шесть с половиной лет. Никакого сына, естественно, не находит. Из всех прокуратур один ответ: забудь.

Но в июле сего года там, в Страсбурге, посмотрели наконец это старое видео. И согласились, что генерал Б. нарушил — что бы вы думали? — «право Хаджимурада Яндиева на жизнь», а тем самым — статью 2 Европейской конвенции по правам человека: «Право каждого лица на жизнь охраняется законом».

Что же получается? Получается, он у нас — военный преступник. Сам генерал Б. Лично. Как таковой. Между прочим, Герой России. Сейчас на очень большой должности, между прочим.

Политковская незадолго до смерти так и написала: *фактически признан военным преступником*.

И что решение Страсбургского суда — «вполне может превратить жизнь генерала Б. в нечто похожее на судьбу Радко Младича и иже с ним. После 27 октября, дня

вступления решения в законную силу (три месяца дано на апелляцию), Б. рискует стать не въездным никуда, кроме Белоруссии и Северной Кореи».

А все из-за чего? Из-за нескольких видеокадров. Какие-то шесть секунд, промелькнувшие на экране невесть сколько лет назад, могут омрачить чисто конкретному персонажу — скажем, отдых на Кипре.

(Кстати — верней, некстати: вроде бы это тот самый генерал Б., который, согласно давнишнему репортажу Политковской, первым сообразил, куда сажать допрашиваемых зачищенных — в выгребные ямы шестиметровой глубины.)

Вот я и говорю: не за то, что подозревала, кто взорвал тогда, в 1999-м, те дома в Москве; и помнила, кто и как начал первую чеченскую и вторую; и как велись эти войны; и знала, отчего умерли зрители мюзикла «Норд-Ост»; и понимала, кто приговорил погибнуть заложников бесланской школы № 1.

Мало ли кто и что помнит, или подозревает, или даже понимает. Не убивать же всех таких. И всех таких пока не убивают. И даже на тех, кто бормочет свои соображения вслух, — плюют.

Но она собирала документы. И устанавливала факты. Реально опасные для реальных лиц.

Которым реально обидно за державу, которую какая-то Политковская покушалась лишить самого ценного — их.

Они, естественно, предпочли, чтобы держава лишилась — ее.

Конечно, можно было избежать этого убийства. Обезопасить державу от публикаций Политковской. Легко. Стоило только самим расследовать и самим опубликовать: кто взорвал тогда, в 1999-м, те дома в Москве, отчего умерли зрители мюзикла, и про все остальное.

Дескать, так и так. Затянуть бессмертную песенку: хотели, дескать, как лучше, и проч.

Да, видно, нельзя. Должно быть, хотели не как лучше. А только чтобы все боялись.

Политическая полиция всегда стремится к этой цели, но не в силах ее достичь без уголовных преступлений.

Плюс круговая порука.

Поэтому — любой ценой стоять на своем: скажем, зрители мюзикла скончались от хронических своих заболеваний. А кто сомневается, тот — враг. А если враг не продается — патриот не промахнется.

То есть работа Политковской была несовместима с жизнью. В частности — с нашей, господа просвещенные сограждане. С вашей, с моей. Мы так и жили — как будто ее нет.

Почти как он.

А теперь будем жить так, словно ее не было.

Пускай выступает на облаках. В Трибунале Убитых. Где председатель — Старовойтова, судьи — Сахаров, Юшенков, Щекочихин, Юдина. И Холодов. И Боровик. И таджикская девочка Хуршеда.

И та женщина из поселка Алды. И все другие.

ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ

24 марта 2007

100 лет со дня рождения Лидии Чуковской.

Цифра очень странная, потому что, например, в последнем нашем телефонном разговоре голос у нее был совсем молодой. (Немного даже слишком звонкий — наверное, от неотвязной физической боли.) Каких-нибудь одиннадцать лет тому назад.

С другой стороны, это были особенные одиннадцать лет: опустошавшие культурную память. Словно в приключенческом фильме: салон самолета разгерметизирован — и разные вещи, составлявшие ручную кладь, взмывают, как бы теряя тяжесть, к разбитому иллюминатору и непрерывной струей устремляются в наружную пустоту. Или словно в сказке Корнея Чуковского «Федорино горе». Утюги за сапогами, и т. д.

Среди этих улетевших утюгов, сапог и особенно пирогов оказались чуть ли не все слова, какими следовало бы говорить про Лидию Корнеевну — про ее необыкновенную жизнь, про ее поразительные, захватывающие, мучительные книги.

Можно сказать и так, что вышел для этих слов срок годности. Одни утратили свой смысл, другие приобрели противоположный. Причем началась эта порча, вообще-то, давно (еще Салтыков, с его тревожным обонянием, ворчал, якобы недоумевая: дескать, был же смысл, что-то же они значили — такие, допустим, слова, как Совесть или, там, Правда, а кто их помнит?) — и с ускорением продолжалась целое столетие — и вот finita.

В самом деле — ну заставьте хоть свой внутренний голос произнести, предположим: *величие души* — нет, серьезно! серьезно! — получилось? То-то и оно.

А Лидия Корнеевна спокойно, уверенно и правильно пользовалась (и в текстах, и в быту) даже таким термином, как *честь*.

Она умела думать всеми этими — с прописных букв — существительными, чувствовать и действовать по этим архаичным глаголам.

Умела, вообразите, благоговеть. Презирать. Сострадать.

Сразу, как она умерла, все эти лексемы утратили отношения с реальностью. (Так осенью один резкий порыв ветра срывает с берез последнюю, прозрачную листву — разом всю, но не дает упасть, истлеть спокойно.) Как если бы их ценность обеспечивалась исключительно существованием Лидии Чуковской.

Потому что она была — скажем под протокол, для школьного учебника — последний представитель русской классической литературы. Ее великая дочь.

Догматы этой литературы вошли в ее кровь и плоть — буквально: придали непобедимую силу ее характеру. Она олицетворяла эти догматы, воевала за них — одна против целой эпохи, — за них положила свою долгую, грустную жизнь.

Например, она, по всей видимости, полагала, что творчество представляет собой наивысшее — причем естественное — проявление человечности.

Что, открывая новые связи между фактами ли, понятиями или словами, оно углубляет наше понимание всего происходящего, то есть находится в ближайшем родстве с т. н. Правдой.

Которая является всеобщим и притом наиболее ценным достоянием народов и людей.

И что вышеупомянутая Правда, сделавшись для них, для людей и народов, полностью доступной, способна освободить их от Зла (гнездящегося в них и гнетущего извне).

Какое зло, должно быть, состоит в помрачении умов, доходящем до степени, при которой мерещатся достойными такие жизненные цели, что их не достигнуть, не применив как средства — страх, боль и даже смерть.

Прочному успеху Зла способствует (и это даже условие *sine qua non*) эпидемия т. н. Глупости, чей возбудитель — т. н. Ложь.

(Под мощный оркестровый звук которой прошло почти все время Лидии Чуковской на земле. Как в стихотворении 1939 года:

Консервы на углу давали,
Мальчишки путались в ногах.
Неправду рупоры орали.
Пыль оседала на губах.)

Из чего якобы вытекает, что антидот Глупости (и в конечном счете — Зла) — Правда и что назначение человека — синтезировать это волшебное вещество. Любыми способами, из любого подручного материала, не останавливаясь, не тратя даром ни минуты. Под руководством т. н. Совести.

На искусства же и среди них на литературу, поскольку они располагают возможностью производить Правду в промышленных количествах, падает самая большая и тяжелая ответственность. Так что человек, например профессионально занимающийся изготовлением фальшивой литературы, — отравитель и гад, не менее того. (Хотя и не более.) Хорошо еще, что подделку отличить от подлинного художества позволяет т. н. вкус, который есть не что иное, как Совесть, только в другом измерении. (В том, где пошлость — оборотень Лжи.)

Ну и т. д. Вся эта сбивчивая, иллюзорная схема нынче выглядит, пожалуй, забавно. И возможно, еще через поколение сюжет повести «Спуск под воду» будет восприниматься как неправдоподобный анекдот.

Там рассказана любовь между мужчиной и женщиной: как она тихо, но скоро возникает из взаимного доверия, взаимного сострадания (он сидел в лагере, а у нее погиб в тюрьме муж) — и как гибнет эта почти случившаяся любовь буквально в одночасье: потому что оба — литераторы, и *она* прочла рукопись *его* романа, и роман оказался — на дворе-то 1949 год! — насквозь советским,

с небывалым размахом трудового подъема и разоблачением вредителей производства. Кто бы мог этого ожидать: опыт лагерной шахты пошел на достоверные детали для идиллии про предоктябрьскую стахановскую вахту.

Бессмертную тему «Русский человек на rendez-vous» Лидия Чуковская закрывает так:

«Чувство стыда было такое сильное, что время остановилось. Как от счастья.

Шагов я не слышала. Раздался стук в дверь...

...Я указала ему на стул по другую сторону стола. Всегда в этой комнате он сидел на маленькой скамеечке возле меня. Он удивился, но сел.

— Вы трус, — сказала я. — Нет, хуже: вы лжесвидетель. — Он начал приподниматься. — Вы лжец. „Ты не чеченец, ты старуха...“

Он поднялся, распрямляясь. Не спуская с меня глаз, он, не глядя, протянул руку и нащупал папку.

— „Его пальцы, свертывавшие козью ножку, дрожали“, — сказала я и тоже встала. — Все. Можете идти. Это все, что я могу сказать вам о вашей литературе... Прощайте. Почему у вас не хватило достоинства промолчать? Всего только промолчать? Ведь от вас никто этого не требовал... Неужели... из уважения к тем, кого вы засыпали землей... вы не могли как-нибудь иначе зарабатывать себе на хлеб с маслом?.. Чем-нибудь другим. Не лесом. Не шахтой. Не ребенком — тамошним. Не... заиканием вашего друга?

Он вышел».

Что я и говорю: Лидия Чуковская — автор необъяснимый. Этой сцене и современники-то не хотели верить, а на что надеяться от каких-то там будущих других? Она именно думала, что пишет для и ради неизвестных братьев, которые найдутся же когда-нибудь и всё поймут, тяжесть и стоимость каждого звука. А они вот возьмут и как раз не поймут, скажут: рецензия в лицах — а женщин таких не бывает, или никто их не любит.

Действительно — партия, правительство и, главное, ГБ несколько десятилетий подряд чего только не делали,

чтобы излечить своих трудящихся от этой, столь неестественной, аллергии на вранье. Таких и всего-то существовала в СССР — горстка, и Лидия Корнеевна почти всех пережила.

Разумеется, это чудо (еще одно слово, нуждающееся в начальной прописной). Нет, не то, что в 1937-м или в 1938-м, на крайний случай — в 1939-м она должна была стать советским человеком или/и погибнуть, а она не стала, и не погибла: это не чудо, а халтурный недогляд органов и рассеянность (кто знает — вдруг и притворная) судьбы. Чудо — что она написала — что вообще какой-то человек в России тогда мог дойти до такой глупины, чтобы написать — «Софью Петровну».

Где впервые в мировой литературе (за десять лет до Оруэлла) именно это и описано — скрупулезно ясно: как становится человек — советским. То есть существом нового подвида, с мышлением приплюснутым (Набоков это угадал), двумерным. Как человека — и с ним целую страну — день за днем для этого жестоко сводят с ума. Кстати, заметите ли вы, дальние братья из будущего, как странно эта повесть — с таким финалом, что и у Шекспира поискать, — эта повесть, говорю, фактически завершающая русский классический канон, — как загадочно (потому что нисколько не преднамеренно) похожа она на гоголевскую «Шинель»?

Как надо было верить в литературу — как в наивысшую инстанцию вечной справедливости, — чтобы написать такое произведение в полной темноте, под свирепый рев торжествующего злодейства, на скользком краю бездны, в которую только что сбросили любимого человека.

Ей по ошибке оставили жизнь. Она превратила ее в оружие — в смертельно опасный снаряд: она ее всю записала. Болью, как живым зеркалом, отразив доставшуюся ей вселенную. И осветив. Как в стихотворении 1979 года:

Облить себя бензином.
Поджечь себя, как факел.
Мальчишка рот разинул,

А бородач заплакал.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Чтобы вражья сила
Огонь не погасила.

Умела, умела ненавидеть. Умела не прощать. И боготворить. И любить тех, кого любила, — бесконечно. Как сорок тысяч сестер. И даже бывать счастливой: от снега, от гениальных текстов, и если Правде почему-либо выпадала победа.

ГОРЕ УМУ

3 сентября 2007

Сегодня в три пополудни случится событие культурной жизни. На стене одного дома в улице Рубинштейна окажется мемориальная доска. Тут жил Сергей Довлатов. И ему исполнилось бы в аккурат 66.

И во-первых, как жаль, что не исполнилось. Правда, в этом случае не было бы и доски, — ну и пусть. Навесили бы ее потом — скажем, в середине века. А зато — минуя житейские сентименты, — зато не было бы так совестно за литературу.

Которая, мы же видим, ходит по историческому отрезку на цыпочках, всей фигурой выражая: только не обращайтесь на меня внимания, кушайте, кушайте, а я пристроюсь где-нибудь в уголку.

Довлатов, мне кажется, не позволил бы себе поглубеть ни от старости, ни от славы. Измена уму была для него невозможна.

Хотя ум буквально изводил его: без конца придирался и дразнил, и был недоволен каждой написанной строчкой, не говоря уже обо всем остальном.

Не давал вздохнуть спокойно и решить раз навсегда: я писатель настоящий и притом хороший.

Поэтому Довлатов себя все время переписывал. Стараясь угодить уму: чтобы, значит, ему в тексте жилось удобней. И — по крайней мере, в некоторых вещах — добился странного и очень редкого эффекта: они выигрывают от перечитывания.

И это во-вторых: что все получилось по справедливости: живая слава и — довеском — доска на фасаде Рубинштейна, 23.

Он писал про то, что жизнь — цирк, а люди все — клоуны. Поскольку жил в такое время и в такой стране, где эта метафора — или, если хотите, гипербола — полностью осуществилась. Воплотилась. Реализовалась. В системе маразма и нищеты, непоколебимо прочной ввиду их абсолютного равновесия. Где при малейшей попытке добиться чего-нибудь теряешь больше, чем приобретаешь. И не имеет смысла т. н. труд. Постыдно ничтожен ассортимент призов т. н. судьбы. Смертельно опасна любая т. н. правда. И вообще — быть не дураком нестерпимо: все время тошнит. А когда социализм доходит до такой зрелости, единственное средство — алкоголь.

Погружающий в безумие с остроумием пополам.

Видите ли, существование состоит из поступков и слов. Но в силу данного общественного строя перед каждым обнажилась тщетность поступков. Соответственно, в речевой деятельности возобладал и господствовал вздор. И люди различались главным образом по интонации: произносят ли они вздор серьезно — или же насмехаясь над собой. Или просто в пьяном бреде.

Три сорта вздора — три сорта, три сорта — что в уголовной зоне, что в литературной, с позволения сказать, среде.

Персонажи несут вздор, автор — сортирует. Этот говорит смешно, потому что кретин. А этот говорит смешно, потому что циник. А этот — потому что он в белой горячке.

Во всех случаях содержание высказывания стремится к абсурду. Это искусство для искусства, лагерная самодеятельность.

«Законы языкознания к лагерной действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством общения. Она — не функциональна.

Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще, он является целью, а не средством...»

Биография Довлатова словно нарочно сложилась так, чтобы открыть ему глаза на роковое сходство двух зон. На смысловую пустоту по обеим сторонам запретки.

Но пустота — она и есть пустота. Медицинский факт, с которым ничего не поделаешь. Всем известный, кроме придурков. Повергающий в отчаяние. Не забавный, сколько ни остри. Уму в пустоте нечего ловить. Ожидая своей очереди кувырнуться на манеж, клоуны потихоньку переговариваются:

«— Мишка, — говорю, — у тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми... Что это не ты... И не я... Что это какой-то идиотский спектакль... А ты просто зритель...»

— Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков, — не думай. Не думай, и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. Все, кто думает, несчастные...

— А ты счастливый?

— Я-то? Да я хоть сейчас в петлю! Я боли страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться...

— Что же делать?

— Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя...

— Что же делать?

— Не думать. Водку пить.

Жбанков достал бутылку...»

Это в-третьих: что Сергей Довлатов не просто писатель. А герой трагической легенды. Символ отчаяния от пошлости. Власть которой в чистом виде и называлась советской.

Он увез это отчаяние с собой в Америку и погиб от его метастазов.

И вот прошло столько лет — а тут опять мочало реет на колу. Снова стиль жизни — бесчеловечная фальшь. В цветных лучах бесстыдного оптимизма красуется небоскреб произвола.

И как будто почти всем хоть бы что. Тексты Довлатова отчасти растолковывают — почему.

А потому что люди довольно легко обходятся без свободы. И способны бесконечно долго молоть и слушать исключительно вздор. Лишь с безнадежным опозданием замечая, что они превратились в клоунов, а их жизнь — в цирк.

ЗАГОН СУРОВ

10 декабря 2007

Покуда, значит, кипит вся эта суета вокруг кумира сего. Как бы это, значит, его передвинуть, не перемещая. Либо переместить, не шелохнув. Не в пространстве, а только во времени. Из пункта Нынче в пункт Навсегда.

Такой безопасный, такой удобный организовать перелет, чтобы ничей зад случайно не выскользнул из заповняемого им гос. кресла. Родного. Нагретого. Притертого. Медом намазанного. Отлакировать его для верности суперклеем «Момент»...

Покуда Серая Шейка нарезает круги по сужающейся полынье — и набирает по сотовому чей-то лондонский номер, и вымолвить хочет: давай улетим! — но нажимает «отбой»: ах, нету средства от зимы, кроме колючей проволоки вдоль берегов, — а гагская рыжая следит голодными глазами...

Пока обыватель томится в накопителе, ожидая объявления: в каком из подлунных миров — не в четвертом ли — высадят его этак через недельку-другую. Не в Союзе ли, например, Скифском, Соборного Рычания...

В общем, покамест тянется этот интервал — от политического, так сказать, нечего делать и в предвкушении неизбежной, но непредсказуемой подлянки, — не развеять ли нам гражданскую скуку страничкой русской классики. Уцененной, если кто заметил, без прочтения, огульно.

Извлечь, скажем, из мусорного бака вещицу некоего Лескова Н. С. под названием «Загон». За что, интересно, эту штуку гнобили обе цензуры — царская и советская, мать и дочь.

А за то, что, представьте себе, в 1893 году (тоже в историческом интервале: на перегибе от Александра Третьего к Николаю в своем роде Последнему) Лесков вывел для России окончательную формулу судьбы: особенный такой План, или, если угодно, Антиплан, — которому должно неуклонно следовать государство, чтобы до скончания веков большинство населения состояло из несчастных и злых. И чтобы эта несчастная и злая масса (нарочно лишаемая смысла и регулярно сводимая с ума) цеплялась за данный План изо всех своих страшных сил.

Ключевые понятия такого Плана — Стена и Загон. Лесков начинает от Стены, поскольку в ней вся суть: настоящий Загон можно создать только за достаточно прочной Стеною. Прочной в умах.

В 90-х позапрошлого свирепствовала мода, похожая на теперешнюю: проклясть и забыть лихие 60-е — эпоху т. н. великих, но нежелательных реформ, когда хитрые злодеи, воспользовавшись поражением империи в Крыму, собственной выгоды ради попытались навязать стране какую-то, черт ее дери, свободу. Когда и с внешней стороны Стены «разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки, и образовали трещины, в которые скользили лучи света».

«Лучи эти, — напоминает Лесков, — кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть, — было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо было осветить, и сразу же пошла борьба: светить больше или совсем задуть светоч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом...»

После чего, как известно, произошли в столице теракты, а в Польше — мятеж. И пролилось много крови. И закрылись почти все независимые СМИ. И сделалось в обществе темно и душно. И в этой духоте т. н. интеллигенция на славу отпраздновала трусу.

«Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишком далеко: им было неловко, что

они как будто выпятились вперед за черту, указанную благоразумием... Им стало стыдно и неловко: что они, вправду, за европейцы!»

И пошли повороты на попятный двор по всем линиям.

«И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым неготовыми во всех отношениях и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем „полоса покаяния“; забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать „освобождение рабов сверху“; забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которого стонали и страдали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их „припадком сумасшествия“.

Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять „стена“ и внутри ее — загон!»

И Лесков описывает наступившую наконец стабильность, ее характерные симптомы. Типа — внимает телевизору. Типа — идет выпуск новостей.

Вот отчет о заседании: очередной оратор проповедует, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, *отделиться от них китайскою стеною*».

Вот парадный обед: чествуют авантюриста, подозреваемого за границей в уголовщине: «рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазами... Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал „из суседского“...»

А вот научная новость: знайте, россияне, что от всех болезней исцеляет сажа *лоснящаяся* — «которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками... На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашей сажеею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоты или не давать; а цену,

понятно, можем спросить какую захотим. Конкурентов нам не будет».

Это все очертания Стены. Оберегающей Загон. Порядки которого пересказывать — напрасный труд. Но который так дорог его обитателям. Из картинок, предлагаемых Лесковым, возьмем одну: как еще при Николае I один богатый помещик построил своим крестьянам кирпичные дома с черепичными крышами, завел общую баню и школу. Крестьяне выбили из окон стекла, приспособили дома под нужники, налепили деревянных пристроек, где и стали жить; от бани отказались, «находя, что в ней будто „ноги стынут“, а о школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть?

— Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья не пьяницы!»

Загон суров. Помещик умер нищим бродягой. Лескова не читают. Стена стоит.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

11 июля 2008

Вот и Приставкин умер. Анатолий Приставкин. Автор повести «Ночевала тучка золотая». Последнего великого произведения советской литературы. Возможно — последнего великого произведения русской литературы вообще.

Той, классической, прозы, в которой высшая справедливость — сострадание. Той, которая, защищая несчастных людей, бесстрашно бросалась хоть на государство, хоть на Господа Бога.

За что эту прозу и полюбил весь мир. Только в России в конце XX века она стала никому не нужна.

Подумать только: если бы Ельцин и окружавшие его болваны действительно прочитали повесть Приставкина — если бы не омертвел у них тот участок мозга, который отвечает за способность понимать худ. текст, — не началась бы чеченская война и совсем другая была бы вся жизнь вокруг — не исключено, что несравненно приличней.

А теперь литература не имеет значения. И милосердие больше не стучится ни в чьи сердца.

А стучится в них фальшь.

ПАМЯТИ ОХОТНИКА

9 ноября 2008

Надо помянуть, непременно помянуть надо. 190 — не шутка. До полного округления даты собрание его сочинений, пожалуй, не достоин.

Став позапрошлым, XIX век стремительно уплывает в темноту и тает, как льдина. И. С. — на самом краю.

Надо помянуть, непременно помянуть надо. И по этому случаю политику к черту. Позабыть, как там врио полудиктатора хлопочет, чтобы принципал стал полным наконец. Речь, видите ли, продолжалась 85 минут и 56 раз прерывалась аплодисментами.

А это ведь И. С. реально вывел ихних пра-пра из крепостного состояния. На пару с Григоровичем. Исключительно средствами стиля. Тот — сын украинца и француженки — сочинил вещь, которую порядочные люди не могли читать без слез: «Антон-Горемыку». Про то, что крестьянин, очень вероятно, обладает способностью чувствовать себя несчастным — то есть душой, хотя и небольшого размера. Как бы детской. Ну и глухонемой.

А этот, значит, потомок татаро-монгольских агрессоров изобразил картину совсем другую. На которой фигуры в крестьянской одежде такие крупные, с насмешливыми лицами умных взрослых. И тут же — злые карлики в сюртуках и куртках делают разные повелительные, угрожающие жесты. Не обращая внимания на пейзаж и экономику. Не замечая, как они в этом пейзаже и в этой экономике смешны.

Крепостное право морально устарело в момент: как только тираж «Записок охотника» был развезен по книжным магазинам. Понимать его как норму жизни сделалось

неприлично. (Пользоваться — дело другое.) Через девять лет пришлось вообще отменить.

Так литература освободила народ. И он двинулся вперед. И отнял власть у прежних карликов. И отдал новым — которые умеют хлопнуть в ладоши 56 раз за 85 минут.

И то сказать: злоключения Антона-Горемыки значительно уступают приключениям Ивана Денисовича.

Надо помянуть, непременно помянуть надо.

Если бы тайная полиция поставила всю русскую литературу к стенке, выстроив по росту, Тургенев оказался бы правофланговым. Огромного был роста.

И мозг у него был почти нечеловечески тяжелый. 2 кг 12 г, если не путаю.

Плюс правильное, действительно высшее образование. Плюс сотни километров пешего хода: за тысячами птиц (письма пестрят похвальбой: вчера убил столько-то, сегодня — еще больше).

Наслушался русской речи. Любил ее, как собственный ум. Как здравый смысл, олицетворением которого и был. (Главным образом в текстах, конечно: в жизни-то, особенно в личной, такой же безумец, как и все.)

Последние слова:

— Прощайте, мои милые... мои белесоватенькие...

За столько лет на чужбине не потерял суффикса.

И в сущности, писал по-русски лучше вообще всех на свете.

Однако питал слабость к романной форме и реалистической манере.

Романизм этот, впрочем, — еще куда ни шло: даже более чем простителен иногда. Вон как в «Дворянском гнезде» несколько раз оборачивается сюжет: захватывает дух.

Хотя обычно вся история сводится к истории поцелуя.

Но и тогда находится способ собрать людей и дать им поговорить. И обязательно предоставить слово действительно умному человеку. То есть такому, который ничего не восклицает, потому как ничего для себя не боится и ни на что не надеется.

Как Базаров. Как сам И. С.

Но реализм, реализм — вот его слабое место. Вот из-за чего Тургенев забудет раньше некоторых других. Он описывал характеры, которых больше нет. Которые кончились, как невозобновляемый ресурс. Вместе с временем, из которого почти целиком состояли.

Он изображал других: роковая ошибка. Писатель, ищущий бессмертия, должен других выдумывать. То есть на самом-то деле выдумывать самого себя и распределять по ролям, ни на каких посторонних не отвлекаясь. Заимствуя у них лишь наружность: социальное положение, пол, возраст и т. д.

Базаров так и сделан. Оттого «Отцы и дети» — великое произведение.

Описания природы — почти все (а например — в «Фаусте») тоже сделаны так. Хотя и природы такой больше нет. И языка, которым она передает чувства автора. И уж давно не стало таких чувств.

Что же до прочих персонажей — читаешь, как про инопланетян. Особенно что касается молодых женщин. Напрочь лишенных эгоизма и с волей настолько сильной, что она удерживает их — в решительную минуту судьбы — от падения в обморок.

Ну и пусть. Все равно — надо помянуть, непременно помянуть надо. Потому — такая выпала судьба: жить в третьем мире, среди вещей и учреждений третьего сорта. Часто — украденных. Еще чаще — карикатурных. А представление о настоящих ценностях дает фактически одна лишь литература, и то большей частью старинная.

Для чего И. С. Тургенев в ней и участвовал. Чтобы, значит, оставить что-нибудь родной стране. Чтобы у нее впрямь имелось что-нибудь за душой.

Сидит, бывало, закутавшись в шотландский плед (черно-зеленая клетка), и выводит, допустим, такие слова:

«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение

любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь.

Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло на-конец тебе в глаза.

Прощай! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; теперь скажу тебе: старайся жить, оно не так легко, как кажется...»

Такая серьезность. Такая ясность. Такое отношение к жизни, при котором человеку ну уж никак не до того, чтобы способствовать порабощению других людей.

Помянем, короче говоря, старика. Не чокаясь. Пока они там аплодируют. Вечная память.

**Опыты
о причинах
неудач**

МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛПАК

Стиль как овеществленное время

Взять несколько необъятных слов, подобных облакам, — и так стиснуть, чтобы все вещество смысла упало в память кристаллом цветного сна — галлюциногенным леденцом нерастворимым.

Например: Империя, Петербург, Серебряный так называемый век.

Вот, извольте — четыре строки на всю вашу жизнь:

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Полстрофы — как бы кисти Серова: грузный воротила, магнат, меценат — короче говоря, новый русский какого-нибудь 1910 года — и тесно ему в раме.

А другие полстрофы — не с чем сравнить, но нельзя забыть, — потому что ветер с моря, и бубен лязгает, — и тяжелое дыхание нетрезвых, праздных, безумных, — и чуть ли не Блок в их толпе... Измятый снег, залитый закатом, — острый каблук, пестрый подол, чужое несчастье, обиженный голос.

Все это было с вами, — ничего этого не было с Осипом Мандельштамом, — никогда, никогда, — так и знай, читатель 1931 года: к эксплуататорским классам не принадлежал!

А как легко, сдвинув падеж, развернул к себе цыганку!

Только не верьте, будто банковские билеты с изображением Екатерины II печатались на особенно ломкой бумаге.

И откуда Мандельштаму знать, что деньги под ногами — как снег...

Тяжелый какой этот хруст, — и что правда, то правда: на декабрьском закате снег у нас ярко-желтый.

Вот и запоминаешь чужие стихи, как собственный горестный сон.

Прописка Годивы

Стихотворение, хоть и сложено в Москве, придумано, должно быть, на Васильевском — на Восьмой линии, 31, в квартире брата — верней, в каморке над черной лестницей (помните: «вырванный с мясом звонок»?)... Тихонов, главарь местных писателей, сказал: «В Ленинграде Мандельштам жить не будет. Комнаты ему мы не дадим», — катись колбаской, надменный скандалист, бывший поэт, а ныне бомж и безработный, — а впрочем — персональный пенсионер и прихлебатель Бухарина, вот и живи, где патрон приютит...

А не надо, когда обсуждают творчество руководителя, выступать с поучениями: что, дескать, поэтическое пространство и настоящая поэтическая вещь как-то там якобы четырехмерны... Ступай теперь в свое измерение.

Мандельштам не упирался: этой зимой город показался ему страшен. Да и прежде что в нем было такого прекрасного? Детство, да юность — ну, еще молодость и сколько-то любовей, — одни обиды, короче говоря.

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

С чьей-то прощается все-таки волшебной наготой, — я догадываюсь, да не скажу — полюбуйтесь лучше, как рифмует рыжая грива с лимонной Невой, а Нева — с той английской графиней, — и «никогда, никогда» — с «я не помню»... и лед укрывает строфу!

Но ведь все это поверх синтаксиса, даже как бы вперекор, — а ведь в мыслях мы расставляем запятые и вопросительные знаки, не правда ли? Значит, стихи — непонятные. Спрашивается: отчего этот недоброй памяти город вам дорог? Ответ: вероятно, потому, что в детстве я видел иллюстрацию к балладе Теннисона. Тут не то что Тихонов, а и профессиональный дознаватель озлится: нечего, скажет, темнить. Скучаете по буржуазному строю, так и пишете...

Хотя в ту, первую пятилетку кое-кто еще помнил про графиню Ковентри — отчего нельзя было на нее смотреть. И кто подглядел — вор, а кто помнит — предатель, а кто позабыл — тень. И в сущности, совсем не такой причудливый ход мыслей: что любил, например, прекраснейшую из столиц — без взаимности, но это не важно, не важно, — а теперь судьба настаивает, что благородней — разлюбить... Или так: согласно кодексу русской классики, добровольно соглашаюсь предпочесть свободе — равенство; вдруг в придачу получится братство... А что и в царстве несправедливости случались минуты красоты — не мне о них жалеть... Сказано отрывисто, но вполне разборчиво, — а трудность для дознавателя только та, что пространство вещи действительно не трехмерное.

Призраки цвета, фигуры звука — и в словах, впервые встретившихся, черты внезапного сходства, — и вся эта нескончаемая игра неожиданности с необходимостью создают речь как бы не совсем человеческую, в которой смысл фразы бесконечно усилен доставляемым ею наслаждением. Кому она приносит счастье, тот ее и понимает вполне.

Стихи Мандельштама, написал Владимир Вейдле, самое пышное и торжественное, что случилось в Петербурге в двадцатом веке.

А Виктор Жирмунский дал формулу: поэзия поэзии. Теперешние ученые отмахиваются: поверхностно! — а по-моему, верно: главное действие Мандельштама — возведение в степень. Он едва ли не каждому слову возвращает ценность метафоры.

Извлекает из слова корень — скажем, квадратный, — и возводит его, скажем, в куб.

И стихотворение — как произведение метафор (не сумма!) — становится метафорой другого порядка, высшего.

Превращается в метафору какого-то множества — или единства, — мерцающего в ней, как Метафора всех метафор.

Частности

Дамы влюблялись в него не пылко и ненадолго: слишком был безобидный, совсем без демонизма. Разве что капризный, а в сущности — смешно сказать о поэте — кроткий. Вообще почти смешной: телосложение пингвина, походка, как у Чарли Чаплина. Повадка щегла — лицо донельзя человеческое — и божественный ум! Ни одна не бывала с ним счастлива, — но так весело не было ни с кем.

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль! —

Цветаева ему писала.

И самая красивая из всех говаривала впоследствии, за бездной лет и потерь:

— Очень весело болтали, и непонятно, почему получилась такая трагедия в стихах, — теперь я с грустью понимаю его жизнь и весело — наше короткое знакомство... Я рада, что послужила темой для стихов. Он был хороший человек, добрый... А что стихи будто бы холодные — неправда; по-моему, горячие, как мало у кого...

Ахматова с ним смеялась, как с близнецом; только ему и прощала, что — умней: ведь зато человеческого опыта

у него не было никакого; две старые девы — литература и музыка — воспитали подкидыша, как могли, — вот и не стал взрослым.

«Мне часто приходилось, — вспоминает Пунин, — присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой: это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами, может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые мне были совершенно недоступны. Почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама, звали его „Оськой“, а между тем он был обидчив и торжествен, торжественность, пожалуй, была самой характерной чертой его духовного строя, этот маленький ликующий еврей был величествен — как фуга».

Он же, Пунин, вот что утверждает о родстве Мандельштама с Ахматовой: «Это тоже было существо более совершенное, чем люди».

Говорят, Гумилев умел дружить с Мандельштамом; но большинству мужчин с ним было тяжело: высокомерный, самовлюбленный, совершенно ничего не умел — только сочинять, — ничего другого и не делал, — вечно требовал в долг без отдачи, — вздорный, нелепый, вульгарный, — вообще непонятно было, кто дал ему такую власть над русской речью. Как сболтнул сгоряча последний поклонник-завистник:

— Черти, что ли, помогают Мандельштаму?

...И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо...

Все же в некоторых случаях вкус бывает неумолим, как совесть: заслушивались. Сам Александр Блок отгаивал: «Постепенно привыкаешь, „жидочек“ прячется, виден артист».

Мандельштам, и дожив до седых волос, не догадывался, что это первое, что думает о нем и друг и враг: вот еврей. В роковом самозабвении полагал, будто все — пусть многие понаслышке — знают, кто он такой и что сделал в русской литературе, — а стало быть (вторая ошибка!) — чуть ли не за приятный долг почитают — да хоть и скрепя сердце, все равно обязаны — доставлять ему средства к жизни. Хуже того: чувствуя себя носителем смысла времени, убежден был (ошибка третья!), что с его мнениями — равно и сомнениями — кто-кто, а вершители исторических судеб страны не могут не считаться. («Мы живем, под собою не чуя страны...» — чем не доклад, воображаемый, на предстоявшем съезде — как его там — победителей, что ли?) Не желал притвориться мертвым — вел себя как действующий чемпион — или как тот, кто необходим, потому что говорит за всех; искренне верил, что полезен, и долго будет советскому народу любезен, — вот и дошел до того, что стал призывать милость к падшим.

Понятно, что его принимали за городского сумасшедшего.

Хотя нельзя теперь не признать: кое-что Мандельштам предвидел. О ленинградских мертвецах сказал за несколько лет до начала Большого террора; что Кремль — кузница казней, — накануне...

Он с болезненным ужасом ненавидел злодейство. Впал в панику от физического контакта с насильником. Не мог дышать воздухом, в котором кого-нибудь убивают.

Развивалась астма. Он стремительно старел. Боялся одиночества и пространства. Но по-прежнему обожал Время, особенно — настоящее. И приставал к нему с нежностями, остротами, попреками... Пока не надоел.

Причина смерти

Петр Павленко в марте 1938 года писал куда следует — в Союз писателей то есть:

«Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной

составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет даже того главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою страну...»

Надежный писатель был Павленко, проверенный. Один его приятель и соавтор — некто Пильняк — уже лежал, где заслужил, с пулей в черепе, а теперь Петру Андреевичу отдали на перевоспитание кинорежиссера Эйзенштейна, и они вместе сочиняли сценарий про Александра Невского. А Мандельштама Павленко давно уже, с 1934 года, презирал — потому что один следователь на Лубянке по старой дружбе позволял Петру Андреевичу тайно присутствовать на допросах — в укромном каком-нибудь уголке: за портьерой либо в шкафу, — чтобы набраться художественных впечатлений, — так вот, Мандельштам, когда его взяли за стихи про товарища Сталина — что будто бы его пальцы, как черви, жирны и он якобы играет услугами полулюдей и так далее, — держался на допросах жалко и был смешон: брюки без ремня спадают, ботинки без шнурков не держатся, и сам дрожит всем телом. Петр Андреевич любил тогда, — хоть и не положено, — за рюмкой кахетинского в кругу товарищей по перу и некоторых существ противоположного пола изобразить истерики и обмороки Мандельштама.

И все смеялись.

Но теперь, в 1938-м, Павленко было не до шуток. Щекотливейшее поручение он получил: этому недобитку (которого товарищ Сталин пощадил, как якобы мастера, — поверив заступникам, ныне разоблаченным) — поставить окончательный диагноз. У Мандельштама — кто мог вообразить! — хватило наглости вернуться из нетей, объявиться в Москве и — мало того — всучить Союзу писателей пук стихотворений: дескать, здравствуйте, советские писатели, я снова с вами! верней, наконец-то я ваш! пишу совершенно так, как нужно, только лучше, чем вы, — извольте же напечатать — и прописка столичная нужна, — и вообще носите на руках, ликуя... Следовало немедленно его сплавить, и было совершенно ясно — куда, однако

резолуция 1934 года — «изолировать, но сохранить» — вроде бы подразумевала, что великий вождь в то время еще надеялся: эта жалкая личность успеет, раз уж настолько вникла в ремесло, хоть отчасти искупить свою вину, создав произведения, блеском ей соразмерные. Стало быть, приходилось намекнуть — не кому-нибудь, а Кормчему: просчетец, мол, с вашей стороны, недосмотр! Но, само собой, не в том смысле, что кто-нибудь гениальней вас понимает литературу, — а что подло воспользовался вашим великодушием гнусный классовый враг — бандит Бухарин, на днях как раз приговоренный к высшей мере.

И Петр Андреевич намекнуть взялся. Написал, что и новые стихи Мандельштама темны и холодны, — а вдобавок пахнут Пастернаком (помимо того, что каламбур вышел удачный, он еще и утешал, напоминая: незаменимых у нас нет). И для примера выписал строфу: добирайтесь, мол, до смысла сами, а я затрудняюсь:

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Поскольку это единственная цитата в его доносе, — а этот донос (или экспертное заключение, — как вам угодно) убедил Ежова и Сталина, что с Мандельштамом пора кончать, — давайте ненадолго займемся литературоведением. Вчитаемся вместе с ними в четыре роковые строки.

И нам придется признать, что будущий сталинский четырежды лауреат не оплошал — указал на главный, неизлечимый, нестерпимый порок: просто-напросто не умеет пресловутый мастер воспеть полной грудью, без задней мысли жилплощадь повешенных.

И как деликатно указал, и как смело! Другой бы не отважился. Другой вообще не дерзнул бы критиковать стихи о Сталине, — а они, конечно же, о Сталине: кто еще у нас Прометей?

Тому не быть — трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —

Но эти губы вводят прямо в суть
Эхсила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он вежа, — нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

То есть кто-нибудь другой, верхогляд и ротозей, решил бы, чего доброго, что все в порядке: психбольница и ссылка не прошли человеку даром и наконец-то он поправился и сочиняет то же, что и все, — пока что еще не совсем как все, но лиха беда начало, а навык — дело наживное. Главное — направление мысли: кого в 1933-м обозвал, говорят, кремлевским горцем — теперь античный титан, причем победитель, а не как в мифологии — узник, — и человечество драматургией труда славит его в амфитеатре всемирной, скажем, истории, отныне, разумеется, не трагичной. Взамен Страшного суда — что-то вроде нескончаемой овации на вселенском конгрессе Коминтерна... Туманно немножко, зато масштаб почти рекордный. Кто-то, правда, взял выше: про солнце прямо написал, что оно как орден у генерального секретаря на гимнастерке, — но это в Армении, кажется, и дебютант, — а тут матерый, можно сказать, акмеист перековался, — так пускай себе живет старик потихоньку, — дать ему комнату и французского какого-нибудь классика — переводить для денег...

Ведь и могло так повернуться, если бы не Петр Андреевич! Это он заметил, что сколько автор ни старался, стихи все-таки получились не о Прометее, а о коршуне — он жив и опасен — и на кого, палач желтоглазый, с выпущенными на лету когтями, похож!

Заметил и подчеркнул, — но аккуратно: кому же в здравом уме померещится такое сходство? Решайте сами, а я что? всего лишь недоумеваю.

«Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность».

Хотя вообще-то — имейте в виду — разбираюсь в этих делах, как мало кто; можно сказать, собаку съел:

«Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным!»

Ну и все. Ответсек Союза писателей переслал под грифом «совершенно секретно» отзыв Павленко наркомку внутренних дел и попросил *«помочь решить этот вопрос об О. Мандельштаме»*. Тот помог — и 27 декабря того же года поэт умер в пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком.

А вдова (еще не зная, что — вдова) писала новому наркомку: за что взяли? мастер для вас так старался! такое все дружественное сочинял! «Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста». Так до самой своей смерти и не догадалась, бедная, неистовая, — что коршун погубил Мандельштама!

Коршун — и еще какие-то аории. Наверяд ли Сталин полез в словарь за этим термином. Я искал — не нашел.

Железный колпак

Удивительная история, не правда ли? Вроде сломали, заморочили, свели с ума — совсем советский сделался человек: в последний раз влюбившись, героиню лирики — *сталинкой* с восторгом величал... А погиб из-за строчки настоящей — пал смертью поэтов.

Потому что чувство стиля совпадает с чувством чести.

В двухсотмиллионной толпе — тщедушный, нескладный, плешивый, беззубый, безумный, в седой щетине вечный подросток — последним присягнул злодею, — да и то лишь когда, заломив руки за спину, силком пригнули к жирным пальцам.

А перед тем исхитрился еще сплунуть самозванцу под ноги — точнее, прямо на сияющие голенища, — сколько силачей дородных к ним припадали в счастливых слезах...

Впрочем, у Пушкина припасен для Мандельштама сюжет еще важней — в «Борисе Годунове»: юродивый в железном колпаке; с мальчишками злыми робок, а преступного царя не боится: нельзя, — в глаза ему кричит, — нельзя молиться за царя Ирода — Богородица не велит. А бояре хором: поди прочь, дурак! схватите дурака!

Но Годунов страдал кошмарами, вообще был Ирод так себе, с комплексами; а Желтоглазый — туго знал свой маневр.

Мне известен еще только один руководитель, столь же уверенно обращавшийся с творческой интеллигенцией: Исхак ибн аль-Аббас — в 60-х годах IX века правитель Басры; точнее сказать — наместник багдадского халифа. Ну, типа секретарь обкома. Но тоже вошел в историю — благодаря победе над поэтом Дибилем (полное имя — Дибиль ибн Али ибн Разин). В то время и в тех местах Дибиль был популярней, чем Мандельштам в России, но у начальства тоже на плохом счету, — и по таким же причинам: задирает первых лиц империи хулиТЕЛЬНЫМИ стихами. А они очень долго терпели его, не трогали, наивные! — опасаясь, что он каким-нибудь экспромтом успеет перед смертью опозорить своего погубителя навеки. А самонение у него было тоже как у Мандельштама: всерьез уверял, что тексты диктует ему Аллах, и во всеуслышание похвалялся опасным своим положением; вот уже пятьдесят — шестьдесят — семьдесят лет, приговаривал он, я несу свой крест на плечах, но не нахожу никого, кто распял бы меня на нем. И лишь когда Дибилю исполнилось девяносто шесть, означенный Исхак ибн аль-Аббас опробовал на нем свое противоядие против лирики и сатиры. Вот как рассказано об этом в знаменитой старинной книге.

Как только Дибиль появился в Басре, Исхак послал своих стражников, и они схватили его. «Исхак приказал принести ковер крови и меч, чтобы отрубить голову Дибилю. Но тот стал заклинать его...» — девяносто шесть, напоминаю, — «начал умолять Исхака, целовать землю и плакать перед ним. Исхак пожалел его, но сказал:

— Даже если я пощажу тебя и оставлю в живых, то должен тебя опозорить.

Он приказал принести палку и бил его, пока тот не обделался. Тогда Исхак велел положить Дибиля на спину, открыть ему рот, наполнить калом и бить его кнутом по ногам. Он поклялся, что не отпустит Дибиля до тех пор, пока он не проглотит весь свой кал, или он скрутит его...»

Ну и так далее; не за Сталиным, как видим, приоритет; но он усовершенствовал метод и перевоспитал целую словесность; задал ей верный тон; причем почти не пользуясь кнутом: кое-кого истребил, но исключительно для острстки; заслужил свою участь, если разобраться, один только Осип Мандельштам.

Не странно ли? На площади, занявшей шестую часть земной суши, где яблоку не упасть — столько бояр и особенно стражников, — всего лишь один сыскался исполнитель на такую неперемennую древнерусскую роль — правда, трудную — в железном-то колпаке, — и кто же?

Шесть слов

Запах цветущего миндаля выветрился из фамилии. Приходило ли в голову Мандельштаму, что Луис Понсе де Леон, августинец, профессор богословия в Саламанке — его какой-нибудь, вполне возможно, прапрадед? Этот марран, четыреста с чем-то лет назад в церковных и литературных кругах довольно известный, был по проискам коллег арестован — в трибунале Вальядолидской инквизиции признал под пыткой, что «высказывал, утверждал и поддерживал множество еретических, предосудительных и скандальных мыслей и мнений», что сверх того перевел на разговорный, то есть на испанский, язык Книгу Иова и Песнь Песней... Отделался сравнительно легко: пятью годами подвала, где сочинял, между прочим, и стихи — через сорок лет после его смерти напечатанные.

Мандельштам на другом краю материка читал эзкам Петрарку — сперва итальянский текст, потом свой пе-

ревод. Иногда ему давали за это шепотку курева, кусок сахара. Предлагал всем желающим за полпайки послушать сатиру на Сталина, — желающих не находилось. Вслух грезил, что Ромен Роллан напишет о нем Сталину, — и его освободят, — лишь бы до тех пор не отравили. Кончаясь, в тифозном бреду что-то декламировал — не это ли вот?

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.
А может быть, выкрикнул — из «Египетской марки»:
— Петербург, ты отвечаешь за бедного твоего сына!

Кто-то запомнил шесть слов — будто бы Осипа Мандельштама последний текст: ЧЕРНАЯ НОЧЬ, ДУШНЫЙ БАРАК, ЖИРНЫЕ ВШИ.

Так что сбылась его мечта: он стал поэтом современности.

МЕХАНИКА ГИБЕЛИ

Есть одно место в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где фабула расходится по шву. Зияет прореха, но почти всем удается ее как бы не замечать. А место важное: окончательно разъясняется тайна судьбы главного героя — кто, по какой причине, какими средствами погубил его.

Ну, вы помните: нескончаемая ночь полнолуния. Князь тьмы ужинает при свечах в тесной компании приближенных и слуг, и Маргарита приглашена, присутствует, участвует. Вдруг застольная болтовня прерывается, запнувшись якобы невзначай за некое ненавидимое имя. Одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, — замечает небрежно и не очень-то кстати Азazelло, рыжий демон, — и совсем другое дело — ему же в сердце.

«— В сердце! — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце, — в сердце! — повторила она глухим голосом.

— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.

Азazelло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:

— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.

— Вот тебе раз! А зачем же?

— Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера».

Но спрашивали Маргариту, оказывается, вовсе не о том, и это подчеркивают, обернув окончание одной фразы — началом другой:

«— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд».

И выходит так, будто его перебили, — а ведь он на- рочно выдержал паузу, не правда ли?

Вообще — обратите внимание, хотя это несколько в стороне от нашего сюжета, — с бедной женщиной тут иг- рают. Ее испытывают. Ее, собственно говоря, искушают, — причем с изощренным коварством. Она ведь еще не пред- упреждена, что вправе просить у Воланда («потребовать, потребовать, моя донна, потребовать») чего угодно, — но только чего-то одного — «одной вещи». Это откроют ей перед следующим испытанием, а сейчас все выглядит так, что стоит Маргарите кивнуть — да просто смолчать! — и новые друзья с удовольствием и немедля исполнят жела- ние, о котором она вроде бы сама только что проговари- лась:

«— Разрешите мне, мессир, — вскричал радостно кот, вскакивая.

— Да сиди ты, — буркнул Азazelло, вставая, — я сам сейчас съезжу».

Спектакль продолжается. Никто из демонов, ясное де- ло, шагу не ступит без мановения Воланда, — ну а Воланд не шелохнется, пока Маргарита не попросит об услуге, ко- торую ей навязывают. В это мгновение участь презренного Латунского представляется решенной. Еще прошлой осе- нью Маргарита Николаевна поклялась его отравить; нынче днем впервые увидала (в похоронной процессии; блондин пепельного цвета, на патера похож), — и такая ненависть исказила ей лицо, что Азazelло улыбнулся. Нынче вече- ром побывала у него на квартире — и, наверное, убила бы молотком, если бы застала. И вот возмездие сбывается, как во сне. Отчего бы негодяю, погубившему Мастера, не по- следовать за Берлиозом и бароном Майгелем?

«— Нет! — воскликнула Маргарита, — нет, умоляю вас, мессир, не надо этого.

— Как угодно, как угодно, — ответил Воланд, а Аза- зелло сел на свое место».

Угадала ли Маргарита Николаевна подвох? Или казнить, как Пилат: чужими руками — для нее не значит отомстить? Или то, на что она в эту минуту еще надеется, нельзя омрачить убийством даже такого существа, как советский литературный критик?

Так или иначе — приговор не исполнен. И возможно, благодаря этому — вместо этого — исполняется мечта Маргариты о встрече с ее обожаемым Мастером.

Но это — в скобках. Сейчас гораздо важнее тот факт, что хотя казнь Латунского отменена (или отложена), в его вине никто не усомнится на данной странице. Еще бы! Правдивейший свидетель произнес отчетливо: вот кто погубил Мастера, — и самый знающий из экспертов не только не возразил, но даже вроде бы выказал готовность посодействовать исполнению возмездия. Да разве мы сами не догадывались и прежде, что избирательная, прицельная ненависть Маргариты к одному из мерзкой стаи так называемых критиков, затравивших ее друга, имеет основание — пусть невидимое для нас, но прочное? То ли ей каким-то образом удалось (как-никак, супруга советского вельможи) выведать тайну следствия, и она положительно знает: навел ГПУ—НКВД на Мастера именно автор статьи «Воинствующий старообрядец». То ли эта статья была такого рода и такого калибра, уж настолько из ряда вон — не обычный донос, как все остальные отклики на публикацию фрагмента из романа о Пилате, но как бы и ордер на арест, — что сам факт существования статьи полностью объяснял исчезновение Мастера.

В любом случае — у нас нет, не было, а теперь, после только что состоявшегося разговора с Воландом, и быть не может ни малейших сомнений в справедливости подозрений Маргариты. И когда ее пропавший друг, этот вчерашний счастливчик (выигрыш стотысячный, в любви взаимность, и сочинил шедевр), когда он является на сцену в больничном халате, и гримасничает, скалясь, и смотрит в пол тусклыми, как и голос, глазами — а Воланд замечает словно бы про себя: «Да, его хорошо отделали», —

о, как в эту минуту мы понимаем и разделяем гадливую ненависть Маргариты к проклятому Латунскому: ведь сломали Мастера и до неизлечимой психической болезни довели в тюрьме, — а в тюрьму его спровадил кто — разве не Латунский?

Но тут же, буквально на следующей странице оказывается, что — нет. Не Латунский.

С потолка обрушивается, как все помнят, некий гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руке и в кепке, — и сюжет стремительно отбегает назад по новой, только что открытой колее.

«— Могарыч? — спросил Азazelло у свалившегося с неба.

— Алоизий Могарыч, — ответил тот, дрожа.

— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азazelло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнусавил Азazelло...»

Разве эти вопросы и эти слезы взамен ответа и памятный опять-таки всем лепет обвиняемого насчет расходов на побелку и купорос («Я ванну пристроил...») — разве не дают они исчерпывающей разгадки дела Мастера? Демоны не ошибаются, к тому же признание, как всем современникам Булгакова было известно, — царица доказательств. Вот и Маргарита Николаевна, ни секунды не колеблясь, бросается на уличенного стукача. Стало быть, новая версия ее судьбы (и фабулы романа) — версия Азazelло — убеждает ее сразу, неотразимо. Да еще — переубеждает: ведь за мгновение до этого порыва она совсем по-другому понимала ход событий; а с нею заодно — и мы.

Не этот ли самый Азazelло — часа не прошло — вызвался отомстить за невзгоды Мастера совсем другому

злодею? Подбивал согласиться на убийство, — и мы почти сочувствовали, — а теперь выходит, что вина того злодея — косвенная и даже нечаянная.

Какой бы гадкой ни была пресловутая статья Латунского, все равно — цели-то она, стало быть, не достигла: власти — кто бы мог подумать — не обратили на нее внимания. Не придали навету такой важности, чтобы действовать немедленно. А что среди читателей найдется субъект, который кой-какими сведениями из статьи воспользуется в сугубо личных целях, — навряд ли это входило в расчеты ее сочинителя.

То есть что же получается: убийца промахнулся, но от звука выстрела камень сорвался со скалы и рухнул на голову жертве. Латунский оказывается в этом деле всего лишь невольным пособником афериста, и вовсе не за роман о Понтии Пилате заплатился несчастный Мастер — при чем тут роман? — а просто подвал, где роман сочинен и сожжен, представился гражданину Могарычу лакомым кусочком.

Внезапно ли осенила гражданина Могарыча такая идея — улучшить свои обстоятельства за счет писателя, ошельмованного газетной статьей, обреченного, скользящего в бездну: незаметный пинок, и поминай как звали писателя, жилплощадь свободна?

Надо ли так понимать, что в один прекрасный сентябрьский день один неблагоустроенный, но предприимчивый обыватель развернул газету, наткнулся на зловеще-соблазнительный заголовок, вник в материал, в свете употребленных формулировок оценил положение Мастера и виды на его ближайшее будущее — да и подумал вдруг: а не разузнать ли адрес этого бедняги? не осмотреть ли помещение?

Или же наоборот — давным-давно обдумал Могарыч свой маневр и только дожидался верного шанса, вполне беззащитной жертвы? Убийственные статьи в газетах шли одна за другой, поверхность идеологии клокотала, а зоркий Могарыч реял над нею, парил, держался на кры-

ле... Не польстился на квартиру Шостаковича («Сум-бур вместо музыки»), не удостоил взглядом апартаменты Довженко («Грубая схема вместо исторической правды»), не тронул Пастернака («Охранная грамота идеализма»), побрезговал Булгаковым («Внешний блеск и фальшивое содержание»)... Все приманки обошел, самые аппетитные (о партийцах, чекистах, военных — и говорить не стоит). Должно быть, так рассуждал, что на кой ляд ему, извините, лица известные, с жилплощадью наверняка чересчур обширной, вольному хищнику не по зубам, — другие наследники настороже, тех паркетов и понюхать не дадут, — а нужен безвестный одинокий новичок, рыбешка мелкая: вот блеснет такая в пучине — тут Могарыч стремглав из поднебесья и кинется. Первым делом — в адресный стол, затем смотрины, пара визитов для укрепления знакомства, — и останется только оформить сигнал да прогуляться в магазин за купоросом и белилами.

В том и в другом случае — по наитию ли действовал подлый Могарыч, по заветному ли плану, взлелеянному бессонными ночами, — эта версия, версия Азazelло, выглядит, если подумать, крайне неправдоподобной, даже несмотря на то, что сам обвиняемый, плача, ее подтверждает.

Теоретический расчет хорош, по-своему элегантен, однако совсем упущено из виду важное затруднение, подстерегавшее соискателя именно в данном конкретном случае. Имелось препятствие, на которое демону-то плевать, но советскому человеку оно бросилось бы в глаза, причем советский человек расценил бы его как непреодолимое, сразу сообразив, что квартиру Мастера заполучить в награду за донос — трудней, чем любую другую, практически невозможно. Если бы у Могарыча действительно было такое намерение, — он от этих двух комнат с прихожей отступился бы тотчас после первой рекогносцировки на местности. Похоже ли на Могарыча — человека, бесспорно, советского, — чтобы он сознательно пошел на огромный, быть может, смертельный риск ради выгоды более чем сомнительной, почти призрачной? Или мы

должны предположить, что он, словно какой-нибудь Германн из оперы «Пиковая дама», обдернулся: зная верную карту, поставил по неведомой причине — по роковой ошибке — на другую? Бесстрашный, безрассудный Могарыч... Но как же нас уверяют, будто он еще и выиграл? Банкомет, коего будто бы вздумал он пощипать, никак не допустил бы такого расклада.

Мы упомянули о риске. Тут много распространять нечего. Донос — орудие обоюдоострое, особо опасное в эпоху террора, и пример Тимофея Квасцова из дома 302-бис по Садовой — у всех перед глазами. Вопреки обывательским предрассудкам, органы не обожают непрошенных подсказчиков с улицы. Одно дело — когда человек по первому требованию сдает государству родную, например, мать: тут мотив ясен, — и совсем другое, когда посторонний проходимец неизвестно с какой стати суется куда не просят: органы способны буквально закамнеть от одного подозрения, что какой-нибудь Алоизий желает их употребить для удовлетворения своих пошлых естественных потребностей — скажем, для приращения жилплощади.

Да еще сюжет такой скользкий. Стукнуть, что знакомый хранит у себя запрещенную литературу, — прием хоть избитый, но сработает безотказно, — а вот поди-ка докажи, если вдруг поинтересуются, что водился ты с этим врагом народа из чистой бдительности, что текст идейно порочный лишь пробежал глазами, да и то через силу, превозмогая отвращение, исключительно ради того, чтобы сигнал получился полновзвучный, — а сам ничегошеньки не понял, не запомнил, невинность осталась неприкосновенной...

Сказать по правде, и план, якобы осуществленный Могарычом, — этот хваленый коварный план тоже не очень-то надежен. Мало ли кого распинают в газете, это не обязательно означает, что дни распятого сочтены (того же Булгакова, как известно, казнили этим способом десятки, сотни раз); но уж если объект критики в самом деле об-

речен, то искать с ним знакомства — безумие: вдруг возьмут его раньше, чем получат твой донос? тут как бы самому не загреметь.

Словом, риск был — несомненный, неизбежный, — и Могарыч знал о нем не хуже нас с вами.

Теперь о выгоде. Столь же несомненно — и Могарыч это знал еще лучше, чем мы, — что бесчисленные его современники — недалекие предки нынешних советских горожан (а также, само собой, — крестьян и казаков) подвергали себя подобному риску охотно и добивались успеха.

Вдумаемся, однако же: кому и какую жилплощадь дозволялось отнимать таким манером — подстроив арест владельца?

Вот пример, очень близкий к занимающему нас казусу. В конце 1935 года некий Мамович-Дымшиц, зять молодого писателя Григория Белых, огорченный тем, что «приходится нести большую часть расходов по оплате жилплощади и коммунальных услуг», — это его собственные слова в протоколе допроса, — так вот, огорченный Мамович-Дымшиц стащил у шурина со стола непочтительный стишок о товарище Сталине и отволоч в Большой Дом (дело было в Ленинграде). И очень скоро — не знаю, впрочем, надолго ли, — жилплощадь, столь неаккуратно оплачиваемая одним из авторов «Республики Шкид», очистилась.

Это сделано грамотно. Никаких комбинаций, мат в один ход. Почти никаких формальностей: увели соседа — вселяйся в его комнату, — ублажив разве что управдома. Отсюда и успех — правда, не исключено, что временный. Залог удачи — в характеристике отчуждаемой жилплощади, то есть в надлежащем уровне притязаний. На кого мог по-настоящему рассчитывать простой советский обыватель? Только на ближайших соседей. Сплавил одного — комната, сплавил другого и остался в квартире один — твое счастье, блаженствуй, покуда цел, пристраивай ванну.

А вот явиться на готовенькое, захватить одним рывком отдельную квартиру только на том основании, что ты погубил ее обитателей, — такая горячность в рядовых гражданах не приветствовалась. Были предусмотрены даже

юридические препятствия. С точки зрения закона о прописке далеко не все равно — выправить новый лицевой счет (как тогда говорили — жировку), о чем и хлопотал вышеупомянутый Мамович-Дымшиц, или же выдать новый ордер. Это акты разной важности (как, скажем, удочерить сироту — совсем не то что жениться на чужой невесте), и полномочий управдома или, там, председателя жилтоварищества — явно недостаточно. Требуется согласие учреждения, опекавшего искомую квартиру. Но органы растут быстрее, чем освобождаются квартиры, и штатным-то сотрудникам, бывает, негде преклонить голову. С какой же это радости стали бы они потворствовать неумеренным вождениям какого-то Могарыча? Каждому самодеятельному осведомителю за каждого арестованного платить ордером на квартиру — Москвы не хватило бы.

Это не абстрактные рассуждения, это многожды засвидетельствованный факт: жилища жертв доставались, как правило, чекистам. Мало-мальски благоустроенные — практически всегда.

Мне скажут: не бывает правил без исключений. Мне скажут: с чего вы взяли, будто Могарыч — самодеятельный? Может быть, он не простой стукач, а сексот?

Это как раз более чем вероятно, и мы очень скоро к этому вопросу перейдем, но вот в чем соль: будь этот распостылый Могарыч хоть трижды энкавэдэшник, все равно квартирой Мастера ни за какие заслуги наградить его не могли. Потому что эти комнаты в полуподвале были — частное владение.

Ведь Мастер нанимал квартиру у арендатора — у кого-то из «немногочисленной группы жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве». И пока этого арендатора или как его — застройщика — не разъяснили, ему за каждый квадратный аршин полагалась плата, причем высокая, отнюдь не по государственным расценкам. Вспомните: если бы не лотерейный выигрыш, нипочем бы Мастеру не посчастливилось поселиться у застройщика. Из девяноста истраченных тысяч львиная доля, конечно же, ушла в уплату за подвал.

Вот теперь и спрашивается: благоразумно ли было бы со стороны Могарыча (до чего надоело мне это скверное имя!) — добывать доносом эту, именно эту квартиру? Никакого повода предполагать, что застройщика заберут вместе с Мастером, а дом конфискуют, явно не было, и действительно — ничего подобного в пределах романа не произошло. Ну а ежели гад надеялся, что НКВД, ценя его заслуги, внесет арендатору квартплату или принудит арендатора предоставить ему комнаты даром, — то, во-первых, это самая настоящая маниловщина (а гад смахивает скорее на Чичикова), во-вторых же — при чем тут злополучный Мастер? В частном-то секторе свободная жилплощадь имелась: Булгаков, к примеру, сменил несколько наемных квартир. Были бы деньги. Да и сам-то Могарыч (тьфу ты, опять попал на язык!) — кто его знает, может, и не соврал Мастеру, будто проживает неподалеку примерно в такой же квартирке. Но если и соврал — все равно, прямой и соразмерной риску выгоды донос ему не обещал. Не тот случай.

Так разлетается на куски версия Азazelло. Кто бы ни сочинил донос на Мастера, — сделано это было не для того, чтобы присвоить его комнаты. Такой мотив просто-напросто не имел смысла. Значит, и Азazelло, приписывая его полуголому в кепке, и сам этот полуголый, раскаиваясь, — оба лгут. Играют.

Впрочем, есть еще одна вероятность. Допустим, деньги у гада были. Но собственное жилье ему обрыдло. И он с первого взгляда влюбился в квартиру Мастера, да так яростно, что решил выжить его любой ценой. Тогда непонятно, при чем статья Латунского. Разве что — такое объяснение: гад уже давно мечтал поселиться в квартире, где прежде, до него, жил человек, лично им загубленный... Но согласитесь, что это уж слишком. Как ни противен Алоизий, а все-таки на утонченного маньяка николько не похож.

Тогда, выходит, не он погубил Мастера. А если все-таки он, то не из личной корысти. И если даже была личная корысть, то совсем иного рода, чем та, что ему с его же согласия вменена.

И ничего больше нам не узнать ни от демона, ни от мерзавца.

Но остается версия самого Мастера.

Позволим себе некоторое, что ли, примечание.

Это слово: мастер — в романе Булгакова пишется повсюду с маленькой буквы — со строчной, хотя заменяет герою имя. Интимное прозвище — тайный титул — фантазия благоговейщей женщины: «Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером».

Какой смысл придавала Маргарита Николаевна этому слову?

Можно допустить, например, что она читала «Темы и вариации» — книгу Пастернака (1929), там есть такое обращение — к Шекспиру! — «гений и мастер». У Пастернака это явно не синонимы, скорей — слагаемые; величины одного порядка и не противоположные по знаку, отнюдь. Пушкинская антитеза отменена: мастер — тот, кто знает, как распорядиться своим гением, чтобы стать Шекспиром — или Моцартом — великим художником.

Театральный, закулисный оттенок слова, отзвук обычаев гильдии: мастер — хозяин, и учитель, и чудодей — в стихотворении о Шекспире, само собой, тоже внятен, особенно — автору пьесы о Мольере (в которой, однако, драматурга величают по-другому: «мэтр»; зато в прозаической биографии: «Но ты, о мой бедный, окровавленный мастер»...).

Но возлюбленный Маргариты Николаевны пишет не для театра, не о театре, и сама она как будто не возвращается в литературно-художественных кругах (и это жаль: разбирайся она в обстановке, не сулила бы славу так настойчиво). Да хоть бы и вращалась. Из разговоров людей этой среды она усвоила бы, что мастером именуется умелый художник, до тонкостей овладевший приемами своего искусства. После 1925 года, когда ЦК ВКП(б) в специальной резолюции предложил писателям: «используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам», — опре-

деление «мастер» не считалось ироническим, а уж бранным, как «интеллигент», — и подавно, дрейфуя потихоньку параллельным курсом с уничижительным «спецом» к одобрителю «специалисту». Еще несколько лет хороший тон предписывал, однако, подпускать в голос некоторую толику великодушного снисхождения, как бы согласия на презумпцию невиновности: речь шла о существовании с ограниченной политической годностью, почти всегда — о попутчике, но признаем — партии видней, — что не всякий попутчик смотрит в лес, а превосходный почерк — этого не отнимешь, но можно и должно перенять.

Положительная окраска слова со временем делалась гуще, особенно усиливаясь в тех случаях, когда полагалось — приличия ради — проявить объективный подход: в публичных доносах, в некрологах и в жанрах промежуточных. Действовал, например, такой критик — М. Майгель, — подозрительно похожий, говорят, на барона Майгеля; и с органами состоял в связи, пока смрадная пучина его не поглотила. Так вот — статью свою об Андрее Платонове он озаглавил, само собой: «Ошибки мастера» (1930). В том же году газета «Правда» по случаю самоубийства Маяковского продекларировала с масонским отчасти проносом: «...Умер мастер писательского цеха, неутомимый каменщик социалистической стройки». Сам товарищ Сталин в телефонном разговоре (1934) попытался у автора стихов о Шекспире, отчего недостаточно горячо просит за арестованного Мандельштама:

— Ведь он же мастер? Мастер?

Не брезговал, стало быть, этим словом. К середине 1930-х оно было вчистую реабилитировано. Из окружающего пространства неумолчно доносилось: с кем вы, мастера культуры? колхозные мастера высоких урожаев... мастера художественного слова читают стихи о товарище Сталине... И звание мастера спорта учреждено (1935)...

Короче говоря, общепринятое значение слова утвердилось — и словарь Ушакова (1938) его закрепил: *«МАСТЕР — специалист, достигший высокого умения, искусства, мастерства в какой-н. области. В этой картине чувствуется*

рука мастера. Мастера современной литературы. Мастер отбойного молотка...»

Совершенно очевидно, что Маргарита Николаевна нашла это слово в каком-то другом, далеком от Ушакова измерении. Награждая возлюбленного потайным прозвищем, она вовсе не то имела в виду, что он замечательно владеет слогом, не квалификацию его литературную, — но степень посвященности в страшно важную тайну. Все же видят: она догадалась — или, лучше, заподозрила, что ее друг — не просто писатель, хоть бы и выдающийся; что так называемый роман о Понтии Пилате — нечто большее, чем роман, а едва ли не тождествен свидетельству очевидца, как будто явленная в нем реальность не сотворена воображением, но воссоздана какой-то вечной — не личной — памятью. Ее Мастер не сочиняет прошлое, а записывает открытое ему неубывающее, бесконечное настоящее. Какой же он писатель?

«— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел в лице и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

— Я — мастер, — он сделался суров...»

В сущности, он только двумя страницами раньше уверился в этом окончательно: когда сосед по сумасшедшему дому пересказал ему повествование дьявола о евангельских событиях — и он узнал главу из собственного, собственноручно сожженного романа.

«— О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Видно, в глубине души сомневался — нет, не в том, что роман хорош, а в том, что не выдумал ничего, кроме правды.

А Маргарита как будто и не сомневалась.

(Как знать: продлись еще их жизнь — обоим пришлось бы, пожалуй, сдаться, разувериться, позабыть. Но тут в романе, окружающем роман Мастера, показался Воланд и прислал за любовниками черных коней, — и все подтвердилось, и жизнь кончилась.)

Но как же так? Получается, что Маргарита Николаевна — светская — советская — дама, супруга высокопо-

ставленного мастера инженерной мысли — сама открыла в общеупотребительном слове значение, идущее вразрез одобренному партией смыслу?

Неужто она не знала, что двое ее современников, двое писателей, тоже экспериментировали с этим словом?

В 1929 году Михаил Булгаков начал роман о дьяволе, — и спутники злого духа, принявшего в романе имя Воланда, обращались к своему повелителю именно так:

«— Виноват, мастер, я здесь ни при чем...»

В том же 1929-м Андрей Платонов опубликовал свою повесть «Происхождение мастера» (мало кто знал тогда, что это как бы пролог невозможного для печати романа «Чевенгур»). Главным героем и тут предполагался не деятель искусств, не писатель. В понимании Платонова мастер — это скромный, но высококвалифицированный специалист жизни — практический труженик истории — наладчик ее, механик, машинист. Природа и народ рвутся к освобождению от унижительных тягот бытия — к настоящему, всеобщему, вселенскому социализму, и он восторжествует, как только мастера воплотят всю эту тоску и всю исцеляющую от нее свободу — в работу умных машин, устроенных по чертежам непобедимой науки. Пока что такие мастера — наперечет, но они — соль земли. Именно они, эти невидимые миру коммунисты — а не демагоги или, там, художники — занимаются истинным творчеством: создают будущее — светлое и вечное.

Эта идея увлекала Платонова всю жизнь. В конце 1930-х рассказом «В прекрасном и яростном мире» он продвинул ее еще вперед — и оказалось, что между первоклассным механиком и первоклассным художником нет различия; в их деле и участии все решают вдохновение и рок:

«Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним...»

Почти в одно время с Платоновым и Булгаков сделал новый шаг, продумав заново свою концепцию. Один из эпизодов его пьесы о Сталине — «Батум» — в черновой редакции озаглавлен: «Мастер».

Значит, была по крайней мере одна такая минута, когда Булгаков едва не решился зачеркнуть в своем неоконченном, но любимом романе очень многое: с 1934 года герой романа звался Мастером, а в ноябре 1937-го вспыхнуло — и казалось уже, что навсегда, — и наименование всей вещи.

Но дело не в цене, а в том, что общего между Воландом, Сталиным и любовником Маргариты.

По-видимому, центр этого неравнобедренного треугольника — мысль, близкая к платоновской: в истории участвует некто, затмевающий художника. Но это, разумеется, не машинист сцены, а режиссер-постановщик событий, по сути — соавтор Необходимости. Художнику дано чувствовать таинственный смысл человеческой жизни, дано высказать это свое чувство. Мастеру дано — тайну знать. И поручено воспользоваться знанием как властью — или погибнуть.

Эта мысль совместилась с мифологемой, витавшей в воздухе эпохи.

Лучшие художники — кто шепотом, кто тенором, кто искренне, кто лукаво, но все в унисон воспевали свою счастливую участь: приобщиться к бесконечно малым, променять авторское право на обязанность персонажа, на место в пешечном строю.

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором, —

заклинал Осип Мандельштам, сведя уже знакомство с тюремной камерой и палатой психбольницы (1937).

В искренности таких слов, освобождающе низкой, точно вздох оргазма, вынужденного насилием, мерцал величавый призрак, непостижимо прекрасный, но с челове-

ским родным лицом. В его слепящих очертаниях угадывались трогательные земные приметы — и какое же было счастье: знать наверняка, что эта огромная, бессмертная личность пребывает в реальности, даже соглашается — ради современников — подвергать себя действию каких-то смешных законов природы, вплоть до того, что разрешает разным поверхностям отражать звук:

Но он остался человеком, —

сквозь слезы умиления настаивал Пастернак (1936) —

И если, зайцу вперерез,
Пальнет зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.

Какое же имя Ему после этого под стать? Гений — в данном случае неполное слово, гениален бывает и философ, и поэт, — а в одной галактике с Ним, при одной мысли о Нем самый большой художник чувствует себя беспомощной девы гарема, трепещущей от подступающего восторга:

И этим гением поступка —

вот это хорошо. Гений поступка. Хорошо. —

Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, точно губка,
Любою из его примет.

Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал...

Противостоять обаянию такого беззаветного безумия — должно быть, невозможно...

Имеется немало свидетельств, что Булгаков, именуя мастером того, чьим внутренним голосом озвучено в каждый данный момент устремление человеческой истории к ее невидимому, но явственному смыслу, — считал таким себя. В мечтах он добровольно уступал Сталину эту роль, самоотверженно соглашаясь ограничиться уделом

художника. Разве не вправе он был надеяться, что жертва будет оценена, что рано или поздно у Принца достанет благородства обласкать Нищего?

Вы несете для нас королевское бремя.

Я, комедиант, ничтожная роль.

Но я славен уж тем, что играл в твоё время,
Людовик!.. Великий!..

Французский!!!

Король!!!

В те самые дни, когда Булгаков раздумывал: не возвести ли гения поступка в сан мастера, Надежда Мандельштам трудилась над заявлением в органы. Отчаянно и бесстрашно заступалась за мужа, арестованного вторично и навсегда, не зная, что он уже три недели как зарыт в общей яме за оградой лагеря. В частности, она советовала соратнику вождя — товарищу Берии: «...проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.

И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожить поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности».

Это было отступление. Воротимся к сюжету.

Если Мастер и назвал виновника постигшей его катастрофы, то одному лишь Ивану Бездомному — причем шепотом, на ухо, по секрету от нас и даже от автора, — такой вот прием.

Но кое-что в его рассказе намекает на истинный ход событий — и не вяжется с примитивной гипотезой Алоизия — Азазелло, с гипотезой жилищно-бытового доноса. Прежде всего — сам Алоизий не вяжется.

Недаром в покоях сатаны Мастер ведет себя так, словно предьявленного ему очумелого выжигу в кальсонах и в кепке — видит впервые. Этот Могарыч действительно не имеет ничего общего с его другом Алоизием — обаятельным журналистом, о котором не далее как прошед-

шей ночью в клинике Стравинского было сказано: «Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем». До того понравился, добавим от себя, что уговорил Мастера прочитать ему роман о Понтии Пилате — и дослушал весь, от корки до корки, тем самым выказав гражданское мужество или, по крайней мере, неподдельную, как и предполагал Мастер, страсть к художественной литературе.

Ведь чтения эти шли под непрерывный аккомпанемент политической анафемы, со всех амвонов отлучавшей роман и автора от государственного образа мыслей.

По этому поводу в клинике Стравинского тоже обронено как бы мимоходом и ненароком несколько слов, приоткрывающих подоплеку сгубившей Мастера интриги — верней, распорядок действий.

Вот это место:

«Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха».

Темные, многозначительные фразы. О смысле оставалось бы только гадать, если бы Мастер не пережил чего-то подобного в другом эпизоде, ближе к концу:

«Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. „Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением“, — думал мастер.

Наблюдательность его ему не изменила».

Как мы помним, поручение, данное демону, состояло в том, чтобы умертвить Мастера и его подругу. В мыслях Азазелло они оба уже кончились. Обращаться с ним

и с нею, как с живыми людьми, значило притворяться (какой бы ни предстоял эпилог).

Очевидно, что и в газетных инвективах фальшь тоже не померещилась Мастеру, и означала она, внезапно проступив, то же самое: что с определенного момента он в неминуемой опасности, а скорее всего приговорен, и тратить на него слова и время нелепо.

Не исключено, что Мастер различил эту мучительно-тревожную фальшивую ноту с опозданием, что она звучала и в самых первых, будто бы потешавших его рецензиях Аримана, Лавровича, Латунского, еще какого-то Н. Э.

Но остается фактом: дуновение опасности — истолкованное как приступ необъяснимого страха — Мастер почувствовал в те самые дни, когда у него завелся друг по имени Алоизий: «...прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство...»

Можно ли сомневаться, что совпадение не случайное? Что в эти осенние дни никто из чужих, кроме штатного сексота, ни за какие коврижки, ни ради самой шикарной в мире ванной комнаты не решился бы добровольно, без приказа, чаевничать с Мастером и слушать его роман.

Мастера странная аранжировка газетного лая удивила, — судя по всему, прежде он читал газеты не часто, — но сведущий современник, уловив подобную пугающую странность, смекнул бы, что решение о Мастере принято, и решение беспощадное, и принято на такой высоте, до которой сигналы заурядных сексотов, даже самых обаятельных, — не доносятся.

Консилиум состоялся, день операции назначен, а дело сексота — пока пациенту прописан амбулаторный режим, навещать его на дому, заполнять историю болезни...

Кстати, о болезни. Мастер определенно старается внушить соседу по сумасшедшему дому, что заболел еще до ареста и что, в сущности, не тюрьма его сломила, а душевный недуг, развившийся под влиянием несправедливых нападок на его первую публикацию. Даже можно бы-

ло бы заподозрить, что кой-какие обстоятельства — изложенные, кстати, скороговоркой — словно нарочно придуманы для того, чтобы подчеркнуть безукоризненную работу органов: да, забрали, проверяя сигнал, — но, установив невиновность, тотчас — через полгода — отпустили, ну а в клинику Мастер явился по собственному желанию, и тут ему уютней, чем где бы то ни было... Можно было бы заподозрить — если бы не лицо Мастера, когда неслышным шепотом он рассказывает Иванушке про свой арест и заключение:

«Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость».

Тут нельзя не припомнить, что сделали на первых же допросах с Мандельштамом, Заболоцким, Бенедиктом Лившицем, Хармсом... Палачи, подобно красавицам, шутя сводят поэтов с ума.

Но вслух заявлено: «стадия психического заболевания» наступила еще за неделю, а то и за две недели до ареста — недаром встревоженная Маргарита Николаевна умоляла бросить все и уехать на юг. (Правда, тут же, в скобках, вскользь: «...что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю».) По сути дела, нам сообщают, что тюрьма тюрьмой, донос доносом, а сокрушил Мастера самый первый удар — удар критики.

Вполне ли правдоподобно? Какие-то две-три недели оскорблений и угроз — и все, и помешался? А как же другие писатели: Ахматова, Пастернак, Булгаков и еще очень многие — разве не годами, не десятилетиями у позорного столба выстрадали они свои неврозы и мании? Две дюжины разносных — доносных — статей, подумаешь! Разве Булгаков не вклеил в специальный альбом штук триста?

Возможно ли в короткий срок заплевать человека на смерть? Даже ядовитая слюна убивает лишь при укусе или — отвратительная мысль — при поцелуе, а партийно-полицейская критика слишком бездарна, чтобы принимать ее так близко.

Но дело в том, что бездарность была пафосом этой критики, символом ее пламенной веры, ее идеалом, ее

правдой. Чью бы то ни было одаренность эта критика воспринимала как личную обиду и как чужую вину, как социальную несправедливость, как поругание равенства, — и обличала виновных, невзирая на лица, и беспретветно требовала во имя общего блага, чтобы виновные исправились — или перестали существовать. Это было исполнено в течение двух первых пятилеток, а потом и от самих неистовых уравнивателей потребовали того же, большую их часть истребили, а усмирённой ими литературе заменили продразверстку продналогом, — и раб судьбу благословил, как видно хотя бы из цитированных выше стихов Пастернака о гении поступка. Любопытно, что стихи эти ещё двадцать лет спустя умиляли их автора: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон», — а о критике тогдашней, которая ведь ничего другого, кроме таких именно попыток, от него и не хотела, Пастернак в том же 1936-м отзывался (в частном письме) с необыкновенным высокомерием: «Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием у них выбора, то есть убожеством своих умственных ресурсов...» Высокомерие это — наигранное: ничтожества не знали, что они несчастны, а стиль и дух эпохи понимали не хуже, чем некоторые другие, и забыть умели сами кого угодно.

Голосом этой критики общество бездарных стыдило художника за то, что он отличается от остальных — от всех, — причём в худшую сторону и всем остальным в ущерб, — и убеждало, что он заслужил ожидающее его суровое наказание. «Он у нас оригинален, ибо мыслит, — злорадно негодуя, кричала партия государству, как в скверном сне передразнивая благородные слова Пушкина о Баратынском формулой доноса. — Он мыслит — возьми его!» — «Он был бы оригинален и везде, — с брезгливой, мрачной злобой откликлось государство, — в самом деле, пора ударить, и крепко...»

Отвергнуть такое обвинение мало-мальски самолюбивому писателю нелегко, — а пренебречь им или дерзко принять в похвалу способен разве лишь тот, кто верит одному себе, — или тот, в кого верит, кроме любящей женщины, хоть кто-нибудь еще. Но как пренебречь угрозой насилия, видением чужих жестоких рук, — даже тому, кто не мечтал о прижизненной славе? А тому, кто мечтал?

Леонид Добычин тоже был Мастер (и тоже безвестный). В частности, он умел так расположить сказуемое за подлежащим, чтобы самое простое предложение (он писал простыми предложениями) казалось глубже своего повествовательного смысла. Его книгу «Город Эн» обсуждали в 1936 году в ленинградском Союзе писателей, пытаясь помягче, подходчивей толковать самонадеянному автору, что он пишет не как другие только потому, что является вредным ничтожеством. Результат превзошел ожидания: не вытерпев и трех часов экзекуции, Добычин встал и молча вышел из зала. Считается, что больше никто никогда нигде не видел его ни живым, ни мертвым. Считается, что он покончил с собой в припадке безумия. Где и каким способом — неизвестно.

Наш Мастер до самоубийства не дошел. Возможно — благодаря аресту (впрочем, нет полной уверенности, что Добычину не успели оказать такую же услугу). Так кто же предложил проявить заботу о больном, отчаявшемся биографе Пилата Понтийского? Алоизий Могарыч, как явствует из рассказа самого Мастера, отпадает (имеется в виду знакомец Мастера, сексот, однофамилец и тезка стукача): исполнитель, приставленный на этапе оперативной разработки. Кто остается? Мастер называет имена еще троих недругов: Ариман, Лаврович, Латунский. Все трое — члены редколлегии журнала, отказавшегося напечатать роман Мастера. Все трое не замедлили откликнуться на газетную публикацию отрывка из романа — злобными рецензиями-доносами. Четвертый — Н. Э. — фигура без очертаний. Прочие, совсем безымянные рецензенты в счет не

идут, если верно предположение, что арест Мастера был санкционирован раньше, чем они представили свои статьи. (А если такое предположение неверно, то наводчиком, значит, мог оказаться любой из безымянных неизвестных: на этом пути задача не имеет — и даже не допускает — решения.)

Из четверых (считая таинственного Н. Э.) наиболее перспективной кандидатурой представляется, конечно, Латунский, как автор самой злостной и бессовестной из всех клевет на Мастера. Название его статьи говорит само за себя: Мастеру приписывается религиозная пропаганда, причем в особо опасной форме, чуть ли не с применением силы. А на дворе — пятилетка безбожника, или борьбы с религией, или как там она еще называлась, — и конца ей не предвиделось. Потрясающий негодяй был этот Латунский.

Так что же — может быть, впрямь — как и думала Маргарита Николаевна: прочли эту статью в очень серьезном учреждении, поверили измышлениям Латунского, да и поручили непосредственному начальнику Могарычсексота принять необходимые меры, обезвредить воинствующего старообрядца?

Схема выглядит безупречной, а на самом деле имеет изъян: она не соответствует реальной практике Большого террора — его, с позволения сказать, обычаям.

Печатный донос далеко не всегда, скорее — очень редко принимался органами как руководство к действию. Этого даже по теории не полагалось — вернее, только в официальной, к обывателю обращенной теории могло считаться вероятным и даже обязательным, — чтобы общественность в лице прессы вмешивалась в работу органов. У нас не Англия, знаете ли, у нас другая традиция. Перемена политического строя лишь углубила ее. За всю историю царской империи не припомнить, кажется, такого случая, чтобы человека взяли по печатному доносу. И в советское время печатный, да любой публичный (скажем, устный — на каком-либо собрании) донос — часто предвещал арест, часто служил предлогом для ареста, — но

причиной ареста как мог бы он сделаться, если к публикации-то позволяли его не иначе как согласовав с адресатом?

Тайный донос — дело другое. Тайный, на личный страх и риск — этот акт интимного общения с органами расценивался властью гораздо выше. А небывалый расцвет публичного доноса приветствовался для устрашения врагов, для утешения обывателей — вообще ради оживления общественной жизни.

Кто же стал бы принимать всерьез хотя бы вот эти — даже по названию не слабей статьи Латунского — актуальные и сегодня стихи В. Маяковского: «Лицо классового врага» (1928)?

Миллионом набит карман его,
а не прежним
советским «лимоном».
Он мечтает
узреть Романова...
Не Второго —
а Пантелеймона.
На ложу
в окно
театральных касс
тыкая ногтем лаковым,
он
дает
социальный заказ
на «Дни Турбиных» —
Булгаковым...

Пьесу действительно скоро сняли с репертуара — но, уж конечно, не для того, чтобы потрафить горлану. Тайная полиция располагала (выше упомянуто) тремя сотнями посвященных Булгакову прозаических произведений точно такого же содержания, — да и на Пантелеймона Романова, будьте уверены, кое-что имелось, — а о самом Маяковском некто Ермилов, например, — разве менее целеустремленно или тише сигнализировал? Но ведь никого из них пальцем не тронули. На этот счет имелись другие

планы — утвержденные или прямо составленные там же, где одобрялись к печати доносы. Маяковский, наверное, это знал, в противном случае выглядело бы бестактностью (которой никто бы не допустил) — во весь голос указывать — кому! да еще в рифму! — на якобы излишнюю снисходительность. Знал и Булгаков — иначе его жалоба на исклевавших ему печень критиков, адресованная правительству, могла бы сама считаться доносом, причем — тайным.

Тут еще надо иметь в виду, что в государстве, где то ли полиция — служанка мифологии, то ли наоборот, — всякое правдивое высказывание по существу является доносом или может быть использовано как таковой. Соответственно донос — наряду с любовной лирикой — остается единственным жанром, где лгать не обязательно. Вот Л. Авербах доносил в газетной статье, что главная тема рассказов Булгакова — «удручающая бессмыслица, путанность и ничтожность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество...» Чистая правда, но какая подлость. Авербаха позже расстреляли — но не за эту статью и вообще не за статьи, а впрочем — кто знает?

Опять-таки — нет правил без исключений. Обычно не сажали по печатному доносу, а с Мастером могли и оскормиться. И потом — кто мешал тому же Латунскому подать одновременно два доноса (или один и тот же, но в двух экземплярах)? Допустим, что в виде исключения — то есть как бы признав косвенно свой недосмотр — могли посадить и по печатному. В этом случае первотолчком — или последней каплей — могла стать любая из вереницы статей — не непременно Латунского. Та была, конечно, самая свирепая, но мало ли что. Предоставим Маргарите Николаевне воображать, будто степень хлесткости доноса предопределяла меру социальной защиты, примененную к арестованному: дескать, если бы приняли во внимание инициативу Лавровича, то Мастера не забрали бы, а только выслали бы из Москвы.. Это наивно. А если для арес-

та годилась любая заметка — доносчик может спать спокойно. Никто никогда его не вычислит. «Грудь своих мертвецов не выдаст», — как написала Марина Цветаева — правда, совсем по другому поводу, не об архивах КГБ.

Что касается второго допущения, то, само собой разумеется, в нем ничего невероятного тоже нет. Абсолютно любой человек, не говоря уже о литераторах, мог подать на любого другого тайный донос, а копию отнести в газету. Вопрос в том, кто из известных нам персонажей имел возможность в кратчайший срок довести свой взгляд на вещи до сведения такого лица, от которого зависели как темпы арестов, так и стиль критических статей.

Ведь как это происходило в реальной жизни? Вот, скажем, жил в Москве поэт Николай Клюев, замеченный в антиобщественных поступках и стихах. И жил некто И. М. Гронский — ответственный редактор газеты «Известия», а впоследствии — журнала «Новый мир». Гронскому поступки и стихи Клюева надоели. «Я позвонил Ягоде, — вспоминает Гронский, — и попросил убрать Н. А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил: — Арестовать? — Нет, просто выслать из Москвы. После этого я информировал И. В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал». Это случилось в 1934 году. До этого много лет как только не обзывали в газетах Клюева: и церковным старостой, и баптистом от литературы, и певцом кулацкой деревни — ничто не помогало, точно и не читал никто газет. А взялся за дело человек с положением — только Клюева и видели.

Или — жил под Москвой поэт Осип Мандельштам, вернувшийся из воронежской ссылки. Кое с кем виделся, читал старым знакомым новые стихи, но вообще-то жил тихо, искал работу, просил писательское начальство хоть немножко помочь. А генеральным секретарем Союза писателей был некто Владимир Ставский. Мандельштам ему не нравился. Кроме того, Ставский опасался, что если Мандельштам, считаясь, хоть бы и не совсем официально, писателем, снова сочинит что-нибудь про кремлевского

горца, то и генерального секретаря писателей по головке не погладят. И 16 марта 1938 года Ставский направил преемнику Ягоды — Ежову письмо, в котором сообщил, что Мандельштам оказывает вредное влияние на писательскую среду:

«Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос — об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Николай Иванович помог.

Вот как обдeldывались дела такого рода.

Но, может статься, и Латунский применил точно такой прием? Латунский? А почему не Ариман? И что мешало Мстиславу Лавровичу набрать заветный номер телефона и в приятельской беседе прикончить Мастера? Автор «Оптимистической трагедии», чью фамилию пародирует этот псевдоним, таким звонком в подходящий момент не затруднился бы.

Но Лаврович — не Вишневский, как Ариман — не Авербах и Латунский — не Литовский. В романе эти трое как политические особи размерами не поражают. Судя по должностям (а других данных нет) — политуки среднего звена. И Латунский не крупней, а всего лишь кровожадней. Тень в лающей своре, разве что глотка грубей. В процессии за гробом Берлиоза его место — крайний в четвертом ряду. Для деятеля, умеющего обратиться за личным одолжением к Ягоде, Ежову или Берии, — далековато.

Латунского придется отпустить за недостатком улик еще и потому, что в романе действуют персонажи более высокого ранга, у каждого из которых, если присмотреться, есть повод недолюбливать Мастера.

Это — не названный по фамилии редактор журнала — тот, что, прочитав рукопись, учинил Мастеру форменный допрос: давно ли пишет, кто надоумил, и прочее. Странное проявил любопытство и неприязненное. А чин у него — как у вышесказанного Гронского. В одном из вариантов текста есть у редактора и фамилия — Яшкин, и

сказано, что «Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды».

Затем — редактор другого журнала и председатель Массолита Берлиоз. Должность как у Ставского, и хоть не был, кажется, с Мастером лично знаком, но зато питал пылкий интерес к герою его романа. Не обратить внимания на этот роман, вызвавший в прессе бурю, не принять в такой знатной травле участия — пожалуй, было бы с его стороны политической ошибкой. Притом такая загадочная смерть — на бегу к телефонной будке... Знал, стало быть, необходимый номер.

Третий и последний в этом списке — не кто иной, как супруг Маргариты Николаевны. «Очень крупный специалист, к тому же сделавший важнейшее открытие государственного значения», чем и заслужил пятикомнатную квартиру в готическом особняке — квартиру, — вздыхает Булгаков, — «которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей». Видимо, это человек с немалыми возможностями. Такому пошли бы навстречу. Ну а мотив...

Алиби нет ни у кого, но поиски доказательств тщетны. Доносчик остается невидимкой. В полицейском государстве так бывает сплошь и рядом, в романах — редко. В романе Мастера, к примеру, каждый заклеимен своей виной. Героя погубили: Иуда — из низкой корысти, порожденной сластолюбием; Каифа — из пламенного догматизма; Пилат — из страха за свою плохую должность и опостылевшую жизнь; наконец, Левий Матфей — из усердия не по разуму.

А в романе Булгакова? Могарыч ничем не лучше Иуды, но неясно, в чем его корысть. Должность Пилата, разумеется, не упразднена, зато роль первосвященника свободна — Латунскому, во всяком случае, не по росту. И зря Маргарита, проникнув в его логово, хватается за молоток — совершенно таким же движением, кстати сказать, как Левий — за хлебный нож...

Неопределенность и неувязка происходят, понятно, оттого, что Булгаков — в отличие от своего Мастера — не

успел закончить работу. Вот и механику гибели героя не продумал до конца. В наше время часть черновиков опубликована, и ход мысли можно попытаться восстановить.

Сначала, по первому замыслу, Мастер, как уже сказано, был не Мастер и вообще не прозаик, а поэт, и в лагерь попадал по доносу некоего Понковского, завладевшего благодаря этому средству его квартирой. Демоны Бегемот и Фиелло освобождали поэта силой оружия, и вроде бы кот даже кого-то застрелил.

Как только Мастер сделался автором романа о Понтии Пилате, схему пришлось усложнить. Расставаться с этим, в подштанниках, стукачом было жаль: так славно сваливался он с потолка, имея в руке чемодан (предстояло путешествие во Владивосток), однако и оставлять как есть не приходилось. Во-первых, судьбу Мастера следовало привязать к его роману. Во-вторых, обида всей жизни — на бездарных завистников, так и не признавших Булгакова — вопреки очевидности — ни гением, ни даже мастером (хотя бы в их жалком понимании), — обида осталась бы неотмщенной. Но тут необходима была осторожность, потому что если, например, Литовский, начальник главреперткомма, сочинил знаменитую статью про внешний блеск по указанию товарища Сталина, то какой же он доносчик... То есть самый настоящий, но как его изобличить, не рассердив Первого читателя («Мне хочется просить Вас стать моим первым читателем». Булгаков — Сталину, 1931 год)? По той же причине очень не хотелось нарушать первую заповедь практического соцреализма, не позволявшую прикасаться к органам без благоговения. В конце концов нашелся выход: это газетные статьи довели Мастера до психического расстройства, они же подстрекнули пошлого до подлости обывателя к ложному доносу. Роковое стечение обстоятельств. А органы — что же — только выполнили свой долг...

Многое, должно быть, не нравилось Булгакову в такой трактовке. Но он откладывал решающую, последнюю перепечатку романа, при которой надеялся вплотную, без

ззора пригнать друг к другу куски из разновременных черновиков и заодно решить все проблемы судьбы Мастера. Он уходил от своего романа в мечты об учебнике истории СССР — кто же знал, что Сталин тоже примет участие в конкурсе? Потом изменил роману — с новой пьесой, и это решило его собственную участь.

Трехкомнатная квартира в Доме имени Дм. Фурманова «Советский писатель» (именно так официально назывался дом) была семье Булгаковых тесна. К тому же перекрытия и стены слишком хорошо проводили соседскую музыку. Над Булгаковыми проживал молодой поэт Михалков — умница, прямо начавший карьеру панегириками начальству и с первых шагов оцененный по заслугам. Человек веселый, любил потанцевать. Люстра в столовой Булгаковых ночи напролет раскачивалась, звеня. Надо было переезжать.

В феврале 1938 года Булгаков обронил в разговоре с одним театральным начальником, что «единственная тема, которая его сейчас интересует, это о Сталине». Действительно, шестидесятилетие вождя было не за горами. В ноябре забрел к Булгаковым на огонек художник Дмитриев, симпатичный друг дома (такой простой, такой откровенный, что М. А. иногда, смеясь, его спрашивал: «Кто вас подослал?»). Случился разговор, и Елена Сергеевна записала его в дневнике:

«Дмитриев опять о МХАТе, о том, что им до зарезу нужно, чтобы М. А. написал пьесу, что они готовы на все!

— Что это такое — „на все“! Мне, например, квартира до зарезу нужна — как им пьеса! Не могу я здесь больше жить! Пусть дадут квартиру!

— Дадут. Они дадут».

В январе 1939-го Булгаков взялся за пьесу по-настоящему — до этого были кой-какие наброски — работа пошла отлично, каждая новая сцена восхищала жену и друзей. В один голос они говорили: «Очень живой герой, он такой именно, каким его представляешь себе по рассказам».

Елене Сергеевне М. А. сказал: «Я не то что МХАТу: я дьяволу готов продаться за квартиру!» Дмитриева (тогда забежал в гости) предупредил: «Капельдинером в Большом буду, на улице с дощечкой буду стоять, а пьесу в МХАТ не дам, пока они не привезут мне ключ от квартиры!»

К июню пьеса сильно продвинулась вперед. Слух о ней распространился. Волны предпраздничного ажиотажа набегали на жизнь Булгакова. На официальных переговорах и. о. директора МХАТа произнес целую речь — «что он очень рад, что М. А. согласился опять работать для МХАТа, но, конечно, эта работа должна протекать в совершенно других условиях, условиях исключительного благоприятства, что театр не окажет никакой услуги, заменив нашу квартиру другой, что он слышал и понял, что теперешняя квартира не дает возможности работать М. А. и так далее. Потом сказал, что постарается к ноябрю-декабрю устроить квартиру и по возможности — четыре комнаты.

Потом Миша сказал: а теперь о пьесе. И начал рассказывать...» (Дневник Елены Булгаковой).

Разумеется, это была игра — в этакое не то чтобы прожженного дельца, нет, — а в хладнокровного, знающего себе цену специалиста — мастера в советском смысле слова. Квартиры, что и говорить, очень хотелось, но еще сильнее хотелось, чтобы Сталин понял наконец, кто — Булгаков, и ответил бы взаимностью на его чувство.

Пьеса была о любви, точнее — о влюбленности, — целомудренной, чистой, затаившейся в оттенках интонаций, в несмелой улыбке, в нежном жесте. Это чувство разделял каждый, кто читал газеты и слушал радио. В сельской местности она проявлялась не так отчетливо, но в просвещенном горожанине пламенела, прорываясь при каждом удобном случае, причем независимо от возраста и пола.

Вот пятидесятичетырехлетний Корней Чуковский на съезде ВЛКСМ:

«Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в перед-

ние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: „Часы, часы, он показал часы“ — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко, заслоняет его!“ (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью...»

Эта нежная радость была музыкой пьесы. 27 июля Булгаков читал свое сочинение в театре — на партсобрании. «Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали».

Сталин выждал, пока распределятся роли, пока актеры и автор с женою соберутся в дорогу (решено было, раз действие пьесы происходит на Кавказе, вживаться в образы именно там — для пушей достоверности). Когда поезд отошел от перрона, пьеса была запрещена.

Булгаков не мог не догадываться — как ни скрывал от себя, — что пьеса пустая, скучная, фальшивая. Но только Сталин знал, насколько она лжива. Ложь не коробила вождя, тем более что он сам сочинил изображенные исторические факты, — однако Булгаков не лучшим образом их инсценировал. Несмотря на все свое хваленое

мастерство и самые искренние, надо признать, намерения — все же не сумел придать персонажу по имени Сталин истинных, колоссальных размеров. Получился какой-то провинциальный агитатор, рядовой функционер партии, — неудивительно, что окружающие любят его как-то полушепотом, без ужаса и страсти.

Разумеется, никто во всей стране ничего подобного не заметил бы — и, может быть, стоило дать Булгакову и квартиру, и премию, и премию, — перо постепенно, глядишь, и отточилось бы, со временем и роман «Мастер и Маргарита» удалось бы довести до приемлемого состояния, — но челюсти не разжимались, и желание дать почувствовать родственнику бывшей приятельницы, кто в действительности персонаж, — пересилило. Сталин поручил передать драматургу, что так явно подольщаться — некрасиво, что «наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгакова, как на желание перекинуть мост и наладить отношение к себе». Квартиру, впрочем, велел пообещать.

Молния ударила в августе, 15 числа. В сентябре Булгаков частично ослеп, в марте следующего года умер. Ночами шептал Елене Сергеевне, что Сталин убил его. У нее было свое убеждение: «Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти...»

Как видим, судьба Булгакова сложилась из элементов той же, знакомой нам периодической системы.

Судьба художника в стране победившего тоталитаризма выражает в наиболее чистом виде идею человеческой судьбы вообще — как поиска собственной, личной, осмысленной гибели, как сопротивления принципу энтропии. То ли потому, что мироздание — как ни скучно в это верить — тоже система тоталитарная, то ли тоталитаризм и есть социальная модель, поясняющая действие второго закона термодинамики: вечное возвращение качества в количество — и останавливаются на лету луч и волна, обращаясь в мельчайшего помола межзвездный прах.

Советская реальность удивительно похожа на космическую, как она изображалась в натурфилософских про-

изведениях самых глубоких и грустных романтиков прошлого. Тут нет ценностей, и некому страдать от их отсутствия, и вообще нечего делать мятежному уму, кроме как умолять неизвестно кого:

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
(Тютчев, 1830-е годы)

Тут властвует рок — олицетворенный государственной властью, — и только художник — пока он художник — пытается ему противостоять, подавляя в себе тягу заснуть навеки (но слышать во сне, как над ним шумит и мечется какое-нибудь растение). Издали, со стороны, это противостояние представляется героическим — и часто сам художник поддается на миг-другой соблазну почувствовать себя трагическим героем. Но у него нет не только выхода — и выбора нет. Он, как правило, не так уж и стремится погибнуть с честью — это его талант ищет спасения, заставляя художника рисковать. Человек, утратив под гипнозом страха и лжи способность различать добро и зло, как ни в чем не бывало — теперь это всем известно — готов к труду, обороне и размножению. Талант же без этой способности различать (иногда ее называют душой; впрочем, и талант — слово необъяснимое) — талант разлагается без нее заживо, мучая художника невыносимо. Художник ничего так не боится, как этой беды, и держится за свою душу до последней возможности. Вот, наверное, почему при общественном строе, материализующем сон отдельно взятого разума, объятый манией целесообразной справедливости, — только художник и погибает, как человек, — если случай смилуется над ним. Но чаще, прежде чем уничтожить художника, — его унижают, как и всех остальных.

В романе Булгакова сатана, уже готовясь покинуть Москву (это конец предпоследней главы), замечает вдруг вдалеке направляющегося к нему по воздуху руководителя партии и правительства.

«— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотя бы намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротой точку и добавил: — У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все покончено здесь. Нам пора!»

Этого места в общеизвестном тексте вы не найдете, хотя Булгаков не вычеркивал его и не изменял. Кто-то — принято считать, что неизвестно кто, — при подготовке романа к первой публикации (в журнале «Москва») выбросил эти строчки, слегка неуместные в 1966-м и как бы ронявшие на автора тень, — заменил другими, своего изготовления.

Вот что бывает, когда автор оказывается во власти персонажей.

КЛОУН, ФИЛОСОФ, ЗАКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

«В этой повести Зошенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: смотрите, вот какой я хулиган.

Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та «мораль», которую проповедует Зошенко в повести «Перед восходом солнца», изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести.

...Совершенно справедливо Зошенко был публично высечен в „Большевике“, как чуждый советской литературе пасквилянт и пошляк».

А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград»

Напротив Таврического сада, на углу Кирочной и Таврической, прозябает, приняв цвет дождя, скучная каменная игрушка — трехъярусная цитадель оловянного гарнизона. На главной башне — огромный мозаичный герб князя Итальянского, на крепостных стенах, тоже смальтой, — сюжеты из его послужного списка: «Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года» и «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», — однако же в порядке, обратном хронологии: слева — война, справа — мир. Доброкачественный такой кондитерский стиль; ясно, что коробка была дорогая, конфеты — вкусные. На картинке справа фельдмаршал выходит из сельской церкви, где только что отслужен напутственный молебен, — и остановился на крыльце, и крестьяне с хлебом-солью его обступили в восторге и слезах, — и уже поданы сани с рогожною кибиткой, запряженные в тройку гуськом...

А в левом нижнем углу картины — две елочки из-под снега. Младшая — совсем дитя, пять лапок короткопалых, одна из них с неестественной кривизной. Эту веточку выложил Миша Зошенко, девятилетний сын мозаиста. В отцовской мастерской — на седьмом этаже, где-то на Васильевском — он чувствовал себя хорошо, как ни где на свете и никогда в дальнейшей жизни.

Суворовский музей открыли в 1904-м, 13 ноября. Художника Зоценко наградили золотой медалью. В 1905-м он умер — от разрыва сердца — у сына на глазах:

«— Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

— Возьми.

Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.

В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.

Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.

Он падает на пол. И падает стул, за который он задел».

Это из последней книги — «Перед восходом солнца» — 1943 года, недопечатанной: между двумя сражениями, Сталинградским и Курским, другой полководец разрубил ее, как дождевого червя.

Похвала меланхолии

Писать такую книгу в 1942-м, печатать в 1943-м!

Это ведь, кто не знает, — как бы трактат о победе. О полной и окончательной победе автора над собственной неврастенией. Так назывался тогда этот странный недуг, — не исключено, что подобный английскому сплину, или, там, русской хандре, но вряд ли в точности: это когда тошнит от беспричинного страха — непередаваемого, — сильнее смерти. Когда он, внезапно подкравшись, хватается за горло, — цвет жизни гаснет, звук становится глухим и угрожающим, вы, короче говоря, переноситесь в ад, в толпу злорадных демонов: кто зовет к столу, кто — к телефону, а самые безжалостные пытаются вовлечь вас в разговор...

«Во всей медицине, — пишет в трактате „Страдание“ К. С. Льюис, — нет ничего столь страшного, как хроническая меланхолия».

Зоценко мучился ею сколько себя помнил, но к врачам обратился в начале 1920-х, когда его, так сказать, приняли в литературу, — когда кончилась для него граж-

данская война за кусок хлеба. Лечили его в точности как Евгения Онегина:

«Мне прописывали воду и вовнутрь, и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море — путешествовать и купаться.

Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска».

Главное — он боялся есть. Не мог себя заставить.

«Я безумно похудел. Я был как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника».

Наконец, в 1926 году, осенью, на краю гибели после очередного приступа, Зощенко поставил жизнь на последнюю карту: он будет сам себе Зигмунд Фрейд и академик Павлов. Разыскать в глубине ума, в потемках памяти — как бы взрывное устройство этого ужаса — и обезвредить.

Через восемь лет он добился успеха — и воспел его в повести 1935 года «Возвращенная молодость». Ну а еще через восемь — этот случай самоисцеления описал: чтобы помочь другим страдальцам, но на свою беду.

Это автобиография, верней — история характера — сверху вниз: юность — отрочество — детство. Самые страшные сцены жизни попеременно с наиболее постыдными. Все разочарования. Все randevu с Пошлостью и Смертью. Разгадка судьбы оказалась на самом дне — в сцеплении событий младенчества, вообще-то скорей воображенных, добытых возгонкой снов: как-то мама кормила его грудью во время грозы, и один удар грома был особенно сильный; в этот ли раз или в другой, а только несомненно, что хоть однажды да отняли от груди насильно — рукой, заметьте, отняли грудь; и когда купали в корыте или, предположим, в ванне, — тоже, должно быть, случился какой-то неприятный инцидент, и уж наверное без чьей-нибудь руки не обошлось; а четвертое событие подтверждается маминым рассказом, и от него остался трехсантиметровый шрам:

двухлетнего Мишу оперировали — то есть, извиваясь от боли, он увидел над собой огромную, страшную руку с ножом.

Вот как просто. Четыре взрывателя, четыре знака: грудь, рука, вода и гром. Поэтому снятся тигры и нищие, поэтому нет радости от женщин и тревогой обдаёт вода.

Нищий — что делает? Протягивает руку. «Я увидел руку и действие этой руки — она берет, отнимает».

«Тигр — хищный зверь. Он что делает? Бросается на свою жертву, хватает ее, уносит, терзает. Он пожирает ее. Зубами и когтями рвет ее мясо».

Неожиданно возникли ассоциации с рукой. С этой страшной жадной рукой, которая тоже что-то берет, отнимает, хватает...

Рука нищего, вора приобретала новые качества, свойственные дикому зверю — тигру, хищнику, убийце».

Женщина — что делает? Впрочем, не важно.

«Женщина — это любовь. Любовь — это опасность».

...Выстрел, удар, чахотка, болезни, трагедии — вот расплата за любовь, за женщину, за то, что не позволено».

И вообще — у них груди, не говоря уже о руках».

Ну а вода — это вода».

«В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтобы умереть».

И поэтому наводнения снятся тоже».

Цена победы

Вернее, снились. Потому что к 1935 году все как рукой сняло.

Методика излечения описана двояко. Во-первых, научными терминами, как бы сквозь зубы: что-то такое — силой ума удалось разорвать неверные условные связи условных нервных раздражителей. Во-вторых, слогом высоким, даже чересчур:

«Свет моего разума осветил ужасные трущобы, где таились страхи, где находили себе пристанище варварские силы, столь омрачавшие мою жизнь».

Эти силы не отступали, когда я вплотную подошел к ним. Они приняли бой. Но этот бой был уже неравный.

Я раньше терпел поражения в темноте, не зная, с кем я борюсь, не понимая, как я должен бороться. Но теперь, когда солнце осветило место поединка, я увидел жалкую и варварскую морду моего врага. Я увидел наивные его уловки. Я услышал воинственные его крики, которые меня так утрашали раньше. Но теперь, когда я научился языку врагов, эти крики перестали меня страшить.

И тогда шаг за шагом я стал теснить моего противника. И он, отступая, находил в себе силы бороться, делал судорожные попытки остаться, жить, действовать.

Однако мое сознание контролировало его действия. Уже с легкостью я парировал его удары. Уже с улыбкой встречал его сопротивление.

И тогда объятья страха стали ослабевать. И наконец прекратились. Враг бежал.

Но чего стоила мне эта борьба!»

Это написано — вы помните — в 1943-м. Зощенко уморил себя голодом в 1958-м. Страх свел его с ума не торопясь, — было время поразмыслить, чем заплачено за передышкой, за несколько лет покоя. Ведь это был не самообман: какой-то камень — или демон — отвалился тогда от сердца.

Я и сам неохотно скажу то, что сейчас скажу.

Но это факт: как раз в 1935 году литературный дар его оставил.

Впрочем, не раньше 3 июня, когда окончена «Голубая книга» — там избранные давнишние сюжеты погружены в ироническую историю морали: эти предисловия и послесловия лучше всех новелл. Как это странно, что Зощенко посчитал нужным проститься с читателем, — неужели предчувствовал?

«А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире, в Ленинграде, 3 июня 1935 года.

Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой

оркестр. Напротив — серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности не свойственное мужчине и человеку.

И мы смущены. И бросаем это дело.

Привет, друзья. Литературный спектакль окончен. Начинается моя личная жизнь во всей своей красе.

Интересно, что получится».

Цензура, само собой, слог поскребла. Печатный финал — другой, без литературного спектакля и личной жизни. Привет, друзья, — и все.

А после этого числа сочинились еще только две вещицы по-настоящему смешные — причем из каких материй! — «История болезни» (1938) и «Последняя неприятность» (1939).

И совсем в другом тоне, но тоже сильная — вот эта самая «Перед восходом солнца», где стиль неузнаваемый: предложения — из грамматики, слова — из словаря. Существительные обстоятельство, глаголы движения. Вещество этой прозы — вроде сухого льда (в такую, знаете ли, твердую снегообразную массу обращается углекислый газ при $-78,515$ по Цельсию). Но эти бедные бесцветные фразы обладают весом и соблюдают ритм. Тающими, исчезающими словами выведен в одном из мнимых пространств — мрачный, твердый узор.

Ровный ряд простых правильных предложений — ни отблеска улыбки. Техника мозаики. Оптика перевернутого бинокля. Мемуары моралиста, рука мастера.

Он не разлюбил игру, но забыл смысл выигрыша — наилучшими ходами устремляется к ничьей.

Сталин опрокинул доску, так сказать, вовремя: до самой смерти Зошенко и долго потом подозревал кое-кто из публики, что «Перед восходом солнца» — шедевр.

А позиция была ничейная.

Зато все остальное проиграно. Библиография Зошенко читается, как скорбный лист: падает пульс — дыхание угнетено — кома — клиническая смерть...

Уже «Возвращенная молодость» (1933) — между нами говоря, жизнерадостна чересчур. Наивность на грани фальши.

Что же касается «Истории моей жизни» (1934) — от лица з/к, воодушевленного строительством Беломорканала, — тут Зошенко стер, так сказать, эту грань. И зашел очень далеко. И упал низко.

«Возмездие» (1936) — просто плохое произведение. По-настоящему плохое. В том же году изготовлен и «Черный принц», но этот очерк хоть не притворяется повестью.

«Керенский» (1937) — чуть ли не еще хуже «Возмездия». Тогда же сочинен «Талисман» — как бы шестая повесть пушкинского Белкина, — убогий такой пастиш, старательным таким тупым пером.

«Тарас Шевченко» (1939), «Рассказы о Ленине» (1940)... Проза уже потусторонняя.

Несколько скучных комедий, а также невозможные «Рассказы партизан» (1944–1947)... Еще горстка новелл после «Голубой книги»: почти все — через силу... Здесь же — пресловутые «Приключения обезьяны», — хотя одна шутка там все-таки живет:

«Ну — обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе».

И все. После этой злосчастной обезьяны, и анафемы, провозглашенной Ждановым, и неслыханного постановления ЦК ВКП(б) — Зошенко ничего и не сочинял, кроме писем к товарищу Сталину.

Вот и получается, что Художником он был, пока не выздоровел, — лет пятнадцать. Пока не истратил весь талант на борьбу с талантом.

Перед заходом солнца

— Я ведь организую свою личность для нормальной жизни, — говорил, например, в 1927-м еще году Корнею Чуковскому (тоже, кстати, безумцу, и с похожим сюжетом). — Надо жить хорошим третьим сортом. Я нарочно

в Москве взял себе в гостинице номер рядом с людской, чтобы слышать ночью звонки и все же спать. Вот вы и Замятин все хотели не по-людски, а я теперь, если плохой рассказ напишу, все равно печатаю. И водку пью.

Догадывался ли он, что так называемое чувство юмора как бы изотоп, что ли, страха смерти; верней — двойная инверсия; что смех и страх, короче, — сиамские близнецы, сросшиеся виском?

А только не слишком дорожил Михаил Зощенко этим своим знаменитым смехом, — «который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». С горькой гордостью приговаривал: клоун должен уметь все — и что он временно исполняет обязанности пролетарского писателя, — а на самом деле продолжать без конца «Декамерон» для бедных прискучило. Покончив с меланхолией, он обещал своим бедным новую «Похвалу глупости» — «с эпиграфом из Кромвеля: „Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки“».

А написал — что написал. И в 1943 году был вполне доволен своей литературой, как и состоянием здоровья. Видно, изменило ему чувство реальности. Видно, думал, что дар у него — неразменный:

«Я вновь взял то, что держал в своих руках, — искусство. Но я взял его уже не дрожащими руками, и не с отчаянием в сердце, и не с печалью во взоре.

Необыкновенная дорога расстилалась передо мной. По ней я иду вот уже много лет. И много лет я не знаю, что такое хандра, меланхолия, тоска. Я забыл, какого они цвета.

Оговарюсь — я не испытываю беспричинной тоски. Но что такое дурное настроение, я, конечно, и теперь знаю — оно зависит от причин, возникающих извне».

Этого уже не напечатали — то есть напечатали через тридцать лет, — а настроение испортили тотчас и навсегда. Насмешка судьбы: отныне и до самой смерти — ни единой минуты, не отравленной ужасом и обидой. Ни дня, ни строчки.

Лично я не сомневаюсь, что сгубила Зощенко эта последняя повесть — «Перед восходом солнца». Непристойное сквернословие в так называемом докладе Жданова и в зловещем Постановлении ЦК явственно отдает жарким, смрадным дыханием Генералиссимуса. Так он обходился только с лютыми, личными врагами. В «Приключениях обезьяны» вы не найдете — современники тоже недоумевали, — не найдете ничего такого, что распалило бы злобу даже в распоследнем дураке. Легкомысленная такая детская сказка на мотив «Колобка». Что Сталин был дурак — не верится, хотя гипотеза соблазнительная: объяснила бы всё... Но слово слишком человеческое. Хотя, действительно, в данном эпизоде Великий Вождь смешон, насколько может выглядеть смешным существо, уничтожающее атомной бомбой три странички про мартышку — и автора страничек заодно.

А настоящую причину раскрыть он не мог. Не исключено, что и самому себе не отдавал отчета: что сделал с ним Зощенко. Много лет я подозревал мотив отчасти метафорический: как-никак, «Перед восходом солнца» — трактат о страхе. То есть о секретном стратегическом топливе. Не важно, что формулу Зощенко вывел самодельную, приблизительную. Отвращение к страху — вот что вывело Сталина из себя, думал я. Он принял это как личное оскорбление, хотя вряд ли мог растолковать себе, в чем дело. Вероятно, полагал, что ему противно само это возмутительное зрелище: человек посреди войны, как Архимед какой-нибудь, бесстыдно углублен в отвлеченные мысли. Просто сил никаких нет не пронзить его дротиком или, там, чем попало.

Но, как сам же М. М. и написал, отрицая Судьбу, — «жизнь устроена проще, обидней и не для интеллигентов».

Недавно нейрофизиологи установили, что мозг убийцы действует в особом режиме. В США, например, обследовали убийц, которые официально были признаны вменяемыми. Обнаружилось, что функции лобных областей их мозга ослаблены и снижено потребление глюкозы

в прифронтальных отделах. Испанские и русские ученые доказали, что в мозгу агрессора — избыток какого-то пептида вазопрессина, зато недостача серотонина... И так далее. Не в названиях дело. Главное — что у людей, склонных к депрессии, — все ровно наоборот. И поэтому что меланхолику полезно — для убийцы травма или яд!

Должно быть, Сталин, читая Зощенко, страдал невыносимо.

Фольклор

На писательском собрании в Смольном после доклада Жданова пошли, как водится, речи негодяев, — а порядочные люди затаились. Как только перешли к голосованию, порядочные бросились к дверям, доставая на ходу папиросы. Но эта испытанная уловка не застала охрану врасплох: никого не выпустили из зала. Порядочным пришлось вернуться на свои места и проголосовать вместе со всеми.

Так рассказывал мне один человек. А другой — что был все-таки голос против: такой Дилакторской, детской писательницы. Она и выступить осмелилась: не могу, сказала, согласиться, что и в рассказах о Ленине Зощенко проявил себя как подонок, пошляк, хулиган. Она вроде бы до войны служила в Детгизе и подписала эту книжку в печать.

Третий, усмехаясь, припомнил, как возвращался той августовской 1946 года ночью из Смольного. А жил на канале Грибоедова, в писательском доме, где и многие другие. Шли гурьбой, ночь была теплая, компания — молодая, — разговорились, расшутились, разыгрались чуть не в пятнашки. Вышли на Конюшенную площадь, повернули к набережной канала — и остановились: вдоль решетки навстречу им шел Зощенко. Франтовской плащ, кожаная кепка, трость. И ясно было, что он уже много часов так ходит взад-вперед, тростью трогая перила. Это на собрание не пригласили, что случилось — не намекнули. Вот он и ждал возвращения соседей.

Они, конечно, воспользовались темнотой — безмолвно разбежались по подъездам.

Зато есть легенда, что после того, как Постановление опубликовали в газетах, Зощенко получил по почте от разных неизвестных — сорок хлебных карточек!

Кто знает — все может быть. Цифра немножко слишком круглая.

Философия слога

Пятнадцать лет он был поэтом. Владел блаженным искусством лишних слов:

«Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами...»

(Прямо урок поэтики: уберите ненужное — и все пропало!)

Он был писатель без иллюзий, работал под девизом из Эпиктета: человек — это душонка, обремененная трупом. Но, в отличие от римского раба, полагал, что за это стоит человека пожалеть — именно за то, что подловат, поскольку глуп, и пошловат, ибо смертен. Так и писал: *бедняга человек*. И с охотой поступил в гувернеры к Пришедшему Хаму. И смешил дикарей, пресерьезно изображая говорящую обезьяну.

«Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка,

Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила. Приходите, говорит, помянуть дорогого покойничка, чем Бог послал».

Всю жизнь обижался на прошедшую словесность: зачем притворялась, будто бывают какие-то там высокие чувства, якобы сильнее первичных потребностей?

«Автору кажется, что это совершеннейший вздор, когда многие и даже знаменитые писатели описывают трогательные мучения и переживания отдельных граждан, попавших в беду, или, скажем, не жалея никаких красок, сильными мазками описывают душевное состояние уличной женщины, накручивая на нее черт знает какие психологические тонкости и страдания. Автор думает, что ничего этого по большей части не бывает.

Жизнь устроена гораздо, как бы сказать, проще, лучше и пригодней. И беллетристам от нее мало проку.

...Человек отлично устроен и охотно живет такой жизнью, какой живется».

Мировая война и ее такие же ужасные дочери обучили его этой окопной беспощадной, бесшумной стилистике: ребячество — играть с Пошлостью в прятки, а в жмурки — дурной тон. Крикливую магию подобных игр — изыски какого-нибудь Александра Блока — он передразнивал грубей, чем убогую ерунду всех этих монтеров, управдомов. На каждом шагу отчаянно шпынял, мстительно пародировал, все не мог рассчитаться. Дар достался ему как долг обиды.

«Вот и русский поэт не отстает от пылкого галльского ума. И даже больше. Не только о любви, но даже о влюбленности вот какие мы находим у него удивительные строчки:

О влюбленность, ты строже судьбы,
Повелительней древних законов отцов...
Слаще звуков военной трубы.

Из чего можно заключить, что наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто

такое, с чем не могут даже равняться ни строчки уголовных законов, ни приказания отца или, там, матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовало на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое намекает тут насчет призыва на военную службу — что это ему тоже было как будто нипочем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы...»

(Ай, молодец, клоун! Ай, класс! Так и надо гражданину Блоку. А теперь вместо него попляши на горячих угольках сам-друг с гражданкой Ахматовой, спиной к спине, — вот вам на старость и вечность железный двойной ошейник, забавный в школьном учебнике выйдет параграф, — так сказать, во вкусе Достоевского: и скверный анекдот, и вечный муж, — поделом и ей... Адски ловкая, между прочим, комбинация.)

Михаил Зощенко — вероятно, единственный из всех писателей — не верил в трагизм (и упразднил его в бессмертной повести «Мишель Синягин») и не боялся на свете ничего — кроме приступов страха.

Но Джугашвили его разгадал — храбреца, гордеца, дворянчика, офицера: обругать, как собаку, ни за что, на всю страну — моментально сломается и навсегда. Тем более что товарищи по перу не останутся в стороне — прогонят из литературы в толчки. Клоун, кажется, любил поголодать? Вот и пусть поголодает.

«Эта отрубленная голова была торжественно поставлена на стол. И жена Марка Антония, эта бешеная и преступная бабенка, проткнула язык Цицерона булавкой, говоря: „Пусть он теперь поговорит“».

Бродит по Сестрорецкому кладбищу раздраженная тень, трогает тростью прутья ограды.

КТО БЫЛ ОН И КТО БЫЛА ОНА¹

Чужие письма, совершенно как печаль минувших дней, воздействуют на человека с силой, пропорциональной квадрату расстояния. Так что книги вроде этой живут долго.

Ни в каких предисловиях она не нуждается — но это сейчас.

А лет, скажем, через двести понадобится — чтобы войти в обветшалый том, — ключ не ключ, хотя бы лампочка на лестничной площадке.

Конечно, внутри есть примечания — там все необходимое сказано. А вдруг потомок окажется ленив и нелюбопытен, капризный верхогляд?

На этот случай прикрепим к дверям табличку — кто такие были эти Чуковские, отец и дочь.

Отец — автор «Мойдодыра», «Мухи-Цокотухи», еще полдюжины самых известных в двадцатом столетии русских стихотворений. В них содержится редчайший элемент — вдохновение невинного веселья. Несколько минут на целый век, — но этой неразменной дозой облучен в раннем детстве практически каждый из нас, так называемых советских людей; надо думать, это как-то сказалось на образе жизни.

Дочь — автор «Софьи Петровны» — повести об этом самом образе жизни: о том, как технология скотобойни втесняется в мораль мыслящего сырья. Повесть написана в 1939-м в Ленинграде — не антиутопия, но фотография

¹ Предисловие к книге: Корней Чуковский — Лидия Чуковская. Переписка: 1912–1969. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

с натуры, — не просто с риском для жизни, а с отвагой самоубийцы; что «Софья Петровна» не погубила Лидию Корнеевну и не погибла сама — что Лидия Корнеевна даже дожила до триумфа «Софьи Петровны» (1988) — парадоксальный сюжетный ход Провидения; впрочем, я полагаю, необходимый. Наверное, нельзя было бросать на произвол истории такой важный текст. Ведь без него Большой Террор — не урок человечеству, а и в самом деле только сказка, рассказанная кретином с шумом и яростью.

Статистика убийств, живопись истязаний выпячивают их жестокость, якобы бессмысленную. Один только Франц Кафка предчувствовал то, что Лидии Чуковской открылось наяву: ад именно и есть диктатура абсурда, гнусный ужас глупости. Мир поступков, ничем не мотивированных, кроме злой воли (глупость не знает жалости — в этом ее материальная сила: злая воля подчиняется ей одной): театр беспощадных лунатиков.

Крохотная фабула Софьи Петровны (дальней родственницы Акакия Акакиевича) протоколирует постыдную трагедию бесчисленных миллионов: под тяжестью торжествующего абсурда хрустит бедный здравый смысл, — и совесть, как моллюск в раздавленной ракушке, гаснет, — и человек прилепляется к большинству, благонадежный предатель.

Дотянувшись до печатного станка, повесть Лидии Чуковской закрыла, так сказать, советскую литературу.

А Корней Чуковский был этой литературы основоположник и патриарх, незапятнанный долгожитель, живой пример: вот, и при социализме порядочный человек может выйти в классики. Только надо жить долго, работать не покладая рук и не обращать внимания на главное.

Одна читательница ему сказала: вот вы всё пишете, как плохо мы говорим; хоть бы кто написал, как плохо мы живем.

Но еще неизвестно, что важнее. Книги Корнея Чуковского «Живой как жизнь», «От двух до пяти», «Высокое искусство», не говоря уже о мемуарной прозе, оставляя

в стороне научную, — скрасили жизнь несколькими поколениями интеллигентов.

(А его эссеистика 1910—1920-х существовала словно за границей, вроде куоккальской дачи — заброшенная, нежилая, разграбленная владельцами советских диссертаций.)

Не то чтобы образованщина поголовно увлекалась проблемами практической стилистики либо, скажем, теорией художественного перевода. Сочинения Чуковского были для бедных самоучители хорошего вкуса. Они развивали, в сущности, одну и ту же идею, идею «Мойдодыра»: опрятность (в частности, словесная; к примеру — профилактика *канцелярита*) — она и есть победа над Злом.

«Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили: «гы, гы, видать, что жид!» — эта тенденция стоит всех остальных», — написал (конечно, не напечатал) Корней Иванович году так в 1929-м.

Это и был пафос его литературы — спасти что осталось от культурных привычек; санитарно-гигиенический гуманизм.

Лет двадцать ушло у начальства на то, чтобы согласовать этот факультатив с официальным курсом прививаемых добродетелей (прежде всего — бдительность, но также умеренность и аккуратность).

И к началу 1960-х Корней Чуковский был оценен по заслугам: рекордные тиражи, нимб добродетельного мудреца, нежная любовь читателей, ордена и лавры.

А Лидия Чуковская в легальной словесности существовала незаметно: скромные книжки с неповоротливыми названиями, как бы научные. Она ими не гордилась — и если бы кто посмел сказать, что, например, про Герцена она написала не слабей, чем ее отец про Некрасова (подразумеваю не статьи 1920-х годов, а увенчанный Ленинской премией труд «Мастерство Некрасова»), — она испепелила бы такого человека. Правда, ее отец не скупился как раз на подобные похвалы, но тут — и только тут — она ему не доверяла.

Она-то знала (впрочем, и он видел), что в ее «надводных» сочинениях нет души, одна точность, да и та — в нестерпимых пределах дозволенного. Так и говорила: не все ли равно, о чем писать, если нельзя — про что хочется. Какая разница — хорошо или плохо написано то, что не нужно.

Бывали у нее часы и дни, когда воображался текст, по-настоящему необходимый. Эти видения прозы как правды, эти погружения описаны в повести «Спуск под воду» (начата в 1949-м, напечатана в 1989-м): жизнь глазами Уленшпигеля, мир горя и мести.

Верней, под девизом из Герцена: проклятье вам! — проклятье и, если возможно, месть.

До самого Тридцать Седьмого она принимала реальность как настоящую жизнь, в которой вполне возможны увлекательная работа, счастливая любовь и верная дружба. Но с увлекательной работы ее прогнали, друзей уволокли в тюрьму, причем любимого человека — навсегда. И ей осталась только верность.

Загляните в письмо от 12.10.1938 — где о фильме «Профессор Мамлок». Вас поразит, как ожесточилась эта молодая женщина — до какой степени отрешилась от иллюзий. Вряд ли кто-нибудь еще в Советском Союзе (из находившихся на воле) столь же отчетливо понимал сущность родного государства. Собственно говоря, тут первый набросок «Софьи Петровны»:

«Да, фашизм — страшная вещь, гнусная вещь, с которой необходимо бороться. В фильме показана травля профессора-еврея... провокационный поджог рейхстага, который дал возможность Гитлеру расправиться со своими политическими врагами; пытки, применяемые к коммунистам на допросах; очереди матерей и жен к окошку гестапо и ответы, которые они получают: „О вашем сыне ничего не известно“, „сведений нет“; законы, печатаемые в газетах, о которых фашистские молодчики откровенно говорят, что это законы лишь для мирового общественного мнения...»

Представляю, как неприятно было читать Корнею Ивановичу. Но он крепился, как бы ничего такого не замечая, и поддерживал диалог в рассеянно-бодрой манере Порфирия Головлева:

«Надеюсь, что до декабря ты можешь сопротивляться своеволию и насилию управдома. А в декабре мы приструним его окончательно».

(Сравните у Салтыкова: «А ты ключницу за бока! За бока ее, подлюк!» Я почти уверен, что К. И. под эту манеру подделывался нарочно: в его знаменитом — не так давно напечатанном — дневнике подобные стилистические гримасы не редкость.)

Он как будто вообще не желал ничего знать про то, что и другим бывает больно, — чужое отчаяние его раздражало. Дочь пишет (7.10.1939):

«Жить мне очень скучно. Каждое утро просыпаюсь и думаю: для чего мне вставать? В конце концов, воспитывать Люшку можно и лежа. Самые дурные часы: утром перед вставанием и вечером перед сном. Днем занят повседневностью, а утром и вечером думаешь о жизни. Ах, я прекрасно знаю, что человек должен трудиться. И тружусь. Но плохо, когда живешь только из чувства долга. Такая жизнь утомляет».

Отец — в ответ:

«Читаю Хэмингвэя, Колдвелла, получаю наслаждение. Здесь познакомился с замечательной личностью: с бывшей пулеметчицей Чапаевской дивизии Марией Поповой. Необычайно талантлива, самобытна, из неграмотной батрачки стала интеллигентной женщиной, знающей шведский и немецкий языки. В ней есть и величавость, и скромность. Говорит она чудесным русским языком — вкусным, богато окрашенным»...

Какая-то колкая точка пляшет в этом пассаже — лучезарном, бредовом.

Быть может — обычная презумпция перлюстрации.

Не исключаю, впрочем, что дочь наказана не за тоску, а за бестактную фразу про дневник Никитенко (в том же письме):

«Никитенко читаю с интересом и жалостью. Страшна судьба человека, который неправильно понял главное в своей эпохе. Как бы он ни был умен и порядочен — он обречен во всем наврать, натворить глупостей и подлостей».

Этот Никитенко был в XIX веке посредственный литератор, усердный цензор; пятьдесят лет подряд заносил в дневник факты и сплетни — теперь этим трем томам нет цены. Вошел в историю литературы — вообще прожил благополучно, пользуясь уважением самых выдающихся современников. Никому, кроме Лидии Корнеевны, жалок не казался, — тем легче заподозрить в ее словах некий намек. Положим, афоризм ничего не стоит опрокинуть: страшна судьба того, кто *правильно* понял главное. Но это смотря что считать главным.

В дневнике К. И. среди других поразительных сцен есть и такая (20.10.1953):

«Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. Во-первых, Эренбург напечатал в „Знамени“ статью, где хвалит чуть не Андре Жида... Во-вторых, Ахматовой будут печатать целый томик... Боря Пастернак кричал мне из-за забора...: „Начинается новая эра, хотят издавать *меня!*“»...

Кажется, язвительней нельзя — этот возглас войдет в поговорку, — местоимение даже подчеркнуто: как близоруко себялюбивы наши литераторы! Но тут же Корней Чуковский обозначает масштаб своих политических упований:

«О, если бы издали моего „Крокодила“ и „Бибигона!“»

Лидия Чуковская, хоть и воспитывалась в этом же птичнике, свободу и справедливость представляла себе по-другому:

«Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель

„уплачено“, а распутать клубок причин и следствий, серьезно, тщательно, петля за петлей его разобрать...».

Это из статьи в Самиздате, год 1968-й, но мечта — всей жизни.

Корней Иванович, по его же словам, «несмотря ни на что, очень любил Сталина», — однако же и мнения Лидии Корнеевны, «единственного друга в литературе», вроде бы разделял; но с важными оговорками; под старость (тоже, кстати, в 1968-м) одну из них доверил дневнику:

«Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово интеллигент стало словом ругательным, — важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов — в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова или Констанс Гарнетт посадили в тюрьму».

Он, конечно, боялся за дочь — и, я думаю, побаивался дочери, и страха этого ради нередко вел себя великодушно: чтобы она не переставала им гордиться. (На похороны Бориса Пастернака все же не пошел.) Но про себя, как страстный мизантроп, считал ее вечную борьбу с Глупостью занятием, не достойным ума.

Лидия Корнеевна, наоборот, верила в ценность Правды. И за себя не боялась ничего и никого. Жила и писала, как свидетель обвинения на суде, так и не состоявшемся. Хотя много, много раз в ее сочинениях и письмах встречаются эти строчки Блока:

Человеческая глупость,
Безысходна, величава,
Бесконечна...

Не сомневаюсь, что эти стихи впервые прочитал ей отец.

Оба — отец и дочь — смотрели на жизнь из литературы. Верней — классические тексты составляли для них страну истинного бытия, откуда льется вечный свет на

несчастную личную действительность — плоскость утрат и унижений. Оба убедились на собственном опыте: никакая человеческая беда, даже смерть близких, не отменяет слез восторга и наслаждения, неизменно доставляемых стихами Некрасова, Фета, Блока. Зато без стихов жить очень трудно, практически — невозможно, а кто на это способен — в лучшем случае жалкий калека, в худшем — урод и как бы естественный враг. Корней Иванович всю жизнь не переставал удивляться: неужели эти существа воображают, что они тоже живут?

«Неужели никто им ни разу не сказал, что, напр., читать Фета — это слаще всякого вина?»

Записано с оттенком сочувствия: год 1926-й, народ еще не просвещен, а вот у новых поколений все впереди, на то и Детиздат.

(Кстати: в винах Корней Иванович вряд ли разбирался; в рот, говорят, не брал.)

Но вот уже стали взрослыми чудные дети чудных советских детей: год 1959-й, больница — очередная встреча с «простыми людьми».

«Мед. „сестра“ — это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт — все они знают историю партии, но не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева — словом, не просто дикари, а недочеловеки...»

А ведь учили, несомненно, учили «Федорино горе» наизусть.

Впрочем, это жертвы сталинизма, ничего не поделаешь, — «это поколение будет оголтелым, обездушенным, темным».

Однако же и в 1969-м современники выглядели более чем странно:

«...Разговаривать с ней одно удовольствие — живой, деятельный, скептический ум.

Но... она даже не предполагает, что в России были Мандельштам, Заболоцкий, Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев, в ее жизни пастернаковское „Рождество“ не было событием, она не подозревала, что „Мастер

и Маргарита“ и „Театральный роман“ — наша национальная гордость. „Матренин двор“, „В круге первом“ — так и [не] дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них.

Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательно приглядываться к ней и понял, что это результат специальной обработки при помощи газет, радио, журналов....»

Получалось, что в его жизни — а может быть, и в целом мире — был один-единственный всамделишный человек — хотя и взрослый: дочь. Получалось, что все его сочинения создали одну-единственную реальную личность.

А он был ее главный герой — и не только в книге «Памяти детства». Вся проза Лидии Чуковской не свободна от мыслей о нем, втайне сравнивает с ним прочих персонажей: не выдерживает сравнения почти никто.

Шестилетняя Лида отца боготворила, боялась, ревновала, баловала — ночами, при свече, читала ему, безумному от бессонницы, баллады Жуковского, романы Диккенса, — он так боялся остаться один! — позволял ей охранять его, — едва ли не лучшие в ее жизни были те ночи.

Двадцатилетняя писала отцу из ссылки, из первой разлуки:

«Ты действительно не знаешь, что я по-прежнему, по-детски, по-трехлетнему, люблю тебя больше всех на свете, и по-прежнему живу Пушкиным, Блоком, Некрасовым, Достоевским? Не поверю я этому никогда, потому что ведь ты — ты».

Так любила его всю жизнь — и после его смерти — до самой своей.

Но он жалел себя еще сильнее, чем она его любила.

И в дневнике писал (предвкушая: кто-кто, а она когда-нибудь прочтет):

«Ровно 12 часов ночи на 1-ое апреля. Мне LXX лет. На душе спокойно, как в могиле. Позади каторжная, очень неумелая, неудачливая жизнь, 50-летняя лямка, тысячи

провалов, ошибок и промахов. Очень мало стяжал я любви: ни одного друга, ни одного близкого. Лида старается любить меня и даже думает, что любит, но не любит...»

В одной книжке я прочитал, что Корней Чуковский был, очень вероятно, гений. Книжка трактовала о генетике — излагала теорию, в которой заветный эпитет приравнен к диагнозу. Оказывается, если гениальных людей (то есть тех, кого история признала таковыми, — это что-то около полутысячи особей) рассортировать по экстерьерно-конституциональным признакам: рост, телосложение, наследственные болезни, — получится сколько-то (не помню сколько) как бы пород. И вот одной из них как нельзя лучше соответствует фигура Корнея Чуковского: судя по форме конечностей, по каким-то еще приметам — гений, так сказать, чистокровный. (То есть как доберман — на добермана, похож на какого-нибудь Ханса Кристиана Андерсена.)

Ученый автор воспользовался, насколько я понимаю, словарным значением: «человек, обладающий высшей степенью творческой одаренности».

В среде практикующих сочинителей сохранился и нелегальный смысл, антинаучный, антицерковный: гениальность в этом смысле подразумевает сотрудничество с неизвестным Соавтором, когда творчество — не волевой акт, а как бы слуховой: разобрать, запомнить, повторить подсказку издалека, заглушаемую всевозможными помехами. То есть гений — не тот, кто сильнее всех, а кто сильнее самого себя, пишет превыше способностей, поверх ума; по-советски выражаясь, у него блат в наивысших сферах, в неземных; он еще и похваляется трансцендентальным плагиатом: Муза ему, видите ли, диктует, согласно установке Завуча...

Профессиональное суеверие, пережиток романтизма, пародийный догмат: в литературе самое ценное не дается умственным трудом, а только — и буквально — даром; гениальность осеняет, как благодать. Откуда хоть бы и незваному знать, что он не избран?

Без этой отрицательной надежды русский литератор не живет. Назвав пишущего человека (тем более — поэта, от чего Боже вас сохрани) честным ремесленником, вы нанесете ему оскорбление смертельное; «графоман» — и то не так обидно.

Составитель той периодической таблицы гениев счел нужным подкрепить кандидатуру Корнея Чуковского специальным примечанием: а что, мол, такого? чем не гений? у кого еще столько читателей? и разве бывает без необычайных дарований столь чрезвычайный успех?

Действительно: 1479 названий книг на 87 языках, общий тираж — 316 миллионов экземпляров (это сведения Российской книжной палаты на 1 января 1994 года)!

Положим, необходима поправка на некоторые особенности социализма, — и вообще критерий не безупречный.

А вот что у Корнея Чуковского была такая характерная наружность — наводит на какие-то ненаучные мысли про его судьбу.

Про то, какой он был одинокий человек — неизъяснимо неискренний, ослепительно многоликий — за всю жизнь не выговорил ни слова своим настоящим голосом, и сам его, по-моему, не слышал.

Хотя нет, именно ведь слышал, и не раз. Особенно ясно — 29 августа 1923 года. Только это был не голос, а ритм:

«...в тот блаженный и вечно памятный день... чувствуя себя человеком, который может творить чудеса, я не взбежал, а взлетел, как на крыльях, в нашу пустую квартиру на Кировной... и, схватив какой-то запыленный бумажный клочок и с трудом отыскав карандаш, стал набрасывать строка за строкой (неожиданно для себя самого) веселую поэму о мухиной свадьбе, причем чувствовал себя на этой свадьбе женихом. <...> ...Я исписал без малейших усилий весь листок с двух сторон и, не найдя в комнате чистой бумаги, сорвал в коридоре большую полосу отставших обоев и с тем же чувством бездумного счастья писал безоглядно строку за строкой, словно под чью-то диктовку.

Когда же в моей сказке дело дошло до изображения танца, я, стыдно сказать, вскочил с места и стал носиться

по коридору из комнаты в кухню, чувствуя большое неудобство, так как трудно танцевать и писать одновременно».

Он давно уже был известный литературный критик — впечатлительный, проницательный, с эффектной манерой: разыгрывал чей-нибудь чужой стиль на разные голоса, как маскарад навязчивых идей. Изо всех сил притворялся взрослым, иногда — с удовольствием. Но той литературы, которую он любил, в одночасье не стало. Теперь только старость предстояла ему.

И вдруг — это блаженство: текст ходит ходуном, высвобождая пляшущий голос.

На пятом десятке судьба сказала Корнею Чуковскому, как некогда Некрасову — Белинский: вы — поэт, и поэт истинный.

Был еще «Крокодил» (первая часть — 1916); но он затеян был на случай, доделан на заказ, там в первой части повторяется одна и та же ритмическая фигура: шажок — прыжок, шажок — прыжок — и отскок с поворотом, — а вторая часть пародирует хрестоматию. Были «Мойдодыр» (1921) и «Тараканище» (1922): там движение тоже создается остроумными механизмами, оно прерывисто, и скорость ограничена.

Муха же Цокотуха — вихрь, полет на Брокен, Вальпургиева — причем белая — ночь! В ней цирковой парад сенсационных номеров мчится как неразрывный сюжет и феерия стиховых фокусов приводится к монотонной фразе колыбельного покоя.

Сколько бы ни рассказывал впоследствии Корней Чуковский, что годами готовился, изучая русский фольклор и психику детей (и вправду — изучал), — в этом его тексте (и в нескольких других) случилось что-то такое, чего не было в фольклоре, — вообще не бывало нигде и никогда, просто дремало в невидимой бездне возможностей русской речи. Из нее, как бы подземным толчком, выступил новый остров.

(Да, на острове водились демоны. Неспроста Корней Чуковский подбадривал себя гипотезой, будто все маленькие дети — сумасшедшие: избывая в этих стихах

свой страх жизни и смерти, он создал, что называется, резонансные структуры для каких-то страшно древних импульсов младенческого интеллекта: иные стихи превращают его нервный тик — в клич свирепых дикарей, пропащих подданных Повелителя мух: «Нам акула Каракула Нипочем, нипочем, Мы акулу Каракулу Кирпичом, кирпичом, Мы акулу Каракулу Кулаком, кулаком...» Отчего-то сразу вспоминаешь — вместе с Лидией Корнеевны: «А мучительства! Любимая наша игра. Уше-вывертывание. Голово-отрубание. Пополом-перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс-по-попс. Волосовыдергивание... Надежные руки, большие, полные затей...». Но это в скобках, в скобках.)

Такие удачи выпадают очень немногим, — он не мог этого не понимать. И сама обстановка этой удачи — ударившей, как молния восторга, — память об этом танце с клоком обоев (ему ли было не знать, с кем происходят — и то лишь изредка — такие вещи!) — не могла не обольстить его надеждой на новое — наконец-то желанное! — перевоплощение: в самого себя...

Впрочем, это все мои домыслы.

Как бы там ни было, приступы вдохновения (как еще назвать? нервный подъем?) скоро сошли на нет. Беспричинная радость (нечаянная, если угодно) посещала Корнея Ивановича и впоследствии, — но без музыки — не подсказывая интонаций. На беду себе он стал поэтом: с Корнеем Чуковским случилось, по-видимому, то, что им же рассказано про Александра Блока:

«Когда я спрашивал у него, почему он не пишет стихов, он постоянно отвечал одно и то же:

— Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?»

Они были почти ровесники. Корней Чуковский был на два года моложе Александра Блока, на четыре — старше Николая Гумилева. Жутко представить, как — и кем — дожил бы Блок до 1969 года.

Возможно, Лидия Корнеевна иногда думала об этом. Скажем, в «Записках об Анне Ахматовой».

Как Блок — или Гумилев — своей рукой выводит на бумаге или диктует, например:

«Уже самые заглавия этих произведений поэзии показывают, как расширился в последнее время диапазон интересов и вкусов ребенка.

„Песня о Ленине“. — „Первомай“. — „Мы — за мир!“ — „Полет в космос“. — „Мальчик и летчик“. — „Праздник урожая“. — „Мой папа — депутат“ <...> Так что вопрос о тематике стихов для детей можно считать (в общих чертах) решенным».

Это из прославленной, всеми любимой книги «От двух до пяти». Читать совместно, — и ведь ни слова неправды, а интонации просто нет — можете вообразить любую — хоть отвращение и тоску.

Но если в Корнее Чуковском и впрямь обитал какое-то время гений, подобные тексты унизительно смешны, как чудо дрессировки. Выходит, проиграл пациента шестикрылый серафим.

Разумеется, все это метафоры. И предрассудки. А все же обида — за Корнея Чуковского и на него — царапает ум.

Обмакнули, предположим, волшебную дудочку в чернила — назначили орудием письма, — она и старается.

Вне текста — без читателей — он был обиженный король. Калиф-аист.

В его облике проступало — сквозь вздоры сенильные, инфантильные, сквозь шутовство и артистический блеск — неумолчное несчастье.

Корней Иванович бурно жаловался только на пустячные обиды и горести, но внутренняя жизнь его всегда была, наверное, очень тяжела.

И все же до 1929 года совсем другой он был человек, — не такой, каким стал в 1931-м. За эти три года с ним произошли три катастрофы — личная: Мурочка умерла, младшая дочь, в страданиях непредставимых; литературная: гений этот пресловутый кончился; и еще какая-то катастрофа чести, что-то наподобие сделки с дьяволом.

Нет доказательств, что такая сделка состоялась наяву, — разве только сам факт, что Корней Чуковский уцелел при тирании, репрессиям не подвергался, даже сподобился мелких милостей (его дочь в книге «Прочерк» задалась вопросом: почему? ответила: не знаю, — стало быть, у Корнея Ивановича спросить не решилась). Дневниковая запись, которую сейчас я приведу, очень похожа на конспект кошмара, — но не более, чем многие другие страницы дневника Корнея Чуковского, в том числе правдивые бесспорно. Был ли искуситель, была ли подпись, или все это Корнею Ивановичу просто привиделось в ночь на воскресенье 30 июня 1968-го, но ход судьбы он понимал так: он предал свои сказочные стихи — за это у него отняли Мурочку:

«Когда в тридцатых годах травили „Чуковщину“ и запретили мои сказки — и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель (кажется, его звали Ханнин) — и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правверные книги — причем дал мне заглавие для них „Веселой Колхозии“. У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги: „Крокодила“, „Мойдодыра“, „Федорино горе“, „Доктора Айболита“, сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство: отныне писать в духе соцреализма и создам... „Веселую Колхозию“. Казенная сволочь Ханнин, торжествуя победу над истерзанным, больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня „полновесных идейных произведений“.

В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны — и я не написал ни одной строки.

И что хуже всего: от меня отшатнулись мои прежние сторонники. Да и сам я чувствовал себя негодяем.

И тут меня постигло возмездие: заболела смертельно Мурочка. В моем отречении, написанном Ханиным, я чуть-чуть-чуть исправил слог стилистически и подписал своим именем»...

В печати никакого отречения, насколько я знаю, не было. Ханин этот, говорят, был — и в 1937-м расстрелян. Отречения тогда никого не спасали, «веселые колхозии» — тоже. Впрочем, ведь и «колхозий» Корней Чуковский не сочинил ни одной — вообще не опускался до пошлостей, дальше наивностей не шел. Не стану гадать — к чему этот самооговор; там есть еще такая фраза: «И мне стало стыдно смотреть в глаза своим близким».

Вину он, скорее всего, придумал. Либо, наоборот, зашифровал, связав с инцидентом заведомо нелепым и незначительным. Катастрофа-то — была: стихи с тех пор сделались бездыханны.

Все это, в сущности, парафраза некрасовского стихотворения «Поэт и Гражданин» (месть возлюбленной классики, рыдавшей в мозгу, как совесть!):

И что ж?.. мои послышав звуки, Сочли их черной клеветой; Пришлось сложить смиренно руки Иль поплатиться головой... <...> Ах! Песнею моею прощальной Та песня первая была! Склонила Муза лик печальной И, тихо зарыдав, ушла. <...> О, Муза! Гостьею случайной Являлась ты душе моей, иль песен дар необычайной Судьба предназначала ей? Увы! Кто знает? Рок суровый Все скрывает в глубокой темноте...

Поразительно и ни с чем не сообразно: в томе лирики Некрасова под редакцией К. И. Чуковского (М.; Л.: Гиз, 1930) этого стихотворения — самого знаменитого — нет как нет.

Ну вот. Надеюсь, все вышеизложенное разъяснит надменному потомку тональность этой переписки, особенно в послевоенной части: как бы два усталых робота извещают

друг друга о ходе работ — и что отдельные узлы совсем проржавели.

Барбитураты

виноваты,

Что мы с тобой дегенераты.

Закон литературной поденщины: вечно догоняешь самого себя — и все время отстаешь, как от черепахи — Ахилл.

И главное, никто не заставляет: и бедность отпала, и со славой все решено (у каждого по-своему), а все равно из наслаждений жизни, кроме стихов, по-прежнему ничего не надо — разве только, если повезет, немного поспать: чтобы голова была свежа, чтобы в ней слова быстрее вращались.

Впрочем, Корней Иванович пристрастился еще к детективам и коллекционировал в уме способы убийства.

Но только в свободное время, в последней трети жизни, когда он уже перестал служить сам себе литагентом и охотиться за издательскими договорами; когда уже и договоры, и корректуры доставляли ему на дом, и он при помощи преданного секретаря тщательно, усердно, с душой и талантом, со вкусом вытраивал из сочинений первой трети несоветские слова — вставлял советские, — и выпрямлял прежние мысли — перековывал, так сказать, крючки на гвозди.

(Наиболее потрясающий памятник этого нечеловеческого труда — «Мастерство Некрасова»: незабываемо яркие давнишние догадки сделались невидимы «в свете работ товарища И. В. Сталина по вопросам языкознания» — текст матовый, как потолок палаты в клинике ЦК КПСС.)

С изданиями 1930–1940-х годов приходилось поступать наоборот: поскольку тезис, например, о классовой сущности художественного перевода оказался уж слишком прям и груб. Корней Чуковский вычеркивал такие тезисы, вставлял все новые и новые другие, иллюстрировал их новыми цитатами.

А также правил и правил собственные бесчисленные переводы, и еще выводил мемуары из дневника. И все

это прямо из-под рук рвали в печать, в печать, — ни минуты покоя.

Дочь выговаривала ему:

«Твой рабочий план меня ужасает. Зачем себя так терзать? Я твердо уверена, что работа создана не для того, чтобы ее „кончить“, а чтобы извлекать из нее счастье. Всего все равно не напишешь — ни ты, ни кто...»

А сама торопилась, как будто и для нее найдется типография: «Записки об Анне Ахматовой», «Спуск под воду», «Прочерк» — авось хоть в каком-нибудь 2006-м прочтут и поймут все, чего она так и не поняла, например: зачем лгут, мучают, убивают?

Она заглядывала Злу в лицо, рассматривала в упор, запоминая мерзкие подробности, — но не понимала, и соблазна не было — понять; принцип Зла ей был чужд и скучен; как представить сознание тиранозавра? Столь же отвратительная задача, сколь безнадежная.

У нее были идеалы — кое в ком олицетворенные. Но и своих великих людей, при всем желании, она не постигала до конца: героизм не натягивался на гениальность, хоть плачь.

Недоумение придает прозе Лидии Чуковской завораживающую силу.

Бездарные безумцы сживают со света и сводят с ума друг друга и кого попало, но с особым сладострастием — поэтов и гениев, — и скрывают это — то есть Правду — от всех еще не погибших, от нормальных пока людей, от простых. Ей мерещилась целая страна таких людей — нормальных, значит — хороших. И что ее долг — во что бы то ни стало спасти для них Правду — собственным здравым рассудком и твердой памятью.

А для себя — для себя она сочиняла стихи:

Среди площадной и растленной —
Из всех рупоров, наизусть!..
Ты вправду бываешь надменной,
Лишенная голоса грусть...

В новом Собрании сочинений Корнея Чуковского — пятнадцать томов. Лидия Чуковская вряд ли написала намного меньше. Не знаю, сколько на двоих досталось им счастья. Но виденья, непостижные уму, были у обоих.

Отец построил игрушечный рай для голоса с детьми. Дочь растопила дыханием корку лжи на окошке в ад.

Этого достаточно, чтобы и через двести лет их не забыли, чтобы заглянули даже в переписку.

Вдруг, внезапно, посреди низких подробностей так называемого литературного быта (увлекательнейших! битва бактерий под микроскопом! какие жалкие примеры негодействия!) — мелькнут несколько слов будто другого измерения:

«У нас был еж. Он умер. Мы похоронили его. А он ушел из могилы через два часа».

ЧТО ОСТАЕТСЯ

«Поздравляю себя! — написал Иосиф Бродский. — Сколько лет проживу, ничего мне не надо. Сколько лет проживу, сколько дам за стакан лимонада».

Получилось — 56. И счетчик сразу раскрутился обратно: вот уже натикал 14 сдачи. Так дешев лимонад. Все литераторы в подлунной завидуют Иосифу Бродскому. Особенно — поэты. Некоторые — до потери лица.

Не из-за Нобелевской, конечно, куда она денется — и не нужна на фиг.

А — как свалил. По-быстрому. По-американски. Успев сказать, что нельзя его больше любить, — и не дав ответить. А также никому не доставив долгожданного праздника носоглотки — с улыбкой искреннего прискорбия вздохнуть: увы! у нас непобедимых нет!

Ушел, как пришел, — последним гением. Что бы ни значило это слово, больше не нужное.

Самое главное — прежде, чем позабыл код доступа к тому участку мозга, где мысль иногда вдруг идет, как игроку — карта, и требует от внутреннего голоса неиспользованных частот.

И теперь ему даже юбилей не страшен.

Пускай изучают, на здоровье, — с кем спал и какие применял средства стиля.

Кстати о средствах: Бродский чувствовал единственность мира как его роковой изъян. И как залог неизбежно горестной участи человека.

Вечно мы ставим на комплексное число вида $x + iy$ — и вечно проигрываем, потому что в реальности — не как

в математике — u , увы, всегда = 0 , и т. н. мнимая единица (i) не пляшет.

Некоторым умам это причиняет боль. Бродский описывал мир как боль и представление. Не как то, что есть. А как то, что нам остается. Если из всего вычестъ всё, чего нет, останется только то, что есть, — и это всё. За каждой вещью тянется подобный тени темный след одного из модусов ее небытия.

Я думаю, с Бродским случилось вот что. Всю жизнь он наугад набирал номер Создателя Вселенной. После сотысячного гудка раздался щелчок, и автоответчик сказал: *меня нет*.

Как странно — только сейчас вспомнил — первое прочитанное мною (в 1960-м) стихотворение Бродского:

...полудетективный сюжет, именуемый — жизнь.
Пришлите мне эту книгу со счастливым концом!

Ему прислали.

24 мая 2010

СТАРОСТЬ И ДРУГИЕ

Старость — самая продолжительная часть жизни — начинается с того, что ваше физическое тело, то есть занятая его объемом часть пространства — перестает отражать зрительные лучи. Люди вас не видят, смотрят буквально сквозь. Сперва лица противоположного пола и возраста, за ними все остальные. Черт их знает почему.

Это обескураживает — особенно если вы и прежде не привыкли блистать и впечатлять: не блистали, не впечатляли, но тем не менее всегда ведь считались (по умолчанию) в числе присутствующих или хоть прохожих, — а как же иначе? — ваше существование в той либо иной мизансцене принималось просто как факт — не имеющий, предположим, никакого значения, но и не требующий доказательств. Как-никак, вы представляли собой объект материального мира — с вашей точки зрения, таковым и остались, — так что же случилось?

Вы готовы допустить, что оболочка действительно сидит на вас еще хуже, чем когда была, по крайней мере, с иголки, — вы готовы согласиться, что дожили до момента, когда нельзя (незабываемый этот enjambement у Бродского) — когда больше нельзя вас любить (а прежде всего лишь не стоило), — ну так что ж, ну и не надо, но такая абсолютная прозрачность — за что?

Выходит, реален в настоящем лишь тот, кто обладает хоть каким-то личным будущим; а стало быть, потенциально — или, скажем, в принципе — мало ли при каком обороте обстоятельств — мог бы участвовать в будущем других. Получить в их тайной мелодраме хоть какую-нибудь роль.

А вы — вы больше не годитесь ни на какую. Не то чтобы внешность сделалась неподходящей — у вас просто нет больше внешности, вот и все.

Грубо говоря, вы не имеете промыслового значения. Грубо говоря, вы отныне несъедобны, мой друг. Отчего вас и не имеют в виду.

Потом точно так же и по тем же причинам вы теряете некоторые свойства ума. Тем самым — и голос, поскольку вас больше не слушают и, естественно, не слышат.

Приемник работает, а передатчик сел.

Теперь вас нет уже в полном смысле этого слова.

Нет ни для кого. То есть для всех других. Но для себя вы — в чем весь ужас — еще как наличествуете, даже почти совсем не изменились.

И хорошо бы у вас хватило смирения скрывать это. Вообще, в старости главное — помалкивать.

Потому что худшее — впереди. Когда вас опять увидят, опять услышат, ваше пребывание опять почувствуют. Как лишнее, как тягостное, как невыносимое, наконец.

Впрочем, вполне возможно — и на это вся надежда, — что вам-то будет все равно. И все другие превратятся для вас в немых невидимок. Потому что старость, как ни крути, всего лишь наиболее продолжительная часть смерти.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕНЬ СТРАННОЕ МЕСТО

Хорошее отношение к Петербургу	7
Стогна Мира	8
Склероз, Красный нос	12
История одного привидения	16
Огни Большого Дома	22
Офис в аренду	24
Предъюбилейное	27
Город на словах	30
Идиллия	33
Ужасная пора. <i>Петербургская повесть в цитатах</i>	37
Празднуем юбку	51
Архипелаг гуляк	54
Стиль власти. Власть стиля	79
Наше ничто	82
Железный бульвар	86
Минута	90
Блюз для Джорджа	94
Колыбельная хамелеону	97
Про систему	101
Шестьдесят шесть	105
Марсова пещера	109
Флаг над Кунсткамерой	111

ДОМЫСЛЫ О ВЫМЫСЛАХ

Воздушный замок сэра Томаса	119
<i>D и T</i> своею кровью...	128

Содержание

Счастливый Тициан	143
Страсти по Рембрандту	147
Забавы Антуана Ватто	151
Смерть в долине Миссисипи	157
Осенний романс	169
В пустыне, на берегу Тьмы	173
Опасные связи. Музыка Дельвига	183
К портрету Ковалева, или Гоголь-Моголь	198
Мягкая игрушка	210
Бедные люди!	216

НОЧНОЙ СМОТР

Лавры Вольтера	249
Какова загробная жизнь	253
Друг человечества печально замечает	257
Теоремы Чаадаева	261
Злак земной	264
Парадокс Чернышевского	271
Принципы Тургенева	275
Необыкновенная история	277
Евангелие Льва	281
Откровение Константина	282
Н. И. Щедрин, он же М. Е. Салтыков	286

ЛИСТКИ ПЕРЕКИДНОГО

Звезды октября	293
Предсказанный человек	296
Свобода и жалость	299
Шалавый	303
Учитель храбрости	307
Шуточка	309
Пеня пеней	313
Оратор	317

Содержание

Очевидец	320
Ресурс жизни	324
Насчет холода	327
О пользе. О себестоимости. О цене	330
Прописные буквы	341
Горе уму	347
Загон суров	350
Значение литературы	354
Памяти Охотника	355

ОПЫТЫ О ПРИЧИНАХ НЕУДАЧ

Миндальное дерево Железный колпак	361
Механика гибели	374
Клоун, философ, закрытое сердце	409
Кто был он и кто была она	422
Что остается	441
Старость и другие	443

Литературно-художественное издание

Самуил Лурье

ЖЕЛЕЗНЫЙ БУЛЬВАР

Ответственная за выпуск Наталия Соколовская
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Мария Антипова
Корректоры Татьяна Бородулина, Анна Быстрова
Верстка Алексея Положенцева

Подписано в печать 12.03.2012. Формат издания 84 × 108^{1/32}
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 1500 экз.
Усл. печ. л. 23,66. Заказ № 4671.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Тулская типография»
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел. (495) 933-76-00, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел: (812) 324-61-49, 388-94-38, 327-04-56, 321-66-58, факс: (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru; atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

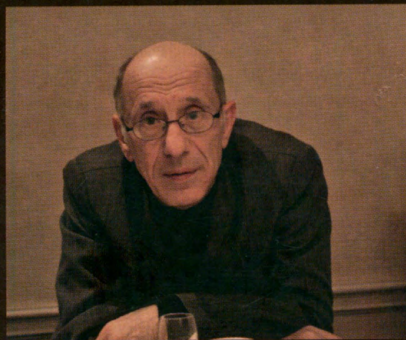
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01
E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Сайты в интернете:

www.azbooka.ru
www.atticus-group.ru



KAVS829701R



Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002), «Такой способ понимать» (2007) и др.

Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.

В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.

«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».

Дмитрий Савицкий (Париж)

«...это такое петербургско-европейское явление. Это соединение лучшего, что есть в русской культуре традиционной, с лучшим, что было и есть в европейской культуре».

Кейс Верхейл (Амстердам)

«...Сколько он чудесного написал. Главным образом про... нет, не про литературу, а про людей литературы, про то, во что эта литература им обходится, и что, помимо нее, остается, и как судьба зависит от текста, а текст от судьбы, и еще про то, чего мы никогда не узнаем точно, если он не догадается... А еще он пишет про... нет, не про политику, а про ту грязь и мразь, которая политику заменяет. Одной неразведенной желчью пишет».

Наталья Рубинштейн (Лондон)

«Он настоящий интеллигент, т. е. интеллеktуал, — и, как последнему и подобает, не терпит общих мест. Всяческую «кабалу святош». Он тем и отличается от них, что у них способ понимать — верен он или нет — «один на всех», а у него — один на одного... Рыцарь сам выбирает, с кем пировать, кому в беде помогать, а с кем сражаться насмерть... То и главное в Лурье, что он рыцарь. Рыцарь скорбного неверия».

Юрий Малецкий (Мюнхен)

ISBN 978-5-389-02738-1

01



9 785389 027381